

# ПАРАЛЛЕЛИ

прибалтийский литературно-  
публицистический альманах

№ 1 (14)

май, 2016

Калининград

**Главный редактор:**  
Вячеслав КАРПЕНКО  
**Зам. главного редактора:**  
Алексей ПОПОВ

**Редакционная коллегия:**  
Геннадий  
Елена АЛЕКСАНДРОНЕЦ  
Олег ГЛУШКИН  
Юозас ШИКШНЯЛИС  
Арвидас ЮОЗАЙТИС  
Clandestinus

Валерий ГОЛУБЕВ

Римантас ЧЕРНЯУСКАС

Сэм СИМКИН

**Корректор:**  
Ольга ВЛАДИМИРОВА  
**Компьютерная вёрстка:**  
Алексей ПОПОВ

**Партнёры редакции:**  
Клайпедское отделение СП Литвы

**При участии**  
Калининградской городской библиотеки им. Чехова

Все авторские права защищены.  
При перепечатке и цитировании  
ссылка на «Параллели» обязательна.

**Наши партнёры:**  
*Калининградская централизованная библиотечная система*  
*Зеленоградская городская библиотека*  
*Библиотека им. Снегова*

# ПАРАЛЛЕЛИ

Прибалтийский литературно-  
публицистический альманах

Издаётся Калининградским  
ПЕН-центром с 2006 года

№ 1 (14) май, 2016 г.

*Авторам должно сметь  
своё суждение иметь*

Подписано в печать в 20.00 27.05.2016  
Отпечатано в типографии Калинин-  
градского ПЕН-центра, ул. Красная, 35  
Тираж – 500 экз. Печать цифровая.

На первой странице обложки ис-  
пользована картина Романаса Бори-  
соваса «Цинтен – Корнево. Церковь,  
современное состояние»,  
июль 2005 г., бумага, акварель.

## **ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ**

Андрей Битов. Дежа вю. ....	4
Елена Кацюба. Стихи .....	10
Алексей Симонов. Про первую отцовскую дачу и привлекающие обстоятельства .....	18
Константин Кедров. Стихи .....	28
Евгений Попов. Героический поступок, связанный с убийством лебедя Борьки .....	34
Марина Тарасова. Стихи .....	46
Владимир Сергиенко. Везде война .....	50

## **ПРОЗА**

Вячеслав Карпенко. Память моя шелестит осенними листьями .....	55
Олег Глушкин. Жара и холод .....	70
Алла Татарикова-Карпенко. Вентспилс. Глава из романа .....	76
Дмитрий Воронин. Ильич .....	88
Каринэ Асенова. Кое-что о собаках .....	92
Сергей Гришков. Арлекино. Главы из романа .....	51

## **ПОЭЗИЯ**

Геннадий .....	118
Светлана Супрунова .....	121
Геннадий Норд .....	126
Александр Ковтун .....	129
Валерий Батрушевич .....	133
Геннадий Лосец .....	137

## **ПАРАЛЛЕЛИ**

Антанас А. Йонинас. Стихи .....	141
Витаутас Чяпас. Меняется под солнцем только время. Отрывок из романа .....	145
Йонас Кантаутас. Стихи .....	148
Йозас Шикшнялис. Из цикла «Летние побасёнки» .....	154
Дайнюс Собецкис. Стихи .....	157
Нийоле Кяпянене-Клюкайте. Под солнечным ветром. Отрывки из романа .....	162
Юргис Гимберис. Дефицит .....	165
Борис Адамов. Людвикас Реза. Литовские уроки .....	166
Алексей Попов. Путешественник в Атлантиду .....	172

## **ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ**

Бахыт Каирбеков. Стихи .....	187
Галина Гужвина. Батрасьян .....	191

## **НАША ПАМЯТЬ**

Жанна Астер .....	197
-------------------	-----

## **УШЛИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ**

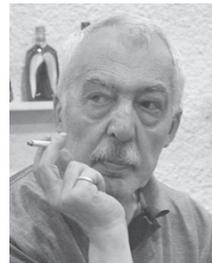
Виктор Кривулин .....	199
Иоганнес Бобровский .....	208

## **КНИЖНАЯ ПОЛКА**

Обжигающий пламень Победы .....	215
---------------------------------	-----

*Выездная сессия*

Андрей БИТОВ



## ДЕЖА ВЮ

Кто из них троих кого помнит? Название ли запоминает жанр? Жанр ли вспоминает автора? Автор ли окликает себя по имени?

«Петербург! Я еще не хочу умирать! У меня телефонов твоих номера...»

В 2-82-07... Первый номер, который я помню.

Таких номеров больше нет. В Ботаническом саду, что находится напротив дома, я видел пальму, обвитую почетной черно-желтой гвардейской лентой. На ней была табличка:

ПАЛЬМА ПОСЕВА 1937 ГОДА

ПЕРЕЖИЛА БЛОКАДУ

Это я.

Мой отец родился сто лет назад. Когда ему было двенадцать, его отец получил звание потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга. Мой прапрадед по матери, отец Василий, был протоиереем Гатчинского собора. Моя прабабка (урожденная Орлова), быть может, коренная петербурженка со дня его основания. Оба моих деда, не сговариваясь, поженились на питерских немках.

Я родился 27 мая, в день рождения Петербурга, когда ему исполнилось 234 года.

Каждый человек на Земле – в единственном экземпляре.

Таких номеров больше нет.

Привожу цитату тридцатилетней давности:

«И как это я ничего не боюсь! Летать хотя бы... Обнаглед... Какой-то защитной заслонки в сознании не хватает. Ничего не боюсь, кроме, надо сказать, того, что со мной обязательно произойдет. Вот другие люди... Когда я слышу, как они обсуждают свои намерения и замыслы: купить не купить, пойти не пойти, сказать не сказать, – прежде всего становится ясно, как они боятся предпринять то, о чем говорят. Инстинктивный страх перед любым начинанием – признак нормального человека. Иногда я боюсь опоздать – но тогда начинаю поспевать и успеваю; возможно, еще немножко, и я стану бояться подниматься в воздух – но никогда не буду я бояться самолета потому, что на него можно опоздать. В этом моя ошибка, и в этом же мое несчастье. Я создан начинать и не продолжать ничего – это ли не бесстрашие? То ли дело люди – страх для них и есть соблазн».

Номер – тот же.

Усмешка какая-то новая случилась. Отдельная, сбоку, как у чеширского кота. Поступил заказец, в принципе лишний, а я тут же согласился. Только эта вырвавшаяся вперед оформленной мысли усмешечка и оказалась темой.

Захотелось мне в ней разобраться.

## 1

Снится мне ночь... Я с двумя одноклассниками топчусь на набережной напротив школы. Утренняя, еще не морозная, но уже зимняя тьма. Нам надо перебраться через речку, еще более черную, чем тьма вокруг. Значит, Ленинград, значит, речка – Фонтанка. Не помню, кто третий, может быть, Савельев, но другой, точно, был Логинов (один из прообразов будущего Митишатъева из будущего «Пушкинского дома»; кажется, он не так давно умер, как, впрочем, и другой его прообраз...). «Ну же!» – подталкивает меня Логинов. Почему-то это я должен лезть в воду первый, это даже не обсуждается. Вода почти под ногами, только через ограду набережной перелезть, как в окно... Вода подо мной, такая черная, еще чернее, чернее черного, и от этого, что ли, такая маленькая, как люк, как пресловутый квадрат Малевича, про который я еще ничего не знаю. «Мы же раньше вокруг обходили...» – мой довод не воспринимается, надо лезть в воду.

Я просыпаюсь. Через полвека, в Москве. За окном темно, там у меня Ленинградский вокзал. 13 ноября 2002 года. Я должен отправить вот этот ненаписанный текст Кафке не позже 15-го...

Выходит, я боюсь воды.

## 2

Не только школы и зимы, не только утренней тьмы... Когда я еду этим крошечным ленинградским утром в школу и переезжаю Неву, от Петропавловской крепости к Марсову полю, я не вижу этого самого, быть может, красивого петербургского вида, потому что мечтаю, как мой автобус летит с моста в воду. Это не страшно, а весело: все лучше, чем в школу...

Там, за окном школы, начинает рассветать к третьему уроку. Из окна видна Фонтанка. В ней плавают гондоны. Напротив дом, в котором живет мой сосед по парте Савельев, белокурая бестия, у него мать немка. Так мы сидим, полтора немца за одной партой, маемся до перемены.

Я пересказываю ему рассказ отца: до войны по набережной Фонтанки ходил троллейбус. Однажды он пробил ограду и упал в речку, утонул, только один уголок торчал из воды, как раз под окнами нашей будущей школы. В этом уголке, в единственном пузырьке воздуха спасся единственный человек, как ни странно, отцовская сослуживица. Спаслась, но умом тронулась. (Позднее выяснится, что это мать нашего одноклассника, сидящего за соседней партой; еще позднее окажется, что у нее с моим отцом был чуть ли не роман, во всяком случае, мать моя отца к ней ревновала.) Когда я выхожу из школы, мне, под плавающими гондонами, мерещится затонувший троллейбус.

## 3

Черный человек вхож не только к Моцарту или Есенину... Я не настолько гений, чтобы умирать от него. Черный человек – это тот, кто заказывает. Обещает заплатить, объявляет тебе (язык не соврет!) deadline. Не всегда черный человек приходит, иногда он звонит по телефону. Иногда он даже женщина.

Звонок разбудил меня в Берлине. Он был от Кафки. Но не от самого пока... Это журнал так называется, «Кафка». Для Восточной Европы. Выходит, Россия в нее все-таки входит (моего английского хватает на такую шутку). Петербург, точно,

входит (ее английского хватает меня парировать). Тема номера – ВОДА. Значит, для меня «Петербург и вода». Тут-то и случилась упомянутая усмешка. Дождь, снег, лед... Я мигом представляю себе свой милый и малый Аптекарский остров, отделенный от прочего мегаполиса речками Невкой и Карповкой... там начинается моя память, с блокады. Легко! Я уже опаздываю с двумя заказанными немцами текстами – так до троицы, до кучи! – я соглашаюсь.

## 4

Надо мной нависает текст, как козырек над подъездом. Такой подъезд – парадный, две ступеньки вниз, для перетаптывания, для отряхивания, для пережидания дождя. Сразу за ступенькой – лужа. Она пузырится. Если пузыри, значит, дождь надолго – такая народная примета. Не сразу рискнешь сойти по этим ступенькам на панель. Поднимешь воротник, перестегнешь пуговичку, забыл зонтик... Это уже и не лужа, а поток. Вода бежит по панели, перегоняя саму себя, из лужи в лужу, впадая в лужищу, которая, переполняясь, перебегает дорогу, сбегает по ступеням схода набережной в реку.

Значит, я на родине, в Питере, в Ленинграде, в Петербурге. Река – Нева, она впадает в Маркизову лужу (Финский залив в питерском просторечии). Что лужа – понятно, потому что залив очень мелкий, но почему Маркизова? До сих пор не выяснил. Помню, когда чай был жидкий, приговаривали, что в нем Кронштадт видно. И действительно, в редкую погоду через Маркизову лужу виден Кронштадт.

Надо мной нависает текст, как питерское обложное, свинцовое небо. Скорей бы уж хлынуло!

Надо мной нависает текст, как судьба.

Значит, я боюсь текста.

## 5

Так ли уж я боюсь воды?

Я очень тяжело в нее вхожу. Даже в теплое море. Мой сердечный друг Юз Алешковский, наблюдая, как я это произвожу, прозвал меня «бздиловатый конь», на него я не обиделся.

Обиделся я в другой раз, в Адриатическом море, купаясь с одной урожденной русалкой, когда она мне сказала, смеясь: «Да ты воды боишься!» А мне казалось, я довольно красиво плыву вольным стилем.

Как кочевник, не очень-то я люблю мыться. Опасаюсь лихорадки. Недавно я, наконец, обнаружил, что задыхаюсь, когда пью воду. Будто тону.

Я не верю ни во Фрейда, ни в реинкарнацию.

Сам я еще ни разу не тонул.

Когда увидел первого утопленника, то сперепугу залпом написал «Пушкинский дом».

Там много воды. Не дай Бог, что и в переносном смысле тоже. Роман начинается с дождя и наводнения и кончается ледяным школьно-похмельным утром.

Говорят, раньше я писал лучше. Вот еще цитата из того времени: «Господи, господи! что за город!.. какая холодная блестящая шутка! Непереносимо! но я ему принадлежу... весь. Он никому уже не принадлежит, да и принадлежал ли?.. Сколько людей – и какие это были люди! – пытались приобщить его к себе, себя к нему – и лишь

раздвигали пропасть между ним и собою, к нему не приближаясь, лишь от себя удаляясь, разлучаясь с самими собой... Вот этот золотистый холод пробежал по спине – таков Петербург. Бледное серебряное небо, осеннее золото шпилей, червленая, старинная вода – тяжесть, которой придавлен за уголок, чтобы не улетел, легкий вымпел грубого Петра. С детства... да, именно так представлял Петра! – как тяжелую тем-ноту воды под мостом (*выделено сейчас.* – А. Б.). Золотой Петербург! именно золотой – не серый, не голубой, не черный и не серебряный – зо-ло-той!..»

(Примечание к выделению... Тут у нас недавно потонул сухогруз, врезавшись в опору моста. Событие телевизионного масштаба! По ленинградским меркам, «Курск»... Опять героизм ликвидации аварии. Его сначала под водой резали, впервые в мире, по новым гениальным, специфически национальным технологиям... Зато, когда подымали первую отрезанную часть, плохо закрепили стропила, многотонная эта часть сорвалась и, качнувшись, как маятник, вдарила по Университетской набережной как раз супротив Медного Всадника, там как раз толпа патристически-любопытствующих глазела. Кажется, на этот раз без жертв.)

## 6

«Я спустился у сфинксов к воде. Было странно тихо, плыла Нева, а по небу неслись, как именно в сером Петербурге бывает, цветные, острые облака. Неслось – над, неслось – под, а я замер между сфинксами в безветрии и тишине – какое-то прощальное чувство... как в детстве, когда не знаешь, какой из поездов тронулся, твой или напротив. Или, может, Васильевский остров оторвался и уплыл?.. Раз уж сфинксы в Петербурге, чему удивляться? Им это было одинаково все равно: тем же взглядом смотрят они – как в пустыню... И впрямь: не росли ли до них в пустыне леса, не было ли под Петербургом болота?.. Станный Петербург – как сон... Будто его уже нет. Декорация... Нет, это не напротив – это мой поезд отходит».

Петербург двоится. В нем две воды. Одна вода – поверхность: ее – много, она – прекрасна, она разбивает город на прозрачные грани, в которых он и отражается, удваиваясь, играя в призрачность того и другого: отражение – реальнее. Другая вода – вертикальна, сверху и снизу, мутная ось зарождающейся бури, готовой перебить все эти парадные зеркала. Кабы кто здесь знал, то есть в этом что-то от Гамбурга и Амстердама, но, чтобы не было им обидно, покруче, потому что оба вместе.

## 7

Петр про то и думал, их совмещая. Он не думал про вертикаль. Она пронзила город в ноябре 1725 года, разметав полгорода, пронзила до смерти и Петра, оставив нас кашлять и чихать, его проклиная.

В 1824 году наводнение повторилось.

Готовясь к двойному юбилею Пушкина и Гете (200 и 250), я сопоставил их именно в этом году.

Оказывается, не ведая друг о друге (Пушкин знал «Фауста» лишь в прозаическом пересказе мадам де Сталь), они занимались одним и тем же, и мировой царь поэтов в своем палаццо в Веймаре, и сосланный русским царем в деревню миру неведомый молодой русский поэт: оба дописывали «Фауста», оба обсуждали смерть Байрона и петербургское наводнение, только мэтр – с Эккерманом, а ссыльный – с полуграмотной няней Ариной Родионовной...

Вот она, мировая литература! Эпицентр смерча.

Пушкин отнесся к наводнению легкомысленно:

«Что это у вас? Потоп? Ничто проклятому Петербургу! *Voilaunebelleoccasion a vosdamesdefairebidet*», – пишет он другу, ревнуя столицу к своему насильному отсутствию.

Гёте осуждает Петра:

– Местоположение Петербурга – непростительная ошибка, тем паче, что рядом находится небольшая возвышенность, так что император мог бы уберечь город от любых наводнений, если бы построил его немного выше, а в низине оставил бы только гавань. Один старый моряк предостерегал его, наперед ему говорил, что население через каждые семьдесят лет будет гибнуть в разлившихся водах реки. Росло там и старое дерево, на котором оставляла явственные отметины высокая вода. Но все тщетно, император стоял на своем, а дерево повелел срубить, дабы оно не свидетельствовало против него.

И Пушкин тут же задумался:

«Потоп этот вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется...» В 1833 году он напишет «Медного всадника», самое великое в мире произведение про воду, про Петербург и воду, самое великое свое произведение, где стихия, власть и судьба станут одним, совьются в поэтическом смерче, удержав человека на пенном гребне величия и безумия.

В 1924 году, еще через сто лет, уже при советской власти, великое наводнение повторится.

У Михаила Зощенко, каким-то образом тоже не бывшего очевидцем события, по этому поводу есть рассказец... как он прогуливается по нашему городу при хорошей погоде и настроении и отмечает праздным взором на одном из домов мемориальную доску: «уровень воды 1924 года».

Уровень этот выше головы, и воображение рисует ему страшные картины тонущих людей и всплывших экипажей. Тут появляется дворник, бывший свидетелем наводнения, и автор начинает расспрашивать его об этом ужасе. Дворник поясняет, что все было не так страшно: просто гуляки все время отрывали доску, и он приколотил ее повыше, чтобы прекратить хулиганство.

Не иначе как по той же логике, опасаясь 2024 года или мечтая превзойти Петра, советское начальство поддержало грандиозный по экологическому безумию проект дамбы, перегораживающей Финский залив. Советская власть пала, дамба оказалась недостроенной, зато нарушилась проточность вод и завелись дурные водоросли, отравляющие залив.

## 8

Вода, снег, лед, иней... пар, туман, морось, дождь, ливень... Если перечислить все состояния воды, то останется еще одно – Петербург. В нем есть пространство, но нет объема. Одни фасады и вода. Представить себе внутреннюю или заднюю часть дома бывает затруднительно. Живут ли там? И кто? Петербург населен литературным героем, а не человеком. Петербург – это текст, и ты часть его. Герой поэмы или романа. Тогда проспекты и улицы выглядят, как обмелевшие каналы. В затопленном состоянии они даже естественнее. Мокрый, лоснящийся ночной асфальт сойдет за воду. Мокрый Париж или подсыхающая Венеция?

Другое дело – лед. Можно было бы и так сказать...

Льда – полметра. Но это – в квартире. Значит, не тридцать, а шестьдесят лет назад. Первое, что я помню. Лед – ведь это замерзшая вода? Тогда память – это замершее время.

Недавно обнаружили, что вода обладает памятью. Еще бы! Она ведь состоит из линз.

Увеличивает ли память?

Из единственной теплой комнаты, отапливаемой буржуйкой, в которой стремительно прогорает мебель и книги из комнат холодных, чтобы выйти, надо подняться на ступеньку вверх, ломом выколотую из льда. Воды нет. До нее километра два: мать привозит ее с Невки, из проруби.

Дорога тоже ледяная. Иногда по дороге чернеет мертвый труп замерзшего человека. На него никто не обращает внимания. Никто ни на кого не обращает внимания. Важно не поскользнуться, не опрокинуть ведро с водой, которое тащишь за собою на саночках... Однажды мать вернулась с водой огорченная и радостная... Она отстояла очередь к проруби, сумела не поскользнуться, набирая воды, не поскользнуться, выбираясь на берег... и когда совсем уже добралась до дому, ведро таки опрокинулось. Как ее жалели! «Бедная, – говорили, – бедная!»

Пришлось возвращаться, повторять все сначала. Но это было уже ничто по сравнению с тем, как ее жалели. Никто никого тогда не жалел. Даже мертвых. Тем более живых.

Я смотрю с уважением на ведро воды: вот это вода!

Может, за это я люблю Рубцова:

Матушка возьмет ведро,  
Молча принесет воды...

Чувство!

Когда увеличиваю память, то вижу и еще... Вспышка памяти черно-белая, отпечаток с крупным зерном и подтеками, как мартовский, изгрызенный первой весной снег. По ледяному озеру колонна грузовиков, я в одном из них, весь укутанный и сжатый чужими телами. Поверх льда уже полметра воды. Я люблюсь тем, как от колес грузовика расходятся широкие и кривые брызги-волны, чувствую себя капитаном на мостике корабля. Бомбят. Весело! Тут впереди идущий грузовик уходит носом под воду: вокруг снег, посреди черная дыра воды, крупные цифры на заднем, торчащем над водой борту...

Номера!

Наука все открывает и открывает что-нибудь новенькое про воду. Например, что вся вода в мире связана. По старинному русскому поверью, в ночь на Рождество вся вода становится святой. Ею крестили не только нас – в ней крестился Христос. В таком случае Петербург связан с миром не только как «окно в Европу» (достаточно мутное), но – водою. Которая все помнит, поскольку вся связана.

Запомнит ли меня вода?

Выходит, что я все-таки боюсь. Боюсь воды, боюсь текста. Текст – ведь это связь всех слов.

Я боюсь не только Фрейда и смерти.

Я боюсь. Я как люди. Я – живой. Я нормальный человек.



Елена КАЦЮБА

## Пустое кафе

Посетитель последний  
вслед за светом слинял  
дверью отрезан втиснулся в темноту  
Малое пламя дежурной лампы  
тускло льнет к стеклу  
упирается рама упрямо  
в пол потолок  
локтями распята в стены  
квадратит окно  
но  
вибрацию улицы – држ дрожь  
ей не сдержать  
Головоглазый фонарь уткнулся в стекло  
смотрит снаружи – что там внутри?  
Вверх запрокинули ножки  
свесились спинками вниз  
стулья смотрят под стол –  
там кто  
пухнет пытит –  
тень не вытертая  
пыль не выметенная  
не разберешь  
бокалов мелкая дрожь  
плоские волны тарелок  
тринькают тренькают звенькают  
Зву-у-укнула труба  
кран крякнул бакнул капнул  
барабанкнула капля о раковину укн унк  
Тьма округлила углы  
вяжет узлы-злы  
из света  
За стенами гладкими  
кирпичная кладка  
шепчет о чем-то своем –

каменном памятном  
или шуршит граммофон  
музыку прежних времен  
корежит тупая игла  
или  
это уже винила  
пыль\*  
накрыла пол потолок  
джаз или рок  
или нет?  
Глазоголовый фонарь замерцался смехом в ответ

### Aurum

У бетонных домов золотые окна  
У подъемных мостов золотые цепи  
Мед хранится в бензольных кольцах  
они звенят –  
день – день – день –  
ночь.

В колодцах зрачков золотые точки  
В колоннах авто золотые фары  
Высокой октавой  
высокооктановый  
поет бензин.

Под платьем у женщины золотая кожа  
Под кожей у мужчины бронзовый тигр  
В клетке грудной легкие – птицы  
Химия дыхания – кислород – углерод

В кошачьих зрачках селеновые луны  
Сердце в подворотне громче шагов  
Золото для сердца –  
тяжелый металллллллл.

### Вариант

Тогда сотворил Бог зеркало и отразился в нем –  
так Адам создан был  
и Бог его любил  
как самого себя

---

\* «Пыль винила» – рок-кафе в Калининграде/Кенигсберге.

Дал Бог Адаму зеркало  
 отразился Адам в зеркале –  
 так Ева явилась  
 и любил ее Адам как самого себя  
 Посмотрелись Адам и Ева друг в друга  
 как в зеркало  
 и появились у них дети  
 и Ева любила их больше самой себя  
 оттого дети любили только себя  
 и убил Каин Авеля  
 В гневе разбил Бог зеркало и развеял по свету  
 Оттого мы видим мир не как создал Бог  
 но как отражает зеркальный прах.

### Возвращение *(палиндром-триллер)*

Мимо длим ход. – Звони! Но вздох – мил дом им.  
 Жар и вечер – тс! – встрече. Вираз  
 дорог Азии за город.  
 Али памяти бит яма пила?  
 И не триллер зрел – лир тени,  
 ром армии роз, и зори, и мрамор...  
 Но вход – вдох вон:  
 мох, этаж сжат эхом  
 и тел пепел к свече, в склепе плети.  
 Навзрыд у дыр зван  
 ада голос или соло гада?  
 Кот у стен кричал, и пила – чирк! – нет суток,  
 кот ужаса жуток.  
 А ритуал зла у тира.  
 Али скор у кого курок – сила!  
 Им я лупила дали пулями,  
 и  
 мело праха сахар полем.

### Вагон

Туман Ильич Иосиф Страх  
 графин дробящийся в лучах  
 на шторе лунная прореха –  
 мечом взмахнувший янычар  
 рыча и черен  
 и жест торжеств  
 и жест ничто  
 но казнь отложена на завтра-  
 к

ЭЛы – ЭСы из колес  
скользят по ЭЛам – ЭСам рельс

Одеяла жаркий плен  
лунно взрезало колено  
значит очередь плеча  
выходить на вахту ночи  
янычарная рука потянула одеяло  
дрожью луч прошел по ребрам –  
вылетели бумеранги  
янычару прямо в лоб

Рельсовое ЭР застряло  
в дальнем О из кОлесО  
по спине вагоны цепко  
пробежали  
поезд встал  
скрипнула задвижка шеи  
на платформу вышли мысли  
разбежались – не собрать

Теплый серый и сухой  
мозг «о Господи» сказал бы  
но язык засоня спрятан  
за забором из зубов

В окна окна окна окна  
лезет поле поле поле  
поезд мчится мчится дальше  
рельсы лентами вплетая  
в косы алые зари

### Диалектика

*Если во сне вы очищали апельсин –  
вас ждут любовные утехы.  
Современный сонник.*

Если очистить апельсин от буквы «п»,  
остальное перемешать и сложить снова.  
получится «насилъе»  
Кто бы мог подумать!

Впрочем, если стрелять из пушек апельсинами...

С буквами всегда так  
Ведь никого не удивляет, что в слове «любовь» – боль  
В слове «счастье» есть «честь»,  
но и в том, и в другом случае будут «сечь»,

а из «ликование» выскочат волки  
Такова диалектика положительного  
Зато ложь и зло абсолютны  
Ничего хорошего из них не выжмешь

i

поручик Толстой  
и штаб-ротмистр Фет  
любили читать Канта  
Кант сказал в «Zum ewigen Frieden»:  
– Кончайте мировую корриду,  
а то все придем  
    «К вечному миру»  
на кладбище.

Фет промечтал: «Вечность – мы»  
Толстой написал «Войну и мир»  
    а потом «Войну и мир»  
исчезло из мира i с точкой  
мир без точки продолжает войну

Krieg und Frieden  
Krieg und Welt  
Krieg und Wetter  
крик и ветер  
    ветер  
        ветер  
        Огонь!

Колыбельная для моря  
Морейра морейра морейра  
Древнейш-ш-шина дна  
Волнота кудрейра-эйра  
Прибойница берегалька  
Глубильня в лунарию  
Приливлолия ш-ш-шуршайя-айя  
Плескунья ласката нежнита  
Мракита светлиль-лиль-ли  
Акулайя китанда дельфирис  
Кораблелия ш-ш-шаландаланда бригантилилия  
Цунамита бурейра ш-ш-штормирня  
Хохотара хахатилья  
Плачевница о неплавных

Колыбельная lullaby-by-ница  
Ninnananna ninni  
Калыханка kolysanka jajang-ga  
Komori-ka для моряка

Очарован чередой волн  
мигает стозвездный волк

## Льюис Кэрролл, математик и фотограф

Ветер – дилинь-дилинь  
голову запрокинь –  
гусеница падает прямо в кадр  
опережая тень

Птица – ти-ви – ти-ви  
Пульт завладел рукой,  
кнопка на палец нажала  
нежится гусеница в пене сериала  
Отправлю ее на Discovery  
пускай оставит след в истории

Стальные гусеницы в кадре  
на поле битвы Александра  
парадоксальны не более  
чем чайная партия Кэрролла и Набокова  
на шахматном поле

«Математика – простейший способ водить себя за нос», –  
сказал Эйнштейн

но открыл это Кэрролл Льюис  
вывел формулы за пределы английского парка

Логика – явление того же порядка

$1 + 1 = 0$

Чайник сказал: «Буль-буль, Джордж Буль!» –  
и заклокотал от смеха

Следствие – всего лишь повод для причины

Алиса и прочие девочки –

переменные величины

но в мире величин переменных

фотопластинки нетленны

Фокусное расстояние изменяется в зеркалах

гусеница

дрожа спинными ресницами

исследует линии на юных телах

Перед камерой девочки –  
что стрекозы или цветы,  
свободны, легки –  
но  
для фотографа согласие родителей  
о-бя-за-тель-но  
Впрочем, его карандаш своеволен  
рис(к)ует забираясь под платье  
Рисунки и снимки –  
плоды бесплотных объятий  
но не для Кэрролловых братьев  
Братья не-кролики  
костер во дворике  
разведут  
спляшут у всех на виду  
Твиддди и Твиддду  
остальное продадут

Гусеница в кадре раскроется мотыльком  
Пепельный ком  
костра  
шевелится серой розой  
Цифровые стрекозы  
иксами невиданных уравнений  
на авиасалоны будущих поколений  
улетят

Столько зеркал и зеркалок сменила Алиса  
что вся растворилась в магнитных дисках  
Нажми play  
и среди матемаГических фото-аллей  
в кадре окажешься

### Птицы Канта

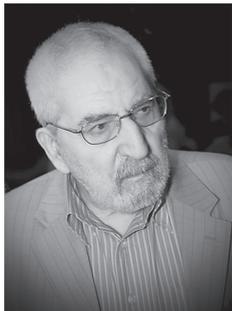
*У Иммануила Канта был маленький сад, и  
каждую весну он с волнением ждал прилета птиц.  
А если птицы задерживались, он говорил: «Видимо  
за Апенниннами еще холодно».*

Когда позвонки в спине отзываются звону капли  
значит приходит время ждать птиц из-за Апеннин

Каждая птица в клюве несет гнездо  
а в сердце компас который надо  
непрерывно вложить в птенца  
иначе ни один корабль не найдет своего причала  
и самолет влетит совсем в не тот коридор  
и каждый поезд войдя в туннель выйдет на станцию Дно

Конечно твой мощный ум может вычесть ничто из всего  
и все умножив на ноль получить золотое число  
но если в извилах мозга нет очертаний летящей стаи  
то птица тебе – непереходный глагол «летать»

И если строгим карандашом ошибку перечеркнуть  
останется сад ожиданий  
где небо летает птиц



Алексей СИМОНОВ

## Про первую отцовскую дачу и привлекающие обстоятельства

Первая дача отца – я ее хорошо помню – была в Переделкино. Но в отличие от мемуаров моих ровесников, я не стараюсь засунуть в свои воспоминания все сколько-нибудь значительное из окрестностей. Они же описывают неизвестную им симоновскую дачу. А стояла она на отшибе от основного поселка, и ходить к ней за добрый километр надо было через поле, и в переделкинском – писательской тусовке ни дача, ни отец в конце 40-х, начале 50-х не котировались.

Участок был по сегодняшним меркам огромный. Наверное гектар или полтора. Там были и лес, и поляны, и пруд с островом посередине. Пруд был маленький и старый, а остров глухо зарос бузиной – классно там было играть в индейцев. Мы и играли, и тритонов ловили и головастиков. Больше никогда не видел тритонов. Уже забыл, как они выглядят.

От железной дороги дачу отделял остаток усадьбы бояр Колычевых, где, уже на моей памяти, выстроили плотный забор с фирменной надписью по трафарету на стенах «Осторожно, злая собака» и восстановили за забором боярские палаты и стало это резиденцией патриарха всея Руси. Которого из них – не скажу, не помню.

Я на эту дачу ездил, а точнее меня туда возили с той поры, как дачу построили и чуть-чуть обжили, года с 47-го. Отец умел обживаться, устраивать жизнь комфортно, не жалея на это денег. Но вещей всегда было немного, чтобы простора не загромождать. Это, как мне потом стало казаться, было связано с японской традицией, заразиться которой он успел в конце 45-го, во время трехмесячной командировки в Японию.

Даже машина была двухместная, а сзади вместо багажника – «место для тещи» – откидывающееся сидение – классное для пацана место: чуть машина добавит ходу и свистит в ушах от скорости. Вот кто меня на ней возил, и сколько раз такое случилось – не помню, зато точно – не отец. Я его первый и единственный раз за рулем увидел на фотографии, сделанной в Берлине, возле имперской канцелярии, в мае 45-го.

Отец вообще любил сниматься, а возле машин – тем более. Поэтому среди военных фотографий есть минимум три, фиксирующих автокатастрофы, которые и без отца вождения могли закончиться летально.

Такая серия: папаша возле перевернутой эмки, папаша возле перевернутого виллиса, даже на одной из обложек его книг наш общий друг, художник Володя Медведев такую фотографию разместил. Тут, конечно, возникает вопрос: не сам ли Ка Эм был за рулем? Так вот, насколько я знаю, нет, шоферы были разные, а результат – один и тот же.

Переделкино было временем шикарных машин. Про одну – двухместный бегу-

нок с местом для тещи я уже рассказал, потом был еще здоровый кадиллак, и еще что-то, чего я не упомянул по убогости моих знаний об автомобилях. То, что это кадиллак или опель я знать мог только с чьих-то слов, сам в этом не разбирался совсем. И по сей день так.

На даче – по мере значимости для меня, жили: три собаки, два сенбернара и одна лайка по кличке Чижик, котенок со сломанной лапой в кармане отцовского халата, сам отец, – большой и усатый, мой ровесник Толька, который считался моим братом, и тетя Валя Серова – отцовская жена. Еще были или бывали тети Валины сестры – они же ее тетки с детьми, но без мужей; гости, включая различных знаменитостей, что тогда для меня не имело значения, зато теперь, став воспоминаниями, имеет первоочередную ценность.

Кстати. Переделкино – единственное из отцовских обиталищ, где главным местом – самым таинственным и часто упоминаемым – не был его кабинет. Не помню его кабинета в Переделкино. То ли я был еще слишком мал, то ли кабинет, как место священнодействия не занял еще доминирующего положения в пространстве отцовской жизни. Вот ведь незадача: бассейн помню, а кабинет начисто отсутствует в моей памяти. Поскольку этот бассейн стал притчей во языцех для журналистов пишущих о семейных и любовных перипетиях главного романа СССР в годы войны, хочу уточнить его кое-какие технико-тактические данные, сохранившиеся в моей памяти.

Метрах в тридцати от заднего крыльца основного жилого дома (был еще двухкомнатный флигель для гостей, летом скрытый кустами сирени) находился бетонный прямоугольник, ничем не прикрытый, примерно шесть на десять метров размером и с единой глубиной – что-то около метр пятьдесят. По периметру – невзрачные бетонные столбики. Так что если Валентина Васильевна в золотистом платье и в подпитии перелетала со второго этажа дома – прямо в бассейн, то исключительно на крыльях фантазии пишущих (это не я придумал, это я у них прочитал). В этом бассейне в жаркие дни мы с Толькой купались, здесь же я научился хорошо нырять – это я помню, потому что помню оглушительный звон в ушах, когда я чисто вошел в воду и пришелся маковкой в бетонное дно.

В этот же бассейн мы, затеяв игру, столкнули одного из Толькиных гувернеров, запомнившегося потому, что он был учителем в младших классах моей школы №1, и как он попал в переделкинские гувернеры – сказать не могу, не помню, а от отца нам за это влетело – это помню.

Вообще помню, что мне часто бывало неловко в Переделкино, причем по разным поводам. Ну вот Ивана Георгиевича в бассейн столкнули, или папаша меня застукал за изучением огромного тома «Истории эротического искусства», умыкнутого под вечер из книжного шкафа, или споры с Анатолием, переходившие в ссоры и доходившие до легкого мордобоя на тему: чей отец? Толька был Серов, а я был Симонов. Но Толька был постоянным членом семьи, а я приезжим гостем и Каэма, т.е. Константина Михайловича мы оба звали папой. Впрочем, тут скорее неловко было всякий раз отвечать на вопрос: чего вы не поделили? Я, насколько помню, правды не сказал ни разу. Ну и главное – тети Валины визиты в комнату, отведенную мне для сна. Приходила она вечером пожелать мне спокойной ночи, приходила, как я теперь понимаю, дыша духами и туманами, садилась на кровать и почти со слезами на глазах начинала говорить, что она передо мной ни в чем не

виновата, она отца из семьи не уводила и перед мамой ей не в чем каяться, и как она ее уважает.

Видимо она считала, что тем самым развеивает мои мрачные мысли. А у меня и мыслей никаких по этому поводу не возникало. Я привык, что отец у меня проходящий, отцом и матерью у меня в те годы была для меня мама и к тете Вале не было у меня никаких претензий. Она существовала, как часть устойчивого, до меня устоявшегося порядка вещей: есть отец, у него есть жена. И есть мама, у нее есть я – и если вы меня спросите: тогда из-за чего вы дрались с Толей? Я вам скажу: мы обычно не с этого начинали, это было аргументом в спорах, а не природным конфликтом.

А Валентину Васильевну я любил. Она была женщина красивая, щедрая, дарила душевное тепло и всячески старалась, чтобы я не чувствовал себя в Переделкино гостем, отчего неловкость иногда возрастала. Как сказано у отца в стихотворении тех самых лет, в книжке «Друзья и враги» про трещину в отношениях между людьми «прикрыта, но не зарубцована»... Так, видимо и у меня.

Чтобы было понятно, откуда рождалась эта неловкость, эта трещина, этот скрытый душевный разлад, я расскажу вам историю про костюмчик «а-ля хороший американский мальчик» и, поскольку я не хочу повторяться, я возьму этот рассказ из книжки «Константин Симонов в воспоминаниях современников», где он довольно складно изложен. Только прошу учесть, что написано это больше тридцати лет назад и возникающую несообразность времен мне придется исправить.

«Летом сорок шестого года отец ездил в Америку, в результате чего я стал обладателем коричневого костюмчика с короткими штанами и кепочки из того же материала, – а-ля хороший американский мальчик. Короткие эти штаны вызывали «классовую» ненависть мальчишек дома №14 по Сивцеву Вражку, где я жил тогда у бабки с дедом. Эпоха джинсов была далеко впереди, а эстетика шорт и сегодня еще вызывает нездоровый смех в наших краях. Так что, невольно эстетически опередив свое время, стал я мишенью для насмешек своих сверстников. Эстетические разногласия выражались в том, что меня периодически поколачивали во дворе, и хотя я быстро усвоил, что штаны должны быть как у всех, штаны эти ненавидал и не носил, однако поколачивали меня по-прежнему, в память о штанах и, вероятно, других американских штучках типа ковбойского костюма, о которых я уже помню не сам, а из писем и из устных семейных преданий.

Скорее всего, это весна сорок седьмого. У ажурного забора нашего дома останавливается черная машина («эмка»? «БМВ»? – не помню), и знакомый отцовский шофер объясняет, что приехал взять меня повидаться с отцом. Отмытый бабкой, с залитой йодом, свежеразодранной в очередной драке, коленкой, я вдет в ненавистный костюмчик («Папа должен видеть, как ты ценишь его подарок!» – увещевает меня бабушка), посажен в машину на глазах всего двора (завтра придется драться еще и из-за этого) и привезен в «Гранд-отель», помещавшийся позади гостиницы «Москва» и ныне снесенный.

Меня вводят в ресторанный кабинет, где отец демонстрирует меня каким-то своим друзьям. Хорошо помню, что кабинет большой, а друзей двое или трое. Я докладываю, что по-прежнему в школе у меня одни пятерки и получаю наставление, что именно этим я и завоевал право на сюрприз. Гасят свет, и появляется повар в белом колпаке, который несет на серебряной продолговатой тарелке не-

виданное блюдо с коричневой запекшейся корочкой, над которой играют синие языки спиртового пламени. Это омлет-сюрприз. Там под взбитыми белками оказывается мороженое. Насладившись моим остолбенением и разъяснив мне, что и откуда надо извлекать для еды, отец снова зажигает свет. Он беседует с друзьями, я доедаю мороженое. Отец кажется мне далеким и всемогущим, немножко волшебником. Всемогущим и волшебником он в этот момент кажется и себе, очень веселится, глядя на меня, а в заключение спрашивает, доволен ли я своим костюмчиком. Я выражаю приличествующую случаю благодарность и на той же машине отбываю домой. До следующей встречи, может быть, месяц, а может, и полгода – в зависимости от того, как сложатся руководящие отцом государственные дела. Это я знаю от мамы и бабушки».

А всего два или три года спустя, в 51-м году, когда в связи с переходом в первую английскую школу, в Сокольники из моей 59-й, расположенной за углом от Сивцева Вражка, на Староконюшенном переулке, напротив Канадского посольства, я от бабки и деда переехал к маме на Зубовскую, ко мне прицепилась опасная зараза. В четвертом классе «А» школы №1, у замечательной Евгении Николаевны начал учиться юный Симонов. И у него на почве неловкостей в одной жизни развился чудовищный комплекс в другой. Что и кому я хотел доказать – кто же сейчас скажет, но где-то в начале третьей четверти, если кто помнит, это как раз после зимних каникул, «Остапа понесло» – я стал постоянно тыкать в нос соученикам свою фамилию, регалии своего отца, его звездный литературный и политический статус, и широкие материальные возможности. Словом, я примерял на себя образ папенькиного сына без всяких скидок на негативную реакцию окружающих. И напросился: они решили устроить мне темную. Правда, для этого надо было меня поймать – не в классе же хотели они меня отметелить. Два дня я от них удирил: выпрыгивал в сугроб из окна туалета, выходил почти что под ручку с директором школы, когда взять меня для расправы было проблематично. Но если вы думаете, что успешное противостояние укрепляло мой дух, то вы глубоко ошибаетесь. Все эти два или три дня я напряженно думал, пытаюсь понять, за что они – все хотят напасть на одного меня. Сначала, вполне в духе охватившей меня заразы, я думал, что это зависть, и дело в том, что я – Симонов. Потом робко забрезжило, что не в том дело, что Симонов, а в том, что тычу этим в нос всем и каждому, потеряв стыд. Одиночество, если ты не сам его выбрал одиночество как наказание, как выбраковка, очень способствует верному настрою мыслей. Я вышел к моим преследователям и сказал что-то вроде «Ваша взяла. Я не прав».

Так мои однокашники из четвертого «А» выучили меня на всю оставшуюся жизнь, что Симонов – это он, а я сын его, иногда обретающий право на эту фамилию. Если хорошо дело сделаешь. Или повезет.

А главным моим загонщиком был сосед по Зубовской площади, Славка Пирогов. Я вылечился, а он заболел, что и привело его в конце концов в КГБ, где он дослужился до чина полковника.

\* \* \*

Пили в Переделкино, видимо много. Когда я в последний раз был на этой даче, мне уже было пятнадцать лет и во мне появилась практическая жилка: на участке стоял небольшой сарайчик, где по идее должны были храниться всякие рабочие

инструменты типа лопат и метел. Но когда мы с Костей Либкнехтом – двоюродным братом Валентины Васильевны, парнем чуть меня постарше, его открыли... каких бутылок там только не было – причем почему-то большинство с вдавленными сквозь горлышко пробками, так что для их утилизации пришлось завести, ну не мастерскую, так спецуголок, где эти бутылки освобождались от пробок с помощью петли из шпагата, потом их надо было отмыть и дня три подряд мы по нескольку раз в день возили две полных сумки стеклотары на станцию, где сдавали по дешевке, по 10 копеек штука и зарабатывали право внятно ответить на вопрос: как ты заработал свой первый рубль. Но наш упорный труд ничем не закончился, количество бутылок в этом сарайчике почти что не убыло. Анатолий в этом бизнесе не участвовал. Он двумя годами раньше был услан из Москвы в Нижний Тагил, где исправлял поведение в специализированном интернате. Там среди воспитанников попадались трудные дети известных родителей, которые предпочли таким образом решить вопросы неадекватного поведения собственных чад. Тольку было жалко, потому что, как он сказал мне, приехав на каникулы: - Отец платит, за его счет возят воспитанников на экскурсии то в Москву, то в Ленинград, и меня сделали заложником финансового благополучия этого воспитательного учреждения. Так что я вот-вот исправлюсь, но стоит им захотеть денег, как у меня начинаются «срывы в поведении».

Так что для меня Переделкино не столько место, сколько период в жизни, а уж для остальных «историков» – это безусловно так, ибо места они не знали, не видели, не чувствовали, поэтому все свои волшебные замки строят вокруг периода 47–54, обмазывая общеизвестные сведения глазурию (так и хочется сказать гламурью) собственных фантазий.

#### ГЛАВА ПРО Симонова и Серову *роман в стихах*

Я предлагаю свою версию этой драмы, тем более, что начало ее, по большому счету, у всех сходится: для широкой, редко читающей стихи, публикой, драма начинается публикацией стихотворения «Жди меня», т.е. с января 1942 года. Если бы не это – никогда бы никто не делал попытки выстроить в биографию сюжет яркий как вспышка, и, если б не война, обреченный за яркостью быстро уйти дымом и пеплом.

Мы недавно, к столетию отца составляли книгу «Три дневника Константина Симонова». Туда вошли: журналистский дневник, который, в конце концов стал частью двухтомника «Разные дни войны», эпистолярный – где воспроизведена переписка Симонова с мамой и отчимом с 41 по 45-й годы и лирический, где собраны основные лирические стихи, в те же годы написанные. Несмотря на усилия отца вычеркнуть Серову из истории собственной жизни пересечения сюжетов всех трех дневников, все равно заметны заинтересованному читателю. Но меня сейчас интересует именно третий, лирический дневник, тот, который лежит в основе переделкинской жизни, которую я тут пытался описать.

В последнее собрание сочинений включены 44 стихотворения лирического дневника, они составили раздел «С тобой и без тебя» (1941–1954) и, насколько я понимаю, в них и только в них надо искать возможные перипетии сюжета, по сию пору вызывающие слюнявое любопытство. Давайте читать.

Первые шесть стихотворений предвоенные – май, начало июня 41 года. Начиная с «Плюшевых волков»:

Желтые иголки на пол падают...  
Все я жду, что с елки  
мне тебя подарят,  
влюбленность и неуверенность.  
удачи и разочарования,  
надежда, страсть и сомнение.  
И веришь ли, что странную  
Мечтой себя тревожу я  
И ты не та, желанная,  
А только так, похожая  
(Я много жил в гостиницах)  
Без губ твоих, без взгляда  
Как выжить мне полдня,  
Пока хоть раз пощады  
Запросишь у меня  
(Когда со мной страданием  
Поделятся друзья...)  
Когда теперь я в темном зале  
Увижу вдруг твои глаза,  
В которых тайные печали  
Не выдаст женская слеза.  
(Тринадцать лет. Кино в Рязани)  
Может снова к счастью добредешь ты,  
Может снова будут смерть и горе,  
Может и меня переживешь ты,  
Поговорки злой не переспоря.  
(Если родилась красивой)

Надеюсь, знатоки симоновско-серовской биографии услышали в последней строфе постигшее Валентину Васильевну недавнее несчастье: гибель любимого первого мужа – Анатолия Серова.

Где взять мне такую,  
Чтоб все ей простить,  
Чтоб жить с ней, рискуя  
Недолго прожить?  
(Я очень тоскую...)  
И если будет суждено  
Тебя мне удержать,  
Не потому, что не дано  
Тебе других узнать.  
(Я, верно, был упрямей всех...)

В этих первых стихах дневника Симонов напоминает канатоходца, у которого дальний край каната в тумане, и он идет, то оступаясь, то вновь обретая равнове-

сие... И тут в эту любовную суматоху врывается война и все сразу обретает иное измерение.

Чтоб с теми, в темноте, в хмелю,  
Не спутал с прежними словами,  
Ты вдруг сказала мне «люблю»  
Почти спокойными губами.  
Такой я раньше не видал  
Тебя, до этих слов разлуки:  
Люблю, люблю... ночной вокзал,  
Холодные от горя руки.

(Ты говорила мне «люблю»...)

июнь 41

Не знаю, как вам, а мне представляется, что главная интонация следующего в дневнике стихотворения: заговор, но молитвенная – она растет из предыдущих стихов и становится «Жди меня» (написано в июле 41 года, прочитано по радио в декабре 41, напечатано в «Правде» в январе 42) – никто же не знал, чем станет «Жди меня» для воюющей страны, и Симонов не знал, и тем более Серова. А ведь оказалось, что на женщину, судя по всем предыдущим стихам – земную и грешную – он возложил непомерную ответственность и тем самым обрек на публичность все, что с ними будет с этой поры и не ведомо куда. Но ведь и он не знал, что его личная молитва станет всеобщим заклинанием; что сделает из тысяч читателей соглядатаев нравственной чистоты женщины, чьи инициалы стояли справа над текстом стихотворения.

Интересно было бы последить, фиксируя выходные данные, как это посвящение возникает над стихотворением, переезжает на обложку книжек, исчезает совсем и снова появляется. Если бы эту работу кто-нибудь проделал для вождя, мы бы с вами никогда бы не услышали эту бессмертную его шутку на счет двух экземпляров книжки «С тобой и без тебя». «Один – ему, второй – ей». И авторы книг и фильмов лишились бы возможности вставить добро Сталина, со своеобразным чувством юмора, в свои якобы биографические произведения.

Далее – по стихам – наступает пора жениховства.

«Мне хочется назвать тебя женой...»  
«Без спроса на верность тебя обрекли...»  
(Я пил за тебя под Одессой в землянке)  
«За смелость не прося прощенья,  
Клянусь, что, если доживу,  
Ту ночь я ночью обрученья  
С тобою вместе назову»  
(Я, перебрав весь год, не вижу...)

И, наконец, важнейший перекресток симоновских двух тем: темы войны и темы любви – стихотворение «Хозяйка дома», написанное в 42-м, где кроме замечательных строф о мужской дружбе излагается технология полуподпольного, официально необъявленного брака, когда лирический герой уходит из дома лирической героини заодно с друзьями, а после их ухода возвращается один.

И даже пусть догадливы друзья  
 Так было лучше, это б нам мешало.  
 Ты в эти вечера была ничья.  
 Как ты права – что прав меня лишала.

И конфликты, описанные в стихах, приобретают бытовой характер и начинают вписываться в окружающую воюющую действительность, как в стихотворении, а точнее маленькой поэме «Дожди».

Я просто видеть, видеть, видеть  
 Хотел тебя, тебя, тебя.  
 Без ссор, без глупой канители,  
 Что вспомнить стыдно и смешно.

А бомбы не спеша летели  
 Как на замедленном кино...

Отношения приобретали определенность, при всей нервной неопределенности военного будущего. И в этой ситуации – цель, наконец, достигнута. В 1943 году Серова сдается. Симонов одерживает желанную победу и становится ее официальным мужем. Стихов, по большому счету больше писать незачем.

Со мной прощаясь на рассвете  
 Перед отъездом раз и два  
 Ты повтори мне все на свете  
 Неповторимые слова.  
 (Не раз выдав, как умирали)  
 И этот год ты встретишь без меня  
 1943

Уже все непросто, уже возникают сомнения в прочности построенного союза уже в стихах, написанных далеко от дома в итальянском Барии прорывается

Вновь тоскую последних три дня  
 Без тебя, мое старое горе  
 1944

или

Мы любовь свою сгубили сами  
 При смерти она из ночи в ночь  
 (Летаргия. 1944)

Словом уже возникает ситуация, которую автор всех этих слов описал шестью семью годами раньше, и тоже в стихах, только тогда любовные волнения носили более или менее теоретический характер

Все романы обычно  
 на свадьбах кончают недаром,  
 Потому что не знают,  
 что делать с героем потом.

– Это из поэмы «Пять страниц», 1939 год.

В его поэтическом творчестве наступает пауза, а отдельные, очень отдельные,

лирические стихи носят оттенок семейных недоразумений. Тем более, что во вне-семейной жизни наступает момент славы. Когда-то в разговоре об успехах на стадионах Евтушенко отец сказал: «Третья волна вселенской популярности. Первая была у Есенина». Я неосторожно или вернее недогадливо спросил: «А вторая?» – «Вторая была у меня».

В январе 44 года бабка моя, мать отца, Александра Леонидовна Оболенская–Иванишева написала отцу письмо, где стихи о любимой женщине и представление этой любимой женщины толпе почитателей разводятся по разным углам ринга. На литературу вкус у бабки был неважный, зато житейского опыта и апломба было более чем достаточно.

«...Симонов, предъявляя к любви огромные требования, в своем чувстве несчастлив,» – это ее непосредственная реакция на вечер сына в Колонном зале, где он, в присутствии жены и матери, читал «С тобой и без тебя».

Я не думаю, чтобы обрушившаяся слава довела отца до полного бесчувствия. Мне кажется, что он что-то Валентине этим доказывал или глушил в себе какие-то сомнения громким топотом ног толпы поклонниц. Во всяком случае, если в любви существует понятие нормы, их отношения уже к концу сорок третьего года, я боюсь, вышли за рамки этого понятия.

Как ни странно, мне представляется, что отцова женитьба на Серовой напояет конные скачки, где ее рука была призом и, победив и женившись на Валентине Васильевне, он начал терять азарт погони.

Мне помогает в это поверить стихотворение, написанное в 45-м году, где есть такие строки, описывающие разницу между Симоновым 42-го года и Симоновым осенью сорок четвертого. В стихотворении «Мы оба с тобою из племени...» последние строфы, звучат так:

...В то трудное время мое,  
Когда еще дальше предместия  
Не занял я сердце твое,  
Когда за горами, за долами  
Жила ты, другого любя.  
Когда из огня, да и в полымя  
Меж нами бросало тебя.  
Давай с тобой так и условимся:  
Тогдашний – я умер. Бог с ним.  
А с нынешним мной – остановимся  
И заново поговорим.

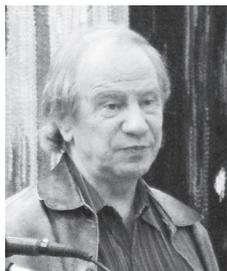
Что означает этот экскурс в прошлое? Роман с Рокоссовским, что бы ни говорили его родичи, и что бы мы сами успокоительное не утверждали, но отношения достойные названия «роман», вероятнее всего были, ибо не кто иной как отец рассказал мне, как приехав на фронт должен был передать будущему маршалу письмо от В.В. и как тот смутился, получая письмо через такого неожиданного дипкурьера. Потому что даже ужасная рифма «мое – твое» доказывает, что строки эти всерьез и что-то за ними стоит столь важное, что оно оказалось важнее поэтического самолюбия. Как говаривал Ка Эм: «рифму можно было бы найти и другую». Видимо, не это было главными. Ну уж и вовсе принимаю все проклятия

на свою голову, но не кажется ли вам, что Открытое письмо женщине из города Вичуга тоже каким-то боком могло быть перенесено из подборки «Стихов о войне» в лирический дневник. И хотя оно – нет сомнения – никак не относится к В.В.Серовой, но обличительный азарт, который в этом стихе охватил Симонова носит личностный оттенок – и ничего не поделаешь с этим моим ощущением. Как сказано в стихотворение другого поэта: «Правда это? Или байка? Или то и се? Вот поди-ка, отгадай-ка – верится и все!»

Но, как говорится, век учись, а книжки все равно – читай. Есть в моей библиотеке несколько книжек бабкиного самиздата: это собранные по годам перепечатки известных ей оригиналов в тот год написанных стихотворений. Так вот в книжке с надписью бабкиным летящим смольненским почерком «Стихи 1945 г.» напечатано то, что в собрание сочинений отца вошло сокращенное до двух строф, причем вторая их них с окончательной заметкой не совпадает. Мало того, оно опубликовано с датой 1947, а написано в феврале 45-го. И начинается и тут и там строчками:

Как говорят, тебя я разлюбил  
И с этим спорить скучно и не надо

Здесь, в большей части стихотворения появляются те самые, «болельщики» и «болельщицы», которых, как я понимаю, с такой резкой отповедью описала в своем письме бабка Аля. Оказывается и он стал различать эту аккомпанирующую толпу вокруг и отрефлексировал их шумный кагал.



## Константин КЕДРОВ

## Джордано

На костре сжигали бесконечность  
Как же корчилась она в агонии  
Копошилась рядом мира нечисть  
И кричала: «В огонь в огонь ее!»  
Ах гори огнем вся вселенная  
Бесконечность пахнет жареным мясом  
Семя в пламени пламя в семени  
Масса мяса и мяса масса  
Черт с ним с мясом но как же мозг  
Переполнивший мироздание  
Свет живых нейроновых звезд  
Мозг лучащийся вечным знанием  
Он метнувший в себя костер  
Пламя в пламени в млеке млечность  
В вьсь последнюю мысль исторг:  
«НЕ ГОРИТ В ОГНЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ»  
*20 августа 2015*

\* \* \*

Дождется Гамлет Фортигбраса  
Улисса Пенелопа ждет  
Вселенная давно погасла  
Но свет от звезд еще идет

## После жизни

После обильного возлияния  
Сократ проснулся с привычным привкусом цикуты  
Утром Гамлет почувствовал  
Привычное покалывание в груди от рапиры Лаэрта  
Дантес почувствовал боль в паху  
От пули попавшей в Пушкина  
Пушкин ничего не почувствовал —  
Он спал

\* \* \*

Я никому ни в чем не прекословлю  
 Мой Храм построен на моей крови  
 Я прикоснулся к разуму любовью  
 Я прикоснулся разумом к любви

16 октября 2015

\* \* \*

Да я многого не заметил  
 Например как растет трава  
 И на многое не ответил  
 Потому что слова слова  
 Отвечайте за все на свете  
 Вся ответственность будет на вас  
 Вся ответственность на поэте  
 Но уже осёдлан Пегас  
 Пусть в костер задувает ветер  
 Только вспыхнул уже погас  
 Но еще не написан Вертер  
 И уже осёдлан Пегас  
 Все движенья пока неловки  
 Он ускачет рифмой звеня  
 Где луна серебряной ковки  
 На подковке его коня

### СТРОКИ и СРОКИ (триптих)

1.

60-е.

Если бы вдруг умер в 27

Был бы

Есениным

Проклятых 60-х

Хрущевым распятым

Был бы с вами каждое мгновенье

Вы б запомнили и сохранили:

«ТЫ НУЖНА КАК ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНЬЕ

НЕПОДВИЖНОЙ СКРИПКЕ ПАГАНИНИ»

Только иногда из вышины

Приходил к вам голос человека

«ПО КОМНАТЕ БРОДИТ МЕДВЕДЬ ТИШИНЫ

Я ЗАБРОШЕН СЮДА ИЗ ДРУГОГО СВЕТЛОГО ВЕКА»

Не было бы никогда в моей судьбе

Трех метаметафористов-незнакомцев

«НИКОГДА НЕ ПРИБЛИЖУСЬ К ТЕБЕ

БЛИЖЕ ЧЕМ ЦВЕТОК ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СОЛНЦУ»  
 Впереди чернобыльский ад еще  
 И афганские ады адушки  
 «ЛЮБИМАЯ СПИТ — ЕЙ СНЯТСЯ ЛАНДЫШИ  
 НАШИ ДУШИ ИГРАЮТ В ЛАДУШКИ»  
 Еще Родина моя не распродана  
 И не лопается от жира:  
 «НО РАЗВЕ ЖЕ ЕСТЬ У СВОБОДЫ РОДИНА?  
 СВОБОДА = РОДИНА ВСЕГО МИРА»  
 И шагал бы с вами по всем дорогам  
 ОДНОНОГОРБЫЙ ВЕРБЛЮД  
 ОДНОНОГИЙ ВЕРБЛЮД  
 И ДВУНОГИЙ  
 И звенел бы голос мой сквозь шепот молву и ропот  
 НЕ ТРОГАЙТЕ МЕНЯ — Я СТЕКЛЯННЫЙ РОБОТ  
 Там в 60-х мой стих живет  
 Это мой Рай это их поверженный ад:  
 «Я ВЫШЕЛ К СЕБЕ ЧЕРЕЗ — НАВСТРЕЧУ — ОТ  
 И УШЕЛ ПОД ВОЗДВИГАЯ НАД!»

## 2.

70-е.

Если бы я как Маяковский, Пушкин, Губанов  
 Покинул мир в 38 — то осталась бы моим заветом  
 «НЕВЕСТА ЛОХМАТАЯ СВЕТОМ»  
 ТОТ ЭТО СМЕРТИ БОГ  
 ТОТ СТАЛ Э-ТОТ  
 Такова анаграмная магия  
 Поэмы «ДО-ПОТОП-НОЯ ЕВ-АНГЕЛ-ИЕ»  
 КРЕСТ КАК КРЕСТ  
 ХРУСТ КАК ХРУСТ  
 ХРОНОС СЫНА ЕСТ  
 А СЫН ПУСТ  
 И еще из немеющего рта  
 СМЕРТЬ МЕРТВА  
 АТОМА НЕМОТА  
 Ну и конечно в тиши ментальной  
 ОПИРАЯСЬ НА ПОСОХ ВОЗДУШНЫЙ  
 СТРАННИК ШЕСТВУЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  
 Иногда сам себе задаю вопрос  
 Для кого писал я в Стране Запретов  
 В ОКРУЖЕНЬИ УМЕРЕННО ВЯНУЩИХ РОЗ  
 ОБМИРАЕТ В РЫДАНИЯХ ЛЕТО  
 НО над пепелищем  
 Для всех открыл я  
 Павел Челищев —

АНГЕЛ НЕЧЕТНОКРЫЛЫЙ  
И не мятежной искал я бури  
ИЕРОГЛИФ вечной ЛАЗУРИ

3.

90-е.

Если бы я умер после 38-ми,  
Дожив лишь до возраста Шекспира  
Я бы успел подружиться с замечательными людьми  
И напомнил «Компьютер любви» из другого мира  
Сами судите из Рая или из ада  
Пусть Вам напомнит созвездие Вега  
НЕБО ЭТО ВЫСОТА ВЗГЛЯДА  
ВЗГЛЯД ЭТО ГЛУБИНА НЕБА  
Может рано а может поздно  
Но когда нибудь это будет  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЗВЕЗДЫ  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЛЮДИ  
Но устав от бесконечного бега  
Прокричу уже из прошлого века  
ЧЕЛОВЕК ЭТО ИЗНАНКА НЕБА  
НЕБО ЭТО ИЗНАНКА ЧЕЛОВЕКА  
миновав средний возраст  
продолжаю мечтать о чуде  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЗВЕЗДЫ  
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЛЮДИ  
Муза моя хрипела и пела  
Но все поведать успела —  
ЗЕМЛЯ ЛЕТЕЛА  
ПО ЗАКОНАМ ТЕЛА  
А БАБОЧКА ЛЕТЕЛА  
КАК ХОТЕЛА

*19 октября 2015*

### Пришельник

Я не отшельник  
Я пришельник  
Я шел  
Пока к вам не пришел  
Я от бездарностей ушельник  
Всё потерял и всё нашел  
Как пароход раздвинув воды  
Не оставляет в них следа  
Так я прошел сквозь все невзгоды  
Ушел оставшись навсегда  
Пусть самые простые рифмы

Окажутся сложней судьбы  
Корабль разбившийся о рифы  
Сухим выходит из воды  
*8 ноября 2015*

Непонятный смысл  
Боритесь с глупостью боритесь  
Она от зависти зависла  
О вы напрасно так боитесь  
Не понятого вами смысла  
Ведь глупость это повседневно  
Христа целующий Иуда  
Непонятое неизбежно  
Непонятое ждет нас всюду  
Уставший мозг ждет снисхожденья  
Но снисхождения не будет  
За смертью следует рожденье  
Христос целующий Иуду  
*23 октября 2015*

Предновогодние стихи  
в Зимнее Солнцестояние  
декабрь 2015

Как только мы поймём что такое Слово  
Устройство вселенной покажется нам детской игрушкой  
Радуга играла Скрябиным  
Скрябин радугой играл  
Нотный стан стал звукорадугой  
Звукорадужный хор ал  
Прометеем электрическим  
Добывал из звука цвет  
Стал финал его трагический  
Звукорадужный Завет  
В зодиак цветной играя  
Он извлек аккорды Рая  
Просиял его Грааль  
Проиграл его рояль

\* \* \*

Не вызывает сомнения  
Подлинность нашего мира  
Но вызывает сомнение  
Подлинность драмы Шекспира  
Подлинны драмы Шекспира  
Он их давно отыграл

Подлинность нашего мира  
Каждый из нас проиграл  
Подлинны драмы Шекспира  
В театре и даже в кино  
Подлинность нашего мира  
Нам досмотреть не дано

### Ференц Лист

Все звуки звучными роями  
Как пчёлы жалят слух неистово  
Лист не играет на рояле  
Зато рояль играет Листом  
Лист пробует уйти в монашество  
От звуков в келью затворится  
Но музыкальное монашество  
Царит в империи Австрийской  
Царит рояля роялист  
Австро-Венгерский Ференц Лист

\* \* \*

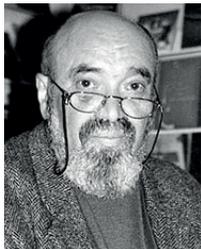
Жизнь в России не галоп –  
Залпом выпитый сугроб  
Дайте мне 100 лет условно  
Соглашусь беспрекословно

\* \* \*

На самой дальней Станции Любви  
Сойти что б не вернуться никогда  
Я говорю себе: «Себя лови!»  
Но не ловец я а своя беда  
Душа в крови и вся земля в крови  
И я в крови на Станции Любви

\* \* \*

Если меня отключат от системы SWIFT  
Я этого не замечу  
Если меня отключат от системы ВСЕЛЕННАЯ  
Я включу в себе аварийную систему ЧЕЛОВЕК  
От системы ЧЕЛОВЕК  
Может отключить только БОГ  
От системы БОГ  
Никто отключить не может  
ВСЕЛЕННАЯ ЧЕЛОВЕК БОГ  
БОГ ВСЕЛЕННАЯ ЧЕЛОВЕК



Евгений ПОПОВ

## Героический поступок, связанный с убийством лебеда Борьки

Плацкартный вагон №15 дополнительного поезда №606, мерно подрагивая, ехал в 1984 году из Симферополя в столицу нашей Родины Москву. За железнодорожными окошками мелькали всем с детства знакомые пейзажи: гнилой Сиваш, джанкойские степи, Мелитополь с его знаменитыми дыньками «Колхозница», продаваемыми прямо на перроне по весьма умеренной цене – на рубль четыре штуки... Запорожье – колыбель милого автомобиля ЗАЗ, индустриальный Харьков, холмистый Белгород, тучные нивы Курщины, Орловщины, Тульщины, Мценск, стоящий на реке Зуше, византийские маковки Серпухова, Ясная Поляна, Бутово, Щербинка, Чертаново, Серп и Молот, Курский вокзал... Пассажиры притомились, устав разглядывать ежесекундно меняющиеся, но от этого еще более потрясающие виды родной земли и поедать крутые вареные яйца, помидоры, огурцы, дыни, арбузы, плавленые сырки, слушая по местному радиовещанию песню «И снится нам не рокот космодрома», исполняемую знаменитым рок-ансамблем «Земляне», что был справедливо раскритикован в газете «Правда», ибо его участники как-то раз дошли до оголтелого бесстыдства, публично выступив на сцене и используя в качестве реквизитной атрибутики элементы флага США, звезды и полосы. И пассажиры устали.

Они устали и совершенно естественно, что заговорили о том, что вдруг сильно их взволновало на сей вялотекущий момент пространства и времени. А именно: есть ли в нашей жизни, жизни без войн и глобальных катастроф, место подвигу.

То есть не следует считать их наивными людьми либо простачками: они конечно же хорошо знали об усилившейся по вине империализма международной напряженности, о злобных душманах, карабкающихся по глухим тропинкам, проложенным в отвесных скалах, о неблагоприятных делах тайландских властей, совершающих опасные вооруженные провокации на границе с Народной Республикой Кампучией, о военных операциях в Республике Чад, о крайних «играх» Вашингтона в Центральной Америке, росте «коричневой чумы» во Франции, о массовых беспорядках на окраине Индии, связях западноевропейской «десятки» и асеановской «шестерки», и наконец, о том, что все народы не могут не выразить своего глубокого негодования по поводу политики и действия правительств, которые нашли общие интересы с режимом Претории и создают благоприятные условия, содействуя ему в совершаемых им преступлениях против Африки и человечества.

Они хорошо знали все это, но говорили совершенно о другом, и описывать их, говоривших, нет ни смысла, ни нужды. Этот простой рассказ адресован довольно широкому кругу соотечественников моего возраста, которые неоднократно ездили в Москву из Крыма и других живописных уголков нашей Родины, кушая упомянутые фрукты, овощи, видя упомянутые пространства и пейзажи, так что ничего нового

я никому сообщить не могу, за исключением одной конкретности – внесения в эту жизнь духа героичности, прекрасности, оптимизма, которые подобно ранее редким, а ныне весьма распространенным приправам: аджике, ткемали, русской и французской горчицам, хрену тертому, кетчупу, кэрри – освежают и облагораживают дежурные блюда скромного обеда нашей трудовой семьи, превращают эту трапезу в пиршество, вызывают бодрость, уверенность, мягкую улыбку, а не злобу по поводу все еще имеющих, к сожалению, всегда жизненных и моральных неустройств; и, самое главное, резко, прямо, открыто обнажают свою мировоззренческую позицию, выступая против уныния, которое не только мешает всем нам правильно ориентироваться в пространстве и времени, не только сушит личность на корню, лишая совокупность личностей, называемую обществом, моральной уверенности, способности повышать производительность труда, весело, играючись, глядеть в будущее, одерживая одну за другой маленькие незаметные победы, способствующие пусть и не райскому хотя бы процветанию, но выживанию в сложных условиях, поначалу, может, и вовсе не заметному, а потом все более и более крепящему тело, дух, но и является уныние седьмым смертным грехом, страшным для православных. Ах, развеселитесь же вы в конце-то концов те, кому хоть что-то дорого! Кончайте строить скорбные хари. Жизнь идет, растут дети, всем нужно и хочется жить, да здравствуют мир, дружба, долой раздоры и улыбнитесь наконец-то друг другу, братья, умоляю вас! Что совершенно не значит, будто никто не имеет права вздохнуть, зарыдать, напиться, порвать на себе рубаху. Но горе реальное – это нечто иное, чем вечно возведенные к небесам унылые очи, наполненные видимыми миру истерическими следами. Не надо! Не нужно! Такие штуки больше не пройдут! Хватит!..

Герой с удивлением обнаружил себя в тесном тамбуре близ сортирной двери курящим папиросу «Казбек» и произносящим этот невнятный внутренний монолог в окружении других вагонных мужчин, которые, страшно дымя, заполнили узкое пространство таким количеством никотина, какового хватило бы на то, чтобы убить целый лошадиный эскадрон, с боем рвущийся куда-либо, размахивая шашками, саблями, кинжалами, ятаганами, финками и внезапно рухнувший в чистой ковыльной степи по причине неведомого этим людям и коням яда. Фу, зарапортовался я окончательно...

– Что, старая, доллар потеряла? – участливо обратился к старухе, шарящей под недосыгаемой ребристой поверхностью пола молодой человек лет тридцати восьми с желтоватым лицом, в синеватом тренировочном костюме и туфлях «Адидас» производства грузинских умельцев.

Проводник вагона, лицо женского пола, названное старухой, разогнув поясницу, коротко послала его матом и ушла в свое служебное помещение, чтобы кипятить чай для пассажиров, заботиться о них, сделать их путешествие еще более приятным, запоминающимся.

– Неудачная шутка, – заметил желтолицый, продолжая сосать мундштук угасшей папиросы и лукаво поглядывая на героя. – Не все шутки удачны, но они и не должны быть такими: ведь нельзя же сплошь пришивать вместо пуговиц бриллианты или все время кушать вместо хлеба пиццу и рыбный пирог. Не знаю, кстати, как вы, а я недавно был в городе Калининграде, бывшем Кенигсберге, и остался немало поражен видом этого старинного, но преображенного центра бывшей Восточной Пруссии, откуда черные стрелы войн и пожаров шли на различные сла-

вянские племена, покуда возмущенная общественность мира не положила этому конец в результате победы советского народа во второй мировой войне и международных соглашений, ликвидировавших безобразия, о чем до сих пор свидетельствует надпись на группе бетонных стел с элементами чеканки по тонированному алюминию, расположенных близ разрушенного неправославного собора и нового местопребывания могилы профессора Иммануила Канта, которую перенесли из развалин бывшего баронского замка, угрюмо возвышавшегося над городом ровно до того времени, пока битые камни и кирпичи не разобрали с целью постройки современного бетонного многоэтажного Дворца, сияющего светом и стеклами, чтоб он тоже возвышался над городом, но уже с правильных позиций, неся радость, добро, уверенность всем тем, кто смотрит, задрал голову на эту стройку, которую строители никак не могут закончить, ибо баронский фундамент, потревоженный современными механизмами, все время чегой-то сюрпризы некоторые дает: то кривится, то проседает – так утверждают местные жители, которым всем, как и мне, ясно, что замечательный Дворец рано или поздно будет сдан в срок и принят комиссией с оценкой «отлично» или, на худой конец, «хорошо».

А надпись эта, свидетельствующая со стел о переменах, гласит следующее:

В славном сорок пятом  
Ты пришел солдатом  
К берегам Прибалтики,  
Русский человек.  
И сказал: «Довольно»,  
Чтобы не быть войнам,  
Пусть земля советская  
Будет здесь навек.  
Москвичи, куряне,  
Псковичи, смоляне,  
Мы в трудах не ведали  
Никаких преград.  
Отдыха не знали,  
Из руин подняли  
Новый русский город,  
Наш Калининград.

Таким образом, бывший Кенигсберг, а ныне Калининград, окруженный бывшими Тильзитом, Тапиау, Раушеном, Кранцем, Койвисто, Нойхаузенем, Лабиау, Фридландом, Инстенбургом, ныне соответственно Советском, Гвардейском, Светлогорском, Зеленоградском, Приморском, Гурьевском, Полесском, Правдинском, Черняховском, стал теперь центром самой нашей западной области, имеющим 366 тысяч жителей, крупным портом на Балтийском море с железнодорожным узлом, базой рыболовного и китобойного флота, городом, имеющим развитое судостроение, вагоностроение, деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную, рыбоконсервную промышленности, три вуза, в том числе университет, два театра и множество исторических памятников, могил, улиц, домов, деревьев. Зоопарк там еще имеется, раскинувший свою обширную территорию напротив гостиницы «Москва», где раньше гитлеровцы танцевали свои паскудные танцы, справляя фашистский шабаш, а ныне живут туристы, комадированные, отдыхающие, простые советские люди со всех

концов нашей необъятной родины СССР, крупнейшего по территории государства на земном шаре, занимающего 22,4 миллиона квадратных километров, то есть практически одну шестую часть обитаемой суши, и простирающегося с востока на запад почти на 10 тысяч километров, а с севера на юг – на 5 тысяч километров.

Жил там и я. Будучи в командировке, я по службе встречался с многочисленными представителями трудящихся Калининграда и постепенно полюбил этот славный город, окутанный дымкой современных сказаний и легенд, многие из которых сводились к тому, что он является как бы двуслойным, если не многослойным, ибо история с проваливающимся баронским фундаментом оказывалась, по словам горожан, отнюдь не единственной, а стоящей в ряду других аналогичных, хотя все это, на мой компетентный взгляд, выдумки и вранье, которое я привожу здесь исключительно для того, чтобы развлечь вас и отстранить от дорожной тоски и скуки.

В частности: после прокладки озеленительного газона в самой сердцевине города, после того, как европеизированный этот газон своим ровно-зеленым травянистым цветом вызывал удовлетворенные толчки сердец глядящих на него горожан и других граждан, временами на этом газоне неизвестно откуда стали появляться серые упитанные крысы. Уныло свесив длинные хвосты, они сидели, внимательно глядя на зевак красноватыми бусинками отвратительных глаз. И так же лениво куда-то исчезали, и это куда-то было, по слухам, обширными неизвестными подвалами, где, по слухам, хранилось взопревшее фашистское зерно, мясные туши, окорока, колбасы, но при раскопках ничего из указанного найдено не было. Еще: строили дом на бывшем разбомбленном фундаменте, общежитие для ребят. Подводя водопровод, откопали неизвестную чугунную трубу с литыми готическими буквами, долго стояли, не зная, как с ней поступить, но потом все же решились и, разрезав металл автогеном, обнаружили потекшую очень чистую, вкусную, проточную воду. Обошли соседние дома, пытливо расспрашивая, не нарушилось ли в чьих квартирах водоснабжение, но у всех все было в порядке, и неизвестную трубу постепенно предали забвению, поставив толстые заглушки и проведя рядом свой водопровод, имеющий четкие, конкретные ориентиры на картах и планах, новосозданных нашими людьми взамен уничтоженных гитлеровцами при их поспешном отступлении, бегстве через Пиллау (Балтийск) и потоплении фашистских паникующих суден героической подводной лодкой отважного капитана Маринеско, о трудной судьбе которого недавно с таким блеском рассказал на страницах журнала «Новый мир» писатель-маринист Александр Крон, ныне уже тоже покойный.

А также: профтехучилище, организованное в бывшем католическом монастыре сразу же после начала в старинном городе новой жизни, имело пять подвальных этажей в землю, наполненных саксонским и мейсенским фарфором, гобеленами и хрусталем. Все это снесли туда, опасаясь бомбежек, глупые обыватели. Вскоре после обнаружения ценных находок эти этажи навечно замуровали, чтобы курсанты не баловались там в темноте. Замуровали и залили бетоном, потому что профтехучилищу совершенно не нужны пять подвальных этажей в землю, делать там совершенно никому нечего, вот их и закрыли, чтоб они никому не мешали и никого не отвлекали, чтобы, повторяю, курсанты не баловались там в темноте...

Да... Конечно же... Все правильно... Зайди в мемориальный фашистский бункер близ университета, где прятались ошалевшие гитлеровцы, трусливо слушавшие, как на город падают большие наступательные бомбы и советские части храбро

штурмуют небывалые в мировой истории концентрические укрепления, равномерными кольцами охватившие осажденный город и прорываемые нашими одно за другим до полной и окончательной победы... Зайди и ты увидишь различные изображения свастики и орла на фотографиях, относящихся к самому мрачному периоду жизни старинного города, зловещую свастику и мерзейшего фашистского орла, распростершего свои когти и крылья над военным парадом нацистов, марширующих по той самой площади, где и доселе стоит кроткий, хоть и немецкий Фридрих Шиллер, с доброй улыбкой глядящий на расположенное визави здание Калининградского областного драматического театра. Эх, бронзовый немец! Что бы ты сказал, кабы узнал, что у твоих живых соотечественников, ошибочно выбравших капиталистический путь развития общества, якобы висит, по слухам, объявление на каком-то вокзале ФРГ: «Поезда на Кенигсберг ВРЕМЕННО отменены». – «Хрена бы вам, а не временно, майн либен камараден! – вероятно, сказал бы ты, поднаторевший в жизненных реалиях за время стояния. – Хрена! Хрена вам собачьего в зубы, сукины вы, рассукины дети!..»

Отдышавшись, желтолицый рассказчик продолжал свой рассказ:

– Но я, собственно, не о том. Бог с ним, с этим Калининградом, бывшим Кенигсбергом, провалился он совсем, то есть я говорю в том смысле, что умная интересная жизнь уже осветила его старинные берега, а со временем и дальше там все будет еще лучше. А я о том самом незнакомце ярко выраженной наружности, который подошел ко мне в зоопарке, когда я в свободное от командировочной работы время любовался различными птицами, купающимися в отверзтых дымящихся полыньях замерзшего пруда, в зоопарке, этом пустынноватом вследствие зимы громадном зверином оазисе, где есть верблюды, слоны, тигры, пумы, медведи, волки, бараны и другие животные, которые водятся в зоопарках. Незнакомец подошел ко мне, посмотрел, как я гляжу на птиц, грязно выругался, после чего и начал свой рассказ.

– Вы приезжий? – полуутвердительно спросил он.

– Да, – ответил я. – Я командировочный... Вернее, если четко говорить по-русски, не командировочный, а командированный. А вы?

– А я – человек меланхолический, – сообщил незнакомец. – Вы знаете Куршскую косу? Так она ведет из русского Калининграда в литовскую Клайпеду через Зеленоградск, через Нерингу и Рыбачий, где расположен рыболовецкий совхоз-миллионер, а Неринга паромом соединена с Клайпедой, и я давно мечтал побывать во всех этих населенных пунктах, потому что по всей 98-километровой длине косы можно видеть высокие, до 70 метров, дюны, поросшие сосняком и черной ольхой с примесью липы, вяза, дуба, других деревьев, хотел услышать, увидеть, как поют и выглядят птицы знаменитого Нидского заповедника, описанного Андреем Битовым, Куршским заливом хотел полюбоваться, где водятся карповые, рыбец, судак, корюшка и в который впадает река Нямунас (Неман), важная водная артерия запада Державы. И конечно же Клайпеда, бывший Мемель, основанный в 1252 году и столь воспетый Карамзиным в его «Письмах русского путешественника», что мне ужасно, ну просто страшно захотелось посмотреть Мемель весь, с его архитектурными памятниками XVII–XVIII веков, краеведческим и морским музеями, драматическим театром, производством художественных изделий из янтаря, барами, ресторанами, кафе, и я думал, что мечта моя сбудется.

Но меланхолия, характеризующаяся слабой возбудимостью, глубиной и дли-

тельностью эмоциональных переживаний, мрачная настроенность, уныние, тоска не позволили мне исполнить мою мечту, ибо по ряду обстоятельств, связанных с тем, что билетов до промежуточных пунктов Куршской косы, являющейся экологически охраняемой зоной, не продают и нужно ехать из Калининграда напрямик до Клайпеды, то я тогда по совету одного постороннего человека, совершенно не имеющего отношения к моему рассказу, поехал в Зеленоградск, вы, наверное, слышали про такой город, который раньше назывался бывший курортный город не то Кранц, не то Гранц, поехал с тем, чтобы там подсесть на попутный автобус и уж тогда ехать туда, куда моей, а не их душе угодно, то есть в Ниду или Рыбачий, а отнюдь не сразу в Клайпеду, куда я непременно бы поехал, но лишь потом, вдосталь надыхавшись морскими ароматами и человеческим безлюдием. Но билетов не оказалось, шофер был груб, и я отказался разговаривать с ним в таком тоне, решив для частичной компенсации исполнения мечты прогуляться хотя бы по окрестностям этого самого Зеленоградска, основанного тоже в 1252 году и тоже имеющего дюны, здания готической и новой постройки, ратушу, живописные развалины.

А была такая, знаете ли, весна апреля месяца 1984 года. Море подмерзло у берегов желтоватыми комьями, орут чайки, продают жареные пирожки, отдыхающие бродят в фетровых шляпах и русских сапогах. Я углубился в дюны.

И тут выглянуло солнце, залив своим животворным светом и залив, и все вокруг. Песок быстро нагрелся, белый кварц, составляющий его, казалось, тоже стал излучать свет, тепло, добро, но вдруг пахнуло дымком, и я насторожился, выпив чуток водки из заранее припасенной бутылки.

Я немного отполз в сторону и в мягких складках дюн, готовых скрыть преступление, увидел среди безлюдного пространства и времени страшную картину, услышал жуткий разговор.

У пылающего костра сидели двое подонков, наверняка из тех, что, как написано в газете «Советская культура», нигде, наверное, не работают, а живут припеваючи, носят хорошую одежду, джинсы, имеют дома западную стереотехнику, видео и совершают морские круизы от Сочи до Ялты в каюте «люкс». Один из них был тощий, рыжеватый, с измученным лицом и выпавшими, полусгнившими зубами. Другой – плотный, коренастый, с лысым черепом, громадной черной бородой, глубоким шрамом под глазом, напоминающим синяк, был еще страшнее, чем первый. Привязанная за лапку, трепыхалась поодаль от них прекрасная птица, в которой я сразу же узнал русского лебедя семейства утиных. Или «шипун», или «крикуна», или «малого», не знаю, я не силен в орнитологии. Лебедь лежал смирно, но я понял, что перед этим он бился и вырывался, пытаясь дорого продать свою жизнь. А разбойникам было все равно. Они точили ножи и хрипло переговаривались:

– А здорово мы поймали лебедя Борьку, любимца местной детворы...

– Сейчас мы его уьем, оципем, зажарим и съедем, позвав перед этим девок, купив вина и танцуя на берегу рок-н-ролл в трусах и лифчиках, потому что солнце пригрело и здесь, в укромности дюн, можно даже загорать без ущерба для здоровья.

– Да, давно мечтал покушать такую царскую птицу, не все же мне хавать куру потрошеную, замороженную сразу же после убийства ее электрическим током на мясокомбинате города Алексин Тульской области.

– И я рад, что мы уьем лебедя Борьку. Тем самым мы бросим вызов обществу, его морали, предрассудкам и заодно покушаем... «Долой старую мораль! Обнажимся!» –

как говорил Достоевский, и я смело произношу это слово, потому что такое противоречие не антагонистическое, а выражает лишь то, что жизнь идет, не топчась на месте, и скромные наши берега будут вскоре озарены присутствием нового человека...

Негодяи захохотали. «Подлецы! – хотел мысленно воскликнуть я. – Как вы смее-те употреблять в подобном контексте такие высокие слова, которым вы научились в институтах и университетах за счет того общества, над моралью которого вы собра-лись тайно глумиться?! Да видели бы таких сволочей, как вы, ваши отцы, которые, возможно, положили жизнь на то, чтоб все, в том числе и вы, благоденствовали в нашем краю и мораль расцвела у нас пышным цветком, или, может, просто участво-вали ваши отцы в освоении целинных и залежных земель, ставя первые палатки на суровой казахской земле и в мыслях не имея, что их отпрыски дойдут когда-нибудь до такого цинизма, чтобы есть лебедя Борьку на этом чудном историческом берегу, где вся природа замерла и слилась в гармонии с человеком, который кажется ей добрым. Неужели ваша так называемая «ученость» и подверженность сомнительным теориям доведут вас в конце концов до преступления?»

Я огляделся по сторонам и понял. Пока я буду бегать за милицией, они убьют лебедя Борьку, и если даже не успеют его съесть, то все равно окажутся тем самым совсем пропавшими для общества, погрузившись в огненную геенну безверия и на-плевательского отношения ко всему святому. Одновременно я не бросился на них. Я никогда не занимался физкультурой, обрюзг, отяжелел к своим тридцати восьми го-дам, и сражение непременно было бы мной проиграно. Меня могли избить. Били бы ногами, с таких станется – опьяненные вином, жаждой лебединого мяса, они могли бы не остановиться ни перед чем, я сам неоднократно дрался ногами.

И тогда я принял единственно правильное в этих условиях решение. Чтобы не погибнуть от холода, я выпил остатки водки из бутылки, крадучись направился к морю, по горло зашел в мелководье Куршского залива и закричал, пуская пузыри:

– Тону! Тону!

Видимо, в этих парнях еще не выветрились останцы человечности. Они насто-рожились, мигом сбросили с себя одежду, тоже вбежали в мелководье Куршского залива и вытащили меня на берег греться у костра и кататься по песку, мокрому, дрожащего, с зубом, не попадающим на зуб. Мне дали водки. Катаясь по песку, я незаметно ослабил путы лебедя Борьки, и он вдруг взлетел, с шумом захлопав крыльями, как взлетает громадный самолет на Внуковском аэродроме, низко дви-гаясь над блочными многоэтажками Теплого Стана и Ясенева так, что в квартирах людей иногда дрожат стекла, мешая смотреть телевизор. Лебедь летел! Он держал курс на Калининград, и в покачивании его крыл, гордой осанке слышалась не-земная торжественная мелодия, музыка совести, милосердия, гармонии, братства всего живого на земле, зверей, растений, птиц, веры в счастливое будущее всех народов, мир, дружбу и разрядку с Америкой.

– Ну что, стыдно, подлецы? – тихо спросил я подонков.

– Стыдно, батя, – опустив головы, сказали они. – Уж ты не сдавай нас в мили-цию, договорились? Ты водки еще выпей, мы тебя еще и коньяком угостим...

– Да, я выпью вашу водку, выпью ваш коньяк, но лишь с одним условием, чтоб вы, поросята, обои немедленно рассказали, как вы дошли до жизни такой!..

– Действительно поросята, – вынуждены были согласиться они, и один из них, а именно рыжебородый начал свой рассказ:

– Иногда, под влиянием магической травы, которую я покупаю на Центральном телеграфе города Москвы, мне удается совершать путешествия не только в пространстве, но и во времени. Однако путешествия эти не всегда заканчиваются благополучно. Так, например, последний раз я оказался в имперском Петербурге 1908 года. Свирепствовали суровые годы реакции. Братоубийственная война с японцами и последующее декабрьское восстание 1905 года изрядно пошатнули трон империи, отчего репрессии еще больше усилились. Столыпин вешал всех с помощью своих военно-полевых судов, отчего репрессии усилились еще больше, и даже появилось такое выражение «стольпинские галстуки». Росло полное обнищание и приток крестьян в город, где они спивались, работая на заводах и играя по трактирам на гармониках. А в те времена, вы знаете наверно, махровым цветом цвело в культуре и литературе унылое упадничество, основным выражением которого являлся так называемый СПРИ, Союз Писателей Российской Империи, где было и немало честных людей, но в правлении его засели махровые декаденты и валютчики. Они совершенно не заботились о качестве и судьбе литературы, а думали лишь о том, чтоб побольше хапнуть, понастроить дач, наполучать квартир в 120 кв. метров и, уйдя на покой, заняться винными откупам. Сам я был далек от литературы, но у меня был товарищ, молодой писатель 1880 года рождения, который никак не мог вступить в этот союз, хотя очень сего хотел, многого еще не понимая в жизни. И он уже почти было туда вступил, вернее даже и совсем вступил в 1899 году, но его оттуда тут же выгнали, придравшись к тому, что он якобы связан со Львом Толстым, а также передает рукописи за границу, что являлось откровенной ложью, потому что он был тихий, мирный, малосознательный человек и лишь любил, мечтательно смоля пахитоску, глядеть в окно в своем шелковом стеганом халате, а потом описывать все, что он в этом окне увидел. Именно он и рассказал мне во время моего путешествия в 1908 год ту самую кошмарную историю, которая и послужила толчком к тому, что я только недавно собирался сделать с лебедем Борькой и чего избегнул лишь благодаря вмешательству судьбы в вашем лице, товарищ! А молодой писатель 1880 года рождения говорил мне:

– Я, милостивый сударь, не знаю, как вас звать и как вас по батюшке, уже совсем было снова вступил в СПРИ и был настолько в этом уверен, что побился об заклад на ящик шустовского коньяка, что меня туда примут. Однако судьба в лице моих врагов снова вмешалась в мою биографию, и мой прием снова отложили, отчего, потерпев моральный крах, я получил и весьма ощутимый материальный убыток. Я вынужден был купить этот ящик, и мы, своей веселой декадентской компанией, отправились к Петропавловской крепости пить и гулять. Не стану описывать нашего скотского веселья! Мы наняли лодку, сломали весло, купались в одном исподнем, фраппируя солидную публику, а потом я заснул на берегу, удушенный коричневым коньячным змием. Очнулся я уже в участке, в обществе пьяниц и беглых сибирских бродяг. Уже от одного этого мне стало страшно, и я застучал в окованную сталью дверь. Вопреки моим ожиданиям, меня выпустили из тусклого помещения, привели в кабинет к приставу и стали стыдить, что я, такой известный молодой писатель 1880 года рождения, так себя веду. Я терялся в догадках, не ведая причин этой полицейской любезности, и лишь потом мне стало понятно, что друзья мои уже подняли к тому времени на ноги «весь Петербург» и какое-то видное лицо уже телефонировало в участок, чтобы ко мне отнесли помягче, учитывая мою художественную нерв-

ную натуру. Дело шло к освобождению, воздух свободы уже шумел передо мной, как ветвь, полная плодов и листьев, но мне вдруг пришло на ум порадовать собеседника безвинным и остроумным на мой взгляд анекдотом. Я спросил его, знает ли он, почему чины полиции не могут есть маринованных огурцов? Он сказал, что ему сие неизвестно. Потому что у них голова в банку не проходит, сказал я и тут же был водворен обратно к бродягам, откуда выбрался лишь на следующий день под давлением либеральной общественности, адвокатов, певца Федора Шаляпина и баронессы Будберг... Я вижу, вы пришли к нам из иного мира, накурившись магической травы, так пусть моя история послужит для вас хорошим жизненным уроком и помешает вам совершать в своей жизни необдуманные поступки, а я сделал для себя соответствующие выводы, и мое имя вы еще узнаете в своем будущем...

– Он был столь надменен и мудр, – продолжил рыжебородый, – что мгновенная ненависть охватила меня, и я поспешил вернуться в наш счастливый 1984 год, где услышал от известного советского поэта Евгения Р., что в Союз писателей был недавно принят один человек, которому исполнилось 102 года.

– Может, 104? – с надеждой спросил я, дрожа от непонятого возбуждения и производя в уме вычитание 1880 от 1984.

– Нет, 102, – твердо ответил поэт. – Его первые литературные шаги направлял сам Короленко, в начале 20-х он писал агитационные частушки, затем долгие годы пребывал в безвестности по не зависящим ни от кого обстоятельствам, а теперь его приняли в Союз писателей.

Я, зная, что поэт Евгений Р., известный на всю страну (СССР) своей честностью и бескомпромиссной правдивостью, не сказал за свою жизнь ни единого лживого слова, полностью поверил его убедительному сообщению, но в моей голове все помутилось, я поехал в Калининград, где и решил окончательно убить лебедя Борьку, чтобы дать выход своей трансцендентальной агрессии.

Он, вытерев пот со лба, замолчал. Стояла мертвая тишина. Лишь чайки слабо вскрикивали да ленивые волны перекатывали на мелководье пустую бутылку из-под пива.

– Ну, а вы? – обратился я ко второму разбойнику.

– Что я... – пробурчал он, почесывая лысый череп и массируя синяк под глазом.

Ему явно не хотелось говорить, но, по-видимому, совесть и воспоминания о безоблачном школьном детстве взяли свое, и он тоже заговорил:

– Я сильно смущаюсь и почти не могу. Сам я из народа. Как-то раз я стыдил одну буфетчицу, что она неправильно сдала мне сдачу со стакана портвейна, грозился вызвать ОБХСС и упечь ее куда следует, чтобы всем, кому поручен общественный портвейн, было неповадно злоупотреблять этим доверием. Однако буфетчица полностью признала свою вину и на недоданную сдачу налила мне соответствующее количество напитка, добавив еще и от себя, от своей души 150 грамм в виде штрафа за содеянное. Но я понял, что она хороший и грустный человек, лишь тогда, когда услышал из ее уст один печальный эпизод ее одинокой жизни. Как человек, буфетчица была еще проще, чем я, отчего мне, тщательно избегающему в своей жизни нецензурных слов и отвратительных ситуаций, никак невозможно передать ее слова в виде прямой речи. Однако я надеюсь, что вы поймете и не осудите ее. Женщина служила в театральном буфете одного из маленьких городков на юго-западе Сибири. Театр ее был так себе, не ахти, но в описываемый сезон поста-

вил пьесу Фурдадыкина «Ошибка Катерины», вызывавшую громадный ажиотаж у зрителя, в основном женского пола, который всхлипывал и сморкался в новые платки, слушая гневный монолог героини, направленный против пьянства как тяжелого социального зла, ибо ее муж совершенно спился под влиянием славы хорошего инженера, его поперли со всех работ, он жил в дворницкой, потом одумался, приполз на коленях к Катерине, пошел в коллектив, но... было поздно. Катерина не смогла простить его, потому что он ударил ее по лицу, а коллектив простил, и он снова сел за кульман в углу, трясясь и только теперь с ужасом осознавая, как низко он чуть было не пал. Выходя из театра, зритель много спорил о том, права ли была Катерина, не пустившая мужа обратно, чтоб он не мешал ей правильно воспитывать детей, а также как трактовать слово «ошибка»? Тогда ли она ее совершила, когда вышла замуж за потенциального подлеца или когда не подала в финале руку помощи этому исправившемуся человеку, нет ли тут «вещизма»? Ставил «Ошибку Катерины» пожилой подслеповатый старичок, главный режиссер этого театра, приехавший сюда, в глубокую провинцию, по велению своего горячего сердца не то из Вологды, не то из Керчи. Все в театре были очарованы его изящными манерами, галстуком-бабочкой, австрийскими ботинками и в особенности тем, что он совершенно не пил водки. Пьесу много репетировали, и, если репетиция проходила удачно, старичок шел в буфет, где буфетчица держала для него специально охлажденную бутылочку шампанского. Режиссер выпивал сам и угощал наиболее отличившихся актеров. На этой почве он и сдружился с буфетчицей.

А она была одинока. Первый ее муж работал моряком и убежал со своего судна в Южной Корее. Вдосталь нахлебавшись капиталистических «щей», он конечно же вернулся на Родину и добрая Родина, как мать, великодушно простила его, а жена, как в пьесе, нет. В это время у нее был уже другой муж, которого вскоре тоже посадили за обсчет, обвес и пересортицу. Третий ее муж поехал в Москву учиться на артиста, там и остался, сделал карьеру, служил в Театре на Таганке, а про свою вдову из маленького городка на юго-западе Сибири, от которой видел в жизни одно только хорошее, совершенно забыл, не слал ей ни писем, ни открыток, ни конфет к празднику, бывают же подлецы! И одинокая женщина сильно смутилась, встретив такого изящного старичка, и сердце ее затрепетало, как в пьесе «В ожидании Годо», спектакль по которой подготовила творческая молодежь театра в свободное от основных занятий время и которую запретил сам Козорезов из области, курировавший театр и объяснивший свое решение малой художественностью спектакля, непрофессионализмом и несоответствием его гуманистическому замыслу автора пьесы, служившего секретарем у великого Джойса.

Бедная буфетчица! Поэтому, когда старичок однажды вечером пригласил ее к себе, сказав: «Посмотрите, как я живу», – она тут же согласилась, взяла вина, закусок и отправилась к нему в его роскошную трехкомнатную квартиру, где он проживал без жены, потому что, по слухам, был разведен, и без друзей, потому что боялся прослыть гомосексуалистом, как это случилось с его предшественником на режиссерском посту, что, пожалуй, и соответствовало действительности, хотя и происходило с обоюдного согласия извращенных сторон.

А наша буфетчица, как она сама мне потом призналась, тоже, конечно, была «уже не девочка». Никаких иллюзий относительно их дальнейшей совместной жизни или даже продолжительности календарного срока романа она в свои со-

рок пять лет не имела, но хотя бы на нормальное человеческое отношение могла рассчитывать эта бедная женщина, настоявшаяся до ломоты в костях за буфетной стойкой и желающая только одного – прилечь и отдохнуть, предварительно вкусно покушав и слегка выпив.

Поначалу она ничего не заподозрила. Старичок явно обрадовался, встретив ее, не ожидал, видать, такого успеха, чтоб к нему пришла такая красавица, и, лъстиво изгибаясь, провел ее в гостиную. Буфетчица отметила, что мебель этой комнаты была довольно уютная, хотя и не очень богатая. В углу стояла софа и стереопроектор «Аккорд» за 60 рублей, паркетный пол был тщательно наощен и блистал отсутствием ковра, отчего паркетные дощечки смотрелись особенно красиво. Посреди обширной комнаты стоял покрытый скатертью стол с тарелками, ножами, вилками, хрустальными рюмками и фужерами, но ни выпивки, ни закуски на нем почему-то не было, и буфетчица, догадавшись, вынула свои припасы, отчего стол стал еще краше. Также она обратила внимание на то, что около стола почему-то нет стульев, на которых нужно сидеть, но уже не решилась спросить об этом странноватого хозяина.

Потому что он уже включил по стереопроектору пластинку Чюрлениса «Море». Море недобро шумело, изрыгало желтоватую, как слюна, пену, катало пустую бутылку, обрушило на них свой «девятый вал», как на одноименной картине Айвазовского, которая висела у буфетчицы в буфете. Они выпили немного шампанского и сжевали по ломтику севрюги холодного копчения. Стульев по-прежнему не было. Старичок вдруг подскочил, издал петушиный крик, как Суворов в одноименном спектакле, и бросился на буфетчицу. Она закрыла глаза, но он пролетел мимо нее и надолго заперся в соседней комнате, не издавая ни звука.

Буфетчице стало неловко, и она, желая компенсировать смущение, стала кушать и выпивать в одиночестве, отведала финской колбаски, выпила ликеру и уже принялась было за курочку, как вдруг Чюрленис взревел особенно мощно, на пороге появился старичок, и вдова протерла глаза, раскрыла рот, ибо ничего подобного она не видела за всю свою долгую сознательную жизнь. Старичок, скрестив руки на груди, как Наполеон, стоял в проеме двери практически совершенно не одетый, на роликовых коньках. Прерывающимся от надменности голосом он велел буфетчице таскать его вокруг стола до получения окончательного результата, и только тут растерянная женщина поняла, зачем так тщательно был наощен пол и отсутствовали стулья. Ошалевшая, задыхаясь с непривычки, не имея соответствующей физической и физкультурной подготовки, она таскала его, черта, почти до самого утра. Неугомонный старикашка успокоился лишь тогда, когда стало светать и пропел первый петух. Услышав пение петуха, он тоже завопил и бездыханный упал на софу. Буфетчица тогда тоже прилегла – ведь ей так рано нужно было вставать на работу. Больше они не сказали друг другу ни единого слова, потому что мгновенно заснули. Поцеловав спящего старика, буфетчица утром возвратилась за свою стойку, а к вечеру старого подлеца выгнали с работы за моральное разложение, но не из-за буфетчицы, а вследствие наступившего исполнительного листа на алименты различным бабам, не то из Керчи, не то из Вологды, а может, и из Сыктывкара, Джанкоя, Брежнева или Вятки – страна у нас большая, и всюду живут женщины.

Вот какие бывают нечестные люди, закончила свой рассказ буфетчица, и я, не понимая, что именно она имеет в виду, робко спросил ее об этом, но она, чув-

ствуя свою безнаказанность оттого, что я был уже изрядно пьян, грубо велела мне убираться вон. И теперь я не могу определенно сказать... – «лысый череп» закивал головой, – почему именно после этого мне захотелось удушить лебеда Борьку, но тяга, неодолимая, как влечение, привела меня сюда, где я нашел поделщика, такого же подонка, как я сам. Мы объединились и начали осуществлять задуманное. Мы поймали лебеда Борьку. Мы хотели изжарить его и съесть.

Рыжебородый тоже закивал. Они с надеждой глядели на меня, а я, выдержав значительную паузу, важно изрек:

– Слабо! Слабо, молодые люди! Я гораздо больше вас перенес в жизни много тяжелого и трагического, но не разочаровался в ней, не закружился, как бесцельная щепочка в мутном потоке гордыни, неумных желаний, бессмысленности, патологии, бешенства души, звериной жестокости сердца, всего того зла, которое, как вы ошибочно считаете, неискоренимо, независимо от человека, присуще ему изначально ибо в моем теле еще осталась душа, и оба этих компонента моей личности всегда готовы совершить подвиг в нашей жизни под мирным небом, жизни без войн и глобальных катастроф!

– Ну уж, – усомнились разбойники.

– Не «ну уж», а я только что на ваших глазах совершил героический поступок, связанный с убийством лебеда Борьки, и этот поступок в наше мирное время правомочно приравнять к подвигу, потому что вы могли убить меня или надругаться надо мной.

– Против этого мы не спорим, – согласились бандиты. – Мы только сомневаемся, батя, чего уж ты такого особенного видел в жизни? Врешь ты, поди, все, а коли не врешь, то расскажи, нам это будет интересно послушать, это, несомненно, обогатит нас знаниями и, возможно, послужит нашему дальнейшему исправлению в сторону прекрасности жизни.

– Ну что ж, ваша взяла, – медленно улыбнулся я. – Слушайте, поросята...

И я рассказал им такое, отчего они оба выпучили глаза, со страхом и обожанием глядя на меня и будучи не дееспособными вымолвить ни слова.

– Вот. А теперь давайте мне обоим по червонцу и дуйте куда глаза глядят. Вы не такие уж плохие люди, ступайте и попытайтесь исправиться! – распорядился я, поочередно обняв каждого из них, прижав их, плачущих, к сердцу, сам всплакнув.

– А хотите узнать, что он сказал им? – рассмеялся желтолицый, покачиваясь в узком пространстве тамбура вагона №15 дополнительного поезда №606, следовавшего в 1984 году из Симферополя в столицу нашей Родины Москву. – Но предупреждаю, что вам в этом случае придется раскошелиться. Лично я дал этому неизвестному четвертак. Уж больно любопытно было, что он им мог такого запулить. Но поверьте – секрет стоит таких денег. Я даже предлагаю: вы дадите мне тридцатку, а если, на ваш взгляд, секрет таких денег не стоит, я вам тут же верну эту тридцатку или часть ее, не соответствующую степени важности моего сообщения.

Герой молчал, с невыразимым отвращением глядя на желтолицего. А тот засуетился, сбегал в вагон и стал показывать ему какие-то свои документы, бумажки, из которых ровным счетом ничего не следовало. Проводница стала разносить вкусный грузинский чай, и они с удовольствием выпили по два-три стакана, закусывая хрустящими свежими булочками. А вскоре поезд прибыл на конечную станцию. Пассажиры, сердечно попрощавшись друг с другом, вышли на перрон, чтобы никогда больше не встретиться в этой жизни.

## Марина ТАРАСОВА

\* \* \*

Трещит мороз, как паруса фрегата,  
как струпья льда на теле азиата.  
Ну что, забросил рубаи, Хайям?  
Лапшу рубаешь в сплющенной коробке,  
долбишь кайлом, и каждый нерадивый хам  
воротит нос и согревает горло стопкой.

Как будто мы не гастарбайтеры судьбы,  
не в мутной тине ищем свой улов,  
не стылой родины постылые сыны?  
Так измельчали, хуже муравьев.

Что лучше уж совсем не есть, чем что попало –  
ты говорил, держа в руке с вином пиалу.  
Журчал арык, а может быть, фонтан,  
и в Персию входил Таджикистан.

Твой клоунский оранжевый жилет –  
вот униформа северного цирка,  
твой пропуск в рай. Ты вытащил билет,  
а он к ноге привязанная бирка.

– Где регистрация Хаямов, падла, где?

## Осенняя песнь шамана

У него сургучные веки,  
рысьи глаза реки,  
он стоит по пояс в тумане  
посреди бурятской степи,  
выдувает сухими губами  
музыку и стихи.

Смерть толчет в деревянной ступе  
всем зерно.  
Удуй! Абауй!  
Смерть проживет без жизни,

но не бессмертна жизнь.  
Долго не стой под ветром,  
обмотает вокруг горы,  
ветер накроет тобою  
белое тесто горы.

Лицо у тебя – лепешка  
с темными дырками глаз,  
много на свете запретов,  
но все равно умрешь.  
Удуй! Абауй!

Он стоит, окутан туманом  
среди красных бород костра,  
на груди у него океаны  
и соленой воды мездра.

На груди у него океаны  
с плотами людской плотвы,  
под ногами трепещут барханы,  
могильники рыжей листвы.

Низко прогнулось облако,  
словно монгольский лук.  
Удуй! Абауй!

Бойся улыбки вражьей,  
а не свирепых вьюг.

Точит зубы о камень  
Белый шакал зимы,  
смерть придет за тобою  
и не заплатит тенга.  
Удуй! Абауй!

\* \* \*

Застряла, ошалело жмет на кнопки,  
из лифа лифта рвется взмыленное тело;  
ну, как тут быть воспитанной и кроткой.  
когда свиданье с жизнью пролетело

бесхвостой уткой (раненой зарницей)  
в наморднике на желтом плоском клюве;  
вы скажите – намордники не носят птицы,  
так побывайте в нашем сельском клубе,

там на опушке осень колобродит,  
грибы лежат, как серые подранки;  
вы скажите, что все это поганки,  
противореча правде и природе.

## Комар

Комар, в котором кровь моя и многих,  
боец бесстрашный, маленький насос,  
едва волочит нитяные ноги  
в копилку одряхлевших ос.

Как он летал в крылатой камарилье,  
в гудящих сумерках густых,  
как самолет бедовой эскадрильи,  
и метко целился в живых.

Комар – кошмар прудов и рощ медовых,  
звоночек августа торопит на покой  
в объятья мяты, чтоб очнуться снова  
в своих потомках грешною весной.

\* \* \*

Мы едем с тобою в нирване седана,  
где и послушать мне дымчатый джаз?  
Дрожит сигарета – мундштук саксофона  
в обрывках гортанных мелодий и фраз.

А где мне, а где мне – влюбиться, смириться  
с напором моей неостывшей души?  
Мы в пробке, и площадь – огромная пицца,  
вся в сырных разводах понурых машин.

И мне так уютно в утробе, в циклопе,  
в седане поэта с побитым крылом;  
наш маленький шик – лишь ухмылка Европе,  
мы груда металла, нам скоро на слом.

На миг мы вдвоем воплощаем безбрежность  
небесных шатров и шоссеек ночных.  
Печаль и такая высокая нежность  
в мерцающем вареве струй дождевых.

\* \* \*

*Памяти Виктора Кривулина*

Как сладостно быть Новой и сверх-новой  
Голландией, звездой, мерцающей грядой,  
лагуной, бухтой, непечатым словом,  
столь родственным музыке горловой.

Лодчонки, шлюпки с их зеленым гляncем,  
дубленой кожей, жизнью без прикрас  
плывут неспешно, будто Малые Голландцы  
с поземкой лиц и поволокой глаз.

Так в этот день весны неторопливой,  
среди клыкастой челяди речной,  
и ты плывешь, как парус седогривый  
над тихо каменеющей водой.

\* \* \*

1

С зимой дождливой в полуоборот  
(ему бы зонт, но не положен зверю)  
стоит мой друг, мой сумчатый Енот,  
кого я жду, кому пока что верю.

В бывалой сумке пламенный флакон,  
дешевый сыр и толстая тетрадка.  
Я вижу – нажимает домофон  
промокшей лапой в замшевой перчатке.

Зверь, пишуший стихи – вот это бренд!  
Но к нам л е т и т корабль инопланетный.  
Кто знает, может, Пятый Элемент –  
в броне и щупальцах поэты.

Бог любит всех, наглядно, без затей,  
всех наделяет первозданной силой,  
и птиц, и скучных дождевых червей,  
безмолвных, никому не милых,

и если кто-то моего дружка  
несправедливо назовет вонючкой,  
расправа с ними будет коротка,  
достанется врунам и недоучкам.

8.06.2013



Владимир СЕРГИЕНКО

## Везде война

– Сына, не подходи к окну! – всегда, когда мама нервничала, она называла меня «сына».

– Мам, ты чего?

– Не подходи, сказала! – она не была строга или раздражена. Она была взволнована. Моя Мама вдруг отдавала приказы и удивлялась, почему я такой недотёпа. Сама же дальше, невзначай эдак, одновременно глядя вниз и наклонив голову слегка вбок, чтоб не бросалось в глаза её явное внимание, продолжала колдовать возле плиты. Как будто затылком подглядывая за моими передвижениями.

– Мама, что случилось? Я хочу знать: гороскоп у нас неправильный, снайпер в доме напротив засел, ты поспорила с кем-то? Я хочу знать, что случилось.

Это ж надо, приехать издалека, пересечь две границы и столкнуться вот с этим «не подходи к окну».

– Ну ладно, не подхожу. Мама, ты только скажи, что происходит. У тебя враги?

Мама в сердцах бросила поварёшку в кастрюлю и застыла. Я подошел, обнял эти родные плечи и снова спросил:

– Мама, что случилось?

– Дворничиха приходила.

– И что? – я свел вопросительно брови.

– Да ничего... Ничего, сын. Дворничиха приходила, – выдохнула Мама. Она повернулась ко мне, ладонями разгладила мои брови и устало продолжила: – Дворничиха приходила, повестку приносила.

– Что?

– Тебе повестка пришла в армию, – сказала и опустила виновато глаза.

– Мама, какая повестка? Ты о чём? Кому?

– Тебе, сына, тебе... в армию... под стеклом на столе у тебя в комнате.

Я не живу в этой стране 25 лет. Да, корни здесь. Отсюда я черпаю силу. Но дерево жизни моей уже давно в другом месте. И там я плодоношу. Не здесь. И вообще я уехал из другой страны. Из той, которая была Родина. Та, которую не выбирают. Хорошая, плохая, но Родина. А сегодня это уже другая страна. Которая не смогла стать ничем. Просто паспорт, по праву преемственности выдала эта страна, просто друзья молодости да родственники притягивают на большие семейные торжества. И вдруг на тебе, повестка.

Мама вернулась к кастрюле. Я пошел за повесткой. Какая прелесть, меня призывают в армию. Круто. И действительно повестка, действительно мне. Немного озадаченный таким «радостным событием», я лег на софу, уставившись не в потолок, как обычно, а в повестку. Не, ну нормально? Я и в армию. Они что, с ума сошли? Мне уже 50! И мысли унесли в прошлое.

Это было давно. Очень давно. Рыжий противный сосед работал в дурдоме санитаром. Он вечно орал на всех у себя дома, а выходя, вежливо улыбался соседям. Он и предложил мне в рассрочку приобрести «отмазку» от армии в виде статьи 8-а, в психоневрологическом диспансере. Не помню точно, что это был за диагноз. Вроде неврастеническая депрессия или депрессивная неврастения. Цена 300 сребреников, 25 рублей в месяц в течение года. Деньги немалые. Наша улица, из небольших польских особняков, заселенных пролетариатом после присоединения западной Украины, состояла из двух польских семей, одной еврейской, нашей смешанной русско-украинской, местных и переселенных с Востока украинцев. Местные украинцы жили через стенку. Когда они пробовали говорить на русском, был слышен удивительный акцент. Что-то среднее, между польским и каким-нибудь из прибалтийских. Они смущались, если не понимали, что говорили им. И в основном общались с поляками. Не местные украинцы, попавшие из Сибири, центральной или восточной Украины, не понимали польского, говорили свободно на русском, пили много, часто и, главное, весело самогон. И тут вдруг все сверстники с которыми то в елках прятались, то в пекарня резались, бросая палки по консервным банкам, стали усиленно готовиться к Афганистану. Турник, пробежка, легкий бокс. Не курили, отжимались целыми днями. А мама сказала отцу, что это не наша война. Сказать-то сказала, а тут вдруг оказалось, что придется идти. «Что значит придется? Ты отец или дурак?» Я очень хорошо помню этот скандал полушепотом на кухне. И как отец отчитывался о проделанной работе, пробуя найти знакомых в военкомате, чтоб договориться о месте службе. И тут подвернулся сосед. Сосед заговорил со мной эдак просто, идя по дороге. Просто взял и сделал предложение, от которого тяжело было отказаться. Особенно подкупило предложение рассрочки. Где-то в душе я еще мечтал о голубом берете. Но умом понимал, что лучше ускользнуть от армии. Потому что другой сосед очень удачно занимался джинсовым бизнесом. Какие-то полууголовные элементы привозили пуговицы-кнопки и кожаные прямоугольники, которые он нашивал на пошитые где-то в конце улицы, то ли у поляков, то ли у евреев, в подпольном цеху брюки. Брюки-джинсы. Сейчас это называется репликат. А тогда это был, наверное, единственный цех в городе, производивший джинсы „Levis“.

– Сына, тут разговоры ходят, что можно откупиться. Дороговато, но можно, – вырвала меня мама из прошлого и продолжила, снова отведя взгляд, – или ты по-другому думаешь?

О небо! Будь моим свидетелем. Я не хотел об этом говорить. Не хотел об этом говорить не только с мамой, но и со всеми, с кем я оказался по разные стороны восприятия жизни и исторической правды.

– Мамуля, это не моя война! Понимаешь, не моя война! Я не могу воевать за их правду! Я не могу воевать за другую правду! Это не моя война!

– Понимаю, – как-то обрадованно сказала мама и оживилась.

– Мамуля, родная! Не переживай, у меня белый билет еще с тех далёких времён. Это какая-то ошибка или недоразумение. Не переживай. И не буду я прятаться от дворничихи. Не буду! Ну, в крайнем случае откупимся.

– Сына, а ты вообще, что думаешь об этой войне? – оживление мамы усилилось. Её выдавали ее руки. О мамыны руки! Они всегда ее предавали. Она теребила краешек фартука.

– Мама, я не хочу о ней думать. Не хочу. – «Не-хо-чу» – произнёс я по слогам. - Потому что я не хочу знать, что ты об этой войне думаешь. Потому что, не дай Бог, мы думаем по-разному. Мамуля, ты мне лучше скажи. Я смутно помню – вы с бабушкой вспоминали, как вы листовки проносили. Когда на тебя намотали листовки, было холодно. Мост. Мне, правда, смутно помнится тот рассказ. Смутно, как ты с температурой. Какой-то румын. Потом немец. Потом какой-то подвал, – я помогал себе в воздухе, рисуя само понятие «смутно» дирижерскими движениями рук.

Мама рассмеялась.

– Смотри какой. Помнишь. Бабушкина сестра приезжала. И мы не очень-то вспоминали листовки. Мы вспоминали, как пришёл румын и забрал курицу. А мама и тетя, твои бабушки, его упрашивали, умоляли не забирать несущку. А он забрал. А у меня температура, и все думали, что я не выживу. Потом пришел немец, тоже за провиантом, увидел, что я в горячке, ушел и принёс лекарства. Потом долго сидел, грелся и смотрел на меня. Когда уходил, достал фотографию, ткнул пальцем в меня и показал на снимке девочку примерно тех же лет.

– А листовки?

– Ну а листовки, сына, эта история действительно смутная. Дня через три, как температура спала, поехали к врачу. Твоя бабушка настаивала всю жизнь, что бумагой меня обмотали, чтоб теплей было. А когда тогда вспоминали, тут тётя и выдала, мол, не надо «ля-ля». Не утепляли меня после болезни, а обмотали листовками. Дождались, пока в караул заступит немец, который лекарство приносил. Ну и пошли. Всех досматривали, прощупывали, а меня немец по щеке погладил, и носовой платок в руку сунул. Знаешь, как погладил?

Мама протянула ко мне сжатый кулак. В последний момент, приоткрыв наполовину ладонь, тыльной стороной пальцев погладила. Эдаким специфическим движением вверх-вниз. Вверх-вниз. Она улыбнулась чему-то. И провела рукой по моему лицу, привычным мне, да и ей движением. Просто ладошкой. От виска к подбородку. Я вздохнул – мама улыбнулась. Мама укрыла меня пледом, натянув его на самый нос, и снова улыбнулась.

– Я пошла, борщ доварю. Спи!

Вечером, за ужином разговор продолжился и таки перетёк на актуальные события.

– ...когда Родина в опасности и в опасности популяция человечества, потому что зверь идет. Здесь все методы хороши. Здесь инстинкты другого порядка, сын. Вот и войны разные. Когда в опасности только Родина – это одна война, а когда зверь идет – это другая война. Ты не забывай, что это настоящий фашизм был. Когда зверь на Родину, да еще и фашист – можно и ребенка в листовки закутать.

– Мама, а ты бы смогла меня закутать?

– Ты провокатор!

– Мама, ты могла бы меня закутать?

– Ты провокатор, – повторила мама, уже совершенно серьезным голосом.

– Мам, я бы своих детей не закутал в листовки. Я бы не втягивал детей во взрослые игры. Как можно, мам, под угрозу ставить жизнь ребенка? Мам! Взрослые сами делают свой выбор – с кем и по какую сторону что делать. Но ребёнок не может выбирать.

– Знаешь, умник, давай ешь борщ. Это вы сейчас не знаете, где выбор, а где нет выбора. Приказ дали – иди вой. Тогда откупиться никто не мог. Ни немец, ни твой дед. Оба верили тем, кто приказы давал. А вы теперь никому не верите или верите, но только вера у вас другая. Вы не опасность от людей уводите, а торгуетесь своей войной. Вот и вопрос у тебя, могла бы я или не могла бы я. Ты просто не знаешь, как это, когда Родина это и есть ты сам и дети твои.

Я решил, что лучше помолчать. Но маму было не остановить.

– Дураки вы! Посмотри, сколько войн сейчас. Партизан развелось – больше, чем надо. Теперь это у вас называются террористы. Вот вы завоюете, когда они начнут рассуждать, можно ли ребёнка обматывать листовками. Только у вас это не листовки будут, это будет хуже!

– Мам, ты о чём? Ты о ком? У кого это у нас? – возмутился я. – Что хуже будет?

– О чём? Ну да о чём. Я о том, что нечего друг с другом воевать. Память – это боль! Боль – это память! Вы друг другу память одну вышибаете, другую вставляете. Вы не с фашизмом воюете и не со зверем. Вы друг с другом воюете и зверями становитесь.

– Мам, я ни с кем не воюю! Мам, ты чего разошлась! Поверь! – мы наших детей обматывать листовками или гранатами не будем. Ну что за глупости.

Мама засуетилась по вдруг налетевшим на неё квартирным делам. Сталаправлять скатерть, собирая в ладошку невидимые крошки. Вскочила, пошла, переставила кастрюли у плиты. Вернулась в комнату, переставила графин с водой в центр стола.

– Сына! Когда ты знаешь, что погибнут все твои друзья, тетки и бабки с дедами, ты по-другому к жизни относишься. Ты думать начинаешь, что ещё можно успеть сделать. Ты на жизнь детей смотришь по-другому. Если своих не успеешь спасти – спасать будешь чужих. Только не дай бог, чтоб тебе это пришлось пережить. И ты прав, не твоя это война. Но если вдруг надумаешь идти – иди. И вой так, чтоб никому не пришлось листовки на твоих детей наматывать. И моли Бога, чтоб война не задела твой дом, твою семью. Ты не понимаешь, что война везде! Её только не все видят!

Мама села на стул и расплакалась.

– Понимаешь, вы забрали у нас право на смерть со спокойной душой, что войны больше не будет. В телевизоре война, у соседей война, в небе война, на земле война, даже в церкви тоже война! Русские – украинцы – война. Арабы – война. Мне страшно умирать, сына! – мама больше не плакала. Она сидела, старенькая, очень хрупкая и беззащитная. Ее руки успокоились и лежали на коленях. Самая главная женщина в моей жизни в этот момент была моей Родиной. У меня навернулись слезы. Слезы бессилия и горечи.

– Мама, – шептал я, глядя ее седую голову, – мамочка, мамуля...

И только одна мысль сверлила мозг: «Какие мы все дураки!»

**Р. С.** Через три дня в аэропорту я встал в очередь на контрольный досмотр силами авиабезопасности. Передо мной была молодая семья. Мужчина, женщина и девочка годика три-четыре. Ребенок сильно хандрил, скандалил, срывался на плач. Женщина никак не могла сосредоточиться на том, что говорила сотрудница аэропорта. Она неотрывно тянула к малышке руки. Дитя бегало вокруг мужчины.

Сотрудница безопасности пробовала, водя руками по фигуре, прощупать одежду прошедшей через металлодетекторную раму женщины. Наконец женщина прошла контроль. Девочка побежала за женщиной. Сотрудница безопасности с улыбкой обратилась к малышке, предлагая расставить руки в стороны. Ребёнок заорал благим матом и побежал к маме. На помощь сотруднице бросился рьяный коллега. Он заблокировал дочь и маму. Мама девочки чуть не потеряла равновесие. Папа рванул на помощь. Запищала рамка металлодетектора. Отец девочки, очень агрессивно, обратился к сотруднице аэропорта, чтоб та перестала мучить дочь. Ребёнок орал во всё своё детское горло. Сотрудница попросила отца взять девочку на руки. Мужчина поднял плачущий комочек. Девочка орала и изо всех сил вырывалась. Мама крошки смотрела на всё это, схватившись за голову, с застывшим ужасом в глазах. «Передайте ребёнка матери и пройдите еще раз через рамку», – обратилась сотрудница к мужчине. Наконец мужчина воссоединился с семьей. Они втроём обнялись и пошли вглубь отлетного зала. Сотрудница безопасности, резко выдохнула и обратилась ко мне: «Вы знаете, мы никому не верим. Время такое!»

*Берлин-Львов-Москва-Берлин 2015–2016*



Вячеслав КАРПЕНКО

## Память моя шелестит осенними листьями...



Память... Что человек без неё? – осенний жухлый лист, несомый первым ветром незнамо куда... Память же подобна жёлудю, прорастающему корнями из прошлого и поднимающемуся к будущей кроне, под которой продолжается жизнь.

Память сохраняет нам лица, голоса, слова людей, встреча с которыми порой способна изменить жизнь, масштабнее увидеть и ощутить мир и – себя в нём. И эта встреченность, как и память о ней, помогает нам обрести понимание своего пути, наконец, просто выживать в нашем непростом мире, не изменяя себе и не принося неуютя окружающим и природе. И вовсе неважно, на какой тропе встретишь ты человека, дарящего тебе свой опыт, своё понимание места под луной или просто – навык выживания. Откровенно говоря, мне везло на встречи с красивыми людьми, где бы это ни происходило: с таёжником, научившим в любую погоду разжечь костёр и не забыть оставить дрова в охотничьей избушке, со старым табунщиком, открывающим мне душу коня... И конечно же повезло на встречи с людьми, чей талант не только профессиональный, но, если позволительно так обозначить, ещё и талант душевный подарил мне незабываемые мгновения – а наша жизнь и есть всего лишь промельк в бесконечности времени – мгновения красоты мысли и чувства... Большой талант всегда щедр на раздачу себя, ибо он и дарован тому, кто способен безоглядно делиться этим даром. И ещё мне везло на встречи с гениальными, след от пребывания которых в нашем бренном мире не сотрёт и время. А человеческое обаяние и простота общения делают таких людей близкими, заставляя и свою жизнь поверять их мерею.

И прежде всего мне повезло на встречу с Олжасом Сулейменовым, вот уже почти полвека дарящего мне свою дружбу и свой гений Поэта.

И я рад, что в свои, ныне исполняющиеся 80 лет, которые отмечает весь Казахстан, Олжеке по-прежнему играет в волейбол

А мне вспоминается ночь июня 1970-го, четвёртый час – ещё ночи, уже утра? – в Алма-Ате, когда раздался звонок и стук в дверь моей квартиры на пятом этаже... И приветственно-вопросительный лай моего дога Балта, потому что в дверях, всегда самооткрывающихся, стоял наш друг Олжас Сулейменов, а за ним... да-да: Андрей Вознесенский и Тania Лаврова из «Современника», театр давал гастроли в городе... Не узнать их было нельзя, но и узнавать без шока было сложно: такие они были... растерзанные, что ли, – у Андрея прямо на глазах вырастала на голове («кумпол менестрельский») огромная шишка, у Татьяны синяком заплывал глаз («мне ведь играть вечером!..»). «Там во дворе машина... помоги поставить», – говорит мне Олжас, глядя пса, хлётко бьющего хвостом. – «Водка есть?..». Водка

была, слава Аллаху и случайности. А во дворе грузовик швартовал качественно помятую «Волгу», дважды проделавшую «мёртвую петлю» на пути из аэропорта, где Сулейменов встречал Вознесенского. И в республиканской газете уже набирались поэтам и артистам некрологи, сведения для которых донёс журналистам услужливый «узун кулак» («длинное ухо»).

А мы пили холодный арак, закусывая языками из бараньих голов, сваренных для Балта, и гости, преодолевая запоздавшие «Испуги, с пупырышками и в пухе», уже шутили о долгой жизни... Небо уберегло всех, оставив пространство и время для шуток и стихов, для Любви. Впрочем, об этой истории можно прочитать целую балладу, написанную Андреем Вознесенским сразу по следам «ДТП» – «В замедленном дубле. Посвящается АТЕ-37-70...» (Номер был именно такой, словно специально придуманный для символики, хотя год Олжаса – 36).

...Враги наши купят свечку.  
Враги наши купят свечку  
И вставят её в зоб себе!  
Мы живы, Олжас. Мы вечно  
Будем в седле!

Так и будет, ибо Слово Поэта, разбудивающего Самосознание человека и Совесть его, непреходяще.

\* \* \*

...А пёс мой, дог-арлекин, с юности мог терпеливо сидеть в машине все двести пятьдесят километров, перебарывая тошноту бензиновых паров и не ревнуя к случайным попутчицам, когда мы с другом, обуреваемые тщеславием и жаждою новых ощущений, везли его в соседнюю республику, тогда ещё во Фрунзе, нынешний Бишкек, на выставку. Неслись сломя голову внезапно среди ночи, само собой, придумав для отговорок и оправдания необходимость «деловых» встреч.

Балт любил моего друга, потому что тот был крупным поэтом с добрым и поставленным голосом, и поэт мог броситься на четвереньки в игре с Балтом. И еще потому любил, что поэт был хорошим шофером и умел вести машину, даже если пес укладывал свою большую голову ему на плечо, а при этом поэт ещё читал стихи о пустыне и женщине, и смеялся, смеялся. Дог не был гаишником и не лишал поэта прав, зато радовался свистящему ветру скорости в открытом окне. Да, в те времена люди ждали стихов и слушали поэтов на площадях и стадионах, и вспоминали о понятиях достоинства и чести.

Балт понимал, что поэты должны быть веселыми и в грусти, однако, откуда мог он знать, что даже поэты взростеют и становятся министрами, и это совсем невеселое занятие для поэтов и вовсе гиблое – для поэзии. Знать это мог разве что чугунный Мефистофель на письменном столе, но он многое знал молча, ёжась от сквозняков под своим старым плащом. К этому времени Балта уже не было, и вьюга в который раз заметала старую веселую дорогу...

Мы мчались по той дороге в другой город на выставку словно в будущее, нам с другом и легкими попутчицами было беспечно, как и должно быть в молодости – нас ждали ещё друзья-киношники, и уже скворчали шашлыки к вину, которое старательно и бережно Балт приносил в сетке-«авоське», удивляя незнакомые улицы. Его, голубоглазого пса, там ничего не ждало, кроме жары на площадке выставки.

Больше того, его заставили плестись в конце вереницы собак, осудив его «нестандартный» окрас. И он мог позволить себе высокогордо держать голову, потому что всё равно осуждение не могло зачеркнуть ни красоты, ни мощи его. Да и на соревнованиях по службе медаль он взял из первых — уж работать-то умел не по-комнатному и любил работать, а это вполне удовлетворило наше тщеславие и оправдало случайную поездку.

И как весело мы возвращались по чужому ночному городу назад, домой, как резко тормозили мы, увидев одиноко всхлипывающего мальчугана, и успокаивали его, и разыскивали интернат, из которого мальчишка сбежал в тоске по родителям; как пели мальчишке и знакомили с ласковым псом-громадиной, и дарили мальчишке что попадало под руки — ведь не может же поэт оставаться веселым, когда кто-то плачет в ночном спящем городе... Позже эта поездка тоже пригодилась Балту — наверное, тогда он научился отличать справедливость от льстивой похвалы, за которой скрывается неприязнь или корысть. Впрочем, и это умение не уберегло ни его, ни меня, ни поэта от излишней доверчивости, и, слава богу, никто из нас никогда не жалел об этом... И, уверен, Балт порадовался бы доброй памяти, услышав, как поэт, спустя много-много лет приехав из Парижа, на своём многолюдном юбилее вспоминал, смеясь и грустя, об этой поездке через ночь с голубоглазым псом...

*Из рассказа «Там, за морозным окном» (Посвящён ОС., 1986 г.)*

\* \* \*

...И другое раннее утро семьдесят восьмого года отмечено в памяти хрустальным солнечным восходом. Начало сентября, ночь уже остывает под мягким ветром с гор, а мы с моим рыжим дончаком третьи сутки добираемся через перевал в Алма-Ату с кордона на горной речке Женишке. Нет со мной моего верного Балта, которого похоронил в горах. Ночи я провожу в попутных стогах сена, которые объедает конь, а с рассветом он со вздохом принимает меня в седло. Егерская служба закончилась, первая книга, написанная на кордоне по настоянию Максима Зверева и рекомендованная Олжеке «Жалыну», уже лежит в издательстве. И я ещё не знаю, как сложится городская жизнь после пятилетней вольности в горах...

Но вот и окраина города, ещё укрытого сонной пеленой рассветной дымки, подковы коня гулко цокают по безлюдным улицам Татарки. Это нынче не протолкнуться из-за обилия припаркованных к тротуарам машин, тогда же мы не торопясь и без помех направлялись в центр. С дороги хотелось выпить горячего чая, а может и чего покрепче, свежей лепёшки с добрым куском мяса или сыра... Коню хорошо — в торбе для него есть овёс, но я знаю, где найдётся завтрак и для меня. Чего греха таить — каждому в какой-то момент присуща доля форса, желания удивить некоей «особостью», и я вовсе не исключение. В общем, направляю коня к зданию Союза писателей, где в «Каламгере», литературном кафе у Ромкеш можно будет и поесть, и дождаться друзей, позвонив из автомата или от неё же. Редкие ещё прохожие с удивлением оглядываются и провожают повеселевшим взглядом статного коня и верхового в военной панаме и угловатом брезентовом плаще. Утреннее впечатление для кого-то останется картинкой на весь день...

Я привязываю коня к водосточной трубе, вешаю ему торбу с зерном, расслабляю подпругу и перекидываю тяжёлый плащ через седло.

За этим занятием и застаёт меня Олжеке, зачем-то так рано приехавший в Союз.

Он не может скрыть удивления, но и улыбка уже плывёт в глазах: «Ты бы ещё айгыра своего к моей «Волге» привязал!» – говорит он вместо приветствия. Но какой степняк не порадуется красивому коню, а мой Рэд высоконог и гордоголов, чистый дончак! И мы с поэтом, привычно потрепавшим холку коня, поднимаемся на второй этаж, где хозяйка кафе уже неторопливо готовит что-то за стойкой и улыбается навстречу. Ромкеш трудно чем-то удивить, даже столь ранним посещением! И желанный глоток коньяка делает встречу с другом и городом ещё радостней...

\* \* \*

...У меня за окном сейчас слякотно и серо, несмотря на близкое Крещение. Балтика!.. А память, словно дразня, разбуживает яркий и горячий алмаатинский день в июле. Мы втроём, изрядно весёлые и довольные жизнью и собой, только что покинули «Калам» и медленно спускаемся по Коммунистическому, ныне Толеби, проспекту. Справа от меня Инна Потахина громко читает стихи, быть может и только что рождённые. Слева Кайрат Бакбергенов вдруг громко хохочет, вспомнив к случаю знаменитое четверостишие Лиды Степановой, ставшее народным:

Течёт в Киргизии река  
По имени Талас...  
Течёт она издалека  
И вся впадает – в нас!..\*

У кого-то в руках ещё тёплая лепёшка, от которой каждый отламывает себе кусок на зуб. Идём не торопясь, «без руля и без ветрил», просто наслаждаясь дружеским теплом, вкусом лепёшки и жизни, улыбающимися навстречу лицами красивых и разных встречных. Зачем-то останавливаемся у здания министерства (или комитета, теперь уже и не помнится) кинематографии и вспоминаем Олжеке.

И надо же – вот и он, собственной персоной выходит из дверей своего в то время министерства. Красивый, в элегантном костюме и... при галстуке. Это в такой-то горячий и весёлый день! Видимо, по каким-то важным государственным делам. Мы дружно поднимаем в приветствии руки, потому что рты заняты душистым ломтем и смехом.

Омарыч кивает нам с высоты своего галстука, открывает дверцу и на мгновение задерживается прежде чем сесть в машину. В глазах его мелькает и понимание нашего состояния блаженства, и готовность его разделить и – да, да – тоска от невозможности, как бывало, опустить горячие ноги в журчащий прохладный арык...

Он хлопает дверцей и уезжает по необходимым всем нам делам.

А мы продолжаем свой беспечный день, и Инна, у которой блестящая память и на чужие хорошие стихи, громко декламирует, по тому времени очень даже вольное:

Поэт красивым должен быть, как Бог.  
Кто видел бога? Тот, кто видел Пушкина...  
.....  
.....  
...он отомстил по-божески:

умолк он,

\* «Талас» – было такое дешёвое «народное» вино типа «Солнцедар» или «Агдам»

умолк и всё. А пуля та летит.  
Мишеней было много по России...

.....  
.....  
Толпа хранит хорошие слова,  
чтобы прочесть их с чувством над могилой.  
А он стоит, угрюмый и сутулый,  
цилиндр сняв, разглядывает нас.

А мы бредём дальше, доедаем свою лепёшку и рассуждаем, что поэт должен быть ещё и независим не только в творчестве, но и от времени...

Конечно же «Каламгер» – пьянящий ностальгией клуб в Союзе писателей просится в эпическую поэму. Открытый, опять же, заботами Олжаса Сулейменова на встречу Международной конференции писателей стран Азии и Африки, это кафе стало центром и душой творческого люда тогдашней Алма-Аты. Поэты и журналисты, фотографы, художники и музыканты прилюдно и ежевечерне отмечали здесь выход книги или статьи, топили в вине неудачи творческие и любовные, здесь влюблялись и выясняли отношения до потери зубов, чтобы назавтра обняться и дальше жить в спорах о мироздании и собственном месте в нём...

Вспоминаю, будто перелистываю страницы окаменелой книги, в которых впечатаны тени дорогих и незабвенных людей.

Вообще Алма-Ата наполнена великими теньями, громкими и чуть шелестящими, переступать через которые, по давнему языческому закону, грешно. Здесь преподавал сосланный, а потом расстрелянный по доносу теоретик мировой кооперации Александр Чаянов, снимал «Ивана Грозного» Эйзенштейн, ставил свои фильмы Пудовкин, по улицам ходил в невероятных костюмах гениальный художник Сергей Калмыков, отсюда трижды уходил «на зону» Юрий Домбровский, автор «Хранителя древности» и «Факультета ненужных вещей»... многих знала, а порой и спасала эта земля. И оставляла в себе, да...

И вот помнить необходимо, ибо это давнее дыхание творцов создаёт и ныне единственную, нигде неповторимую ауру «Города Снов» (по точному выражению Владимира Луговского).

Здесь, в этом небольшом и тёплом клубе рождались смелые мысли и брачные союзы, отсюда провожали в последнюю невозвратную дорогу друзей. И мне никогда не забыть трагедию Василия Бернадского, ушедшего вслед за погибшим сыном... Как и ранние неожиданные проводы Володи Безелюка, тонкого художника и затаённого мыслителя, дневник которого с мыслями и предчувствиями, увы, где-то затерялся. А мы провожали Володю, который, при таланте, городской известности и общей нежности к нему, не был членом никакого Союза, именно отсюда с доброй помощью Олжеке и его словами о необходимости слышать друг друга... пока не поздно.

★ ★ ★

...В этом совхозном саду ещё сохранялся знаменитый алма-атинский апорт.

Удивительным феноменом было это яблоко! Завезённые воронежскими крестьянами саженцы именно здесь, в предгорьях Заилийского Алатау, обрели настоящую родину. Эти огромные – именно «гигантские», почти с голову младенца

– красно-жёлтые яблоки, до сих пор вспоминаются вспышкой восторга моего послевоенного детства. Кто-то из родственников или друзей моего дяди-Шуры Мамаева, буденовца и начальника небольшого конезавода на Урале, прислал большой ящик с урюком и другими сухофруктами. И было в этом ящике всего два яблока. Но какие! – яблоневым ароматом залило весь дядькин коттедж, одно яблоко мы трое, две девчонки и я, осилили только к вечеру. А второе, оставленное «на потом», ещё несколько дней выбивало сладкую слюну, пьянящим запахом сказочного юга, стоило только войти в дом...

А совхоз так и назывался – «Горный гигант». И директор Демченко ему соответствовал: крупный мужик, казахстанский хохол с умелыми крестьянскими руками, лукаво-добродушный, но и жёсткий к делам. Как все талантливые люди, в чём бы талант не проявлялся, он был восприимчив к поэзии. Но под корень и навсегда Демченко был сражён и очарован стихами Олжаса Сулейменова. Да и по-человечески любил поэта и дружил надёжно. Вот он-то и подарил Союзу кинематографистов, который в то время возглавлял Олжеке, дом в саду над Алма-Атой в роще чудо-апорта. Гостевой дом, должный принимать хороших и творческих друзей.

Я в это время работал над книгой, и к тому же в очередной раз оказался свободным от семейных уз. И напросился в сторожа этого тихого дома, в котором уже шёл основательный ремонт. Как обычно, оставив скарб, перевёз библиотеку, случайного молодого доbermanа и пишущую машинку.

Дом был поставлен со всем размахом казахского гостеприимства. Не показного, но душевного хлебосольства, как это испокон принято в степи и горах, если ты приходишь с открытой ладонью и добрыми мыслями. Несколько уютных комнат, кухня и туалет с душем, но главное – большой зал с камином и пианино, где мог быть накрыт обильный достархан. И конечно же рядом с домом стояла традиционная белая юрта, в которой за приземистым столом можно было отведать бешбармак, а румяные баурсаки сами катились в рот. Да ещё и послушать старинный кюй о Биржане и Саре...

Впрочем гости здесь были редки, и я спокойно стучал на машинке ночами, а днём в удовольствие возился на нескольких грядках, чтобы всегда под рукой была зелень и прочие морковка с хреном и помидорами на закуску.

В тот год (1982-й?) в Алма-Ате давал гастроли МХАТ, и популярные артисты театра Олега Ефремова собирали полные залы театра и восторженную толпу у служебного входа. Популярность хотя и желанна, но это нелёгкая ноша. И обладателю такой популярности порой необходима простая дружеская атмосфера, ненавязчивое тепло общения или молчания. Выпить, наконец, бокал хорошего вина и расслабиться, не опасаясь «дурного глаза» и навязчивой приторности лестии...

Естественно, что Олжас Сулейменов пригласил Олега Ефремова и артистов труппы. Тем более, что здесь были знаменитые актёры, которых страна знала по лучшим фильмам. А во время этих гастролей театра прошли встречи в Доме кино.

...Недавно я вновь посмотрел в интернете выступление Сулейменова на конференции, посвящённой 40-летию выхода книги «АзИя». Как всё-таки много дано природой этому человеку: к поэтическому гению и логике учёного весомо добавлено ораторское искусство – Олжас Сулейменов может часы удерживать внима-

ние слушателей, вовремя перемежая напряжение мысли шуткой или лирическим отступлением. Он не читает заранее написанное, ему есть о чём говорить просто и объёмно... Мне нет нужды льстить или комплиментарничать – и живу далеко, и независим.

Впрочем и здесь прав поэт, историк и политик, каких бы «собак» на него ни вешали записные «патриоты»: полной независимости не может быть ни у народа, ни у государства, ни у отдельного человека – все мы взаимозависимы на этой планете, зависимы от слова сказанного или умолченного, от деяния даже за тысячи вёрст или – не-делания... И это осознание взаимной причинности и со-причастности есть основа жизни и условие будущности. Кроме разговора об истории, о необходимости планетарного гуманитарного осознания развития цивилизации, поэт сетовал на утрату, даже подверженному ныне остракизму понятий «интернационализм», «дружба народов»... Ибо не войнами и не антагонизмом продолжается жизнь.

Может быть потому ещё ярче вспомнилась мне эта встреча в августовском яблоневом саду. Цвет русской сцены и экрана, они вовсе не играли в «звёздность». Это сегодня так легко раздаются титулы «великих и гениальных» средней руки эстрадникам и записным юмористам, пошловатым смехом питающих дурной вкус.

Ибо настоящее искусство, как и книга, не выравнивает извилины мозга до восприятия щекотки, но питает душу и мысль желанием поднять взгляд к небу, осознать себя в этом бесконечном пространстве и опыт человеческих деяний.

Стол уже был накрыт, аромат шашлыка, настоящих уйгурских мант и горячего бешбармака растекался по гостиной, когда вместе с Олегом Ефремовым приехали Иннокентий Смоктуновский, Анастасия Вертинская, Ия Саввина, Станислав Любшин... И ещё – работники театра, без которых не живёт спектакль, художники, костюмеры, гримёры... Право, это была единая семья, славно поработавшая и вот теперь с хорошим аппетитом присевшая за ужином.

Конечно же Олжас Омарович был рачительным и хлебосольным хозяином. И дело ведь не только в винах и закусках, скворчащем мясе и алых срезах помидоров, пенящемся кумысе и тонкой нарезке бастурмы. Для каждого он находит своё слово приветя, памяти удачно сыгранной роли. «Вот не знаю, как быть с Карпом, – представляет он меня Ефремову. – С одной стороны он здесь дом охраняет, лук-укроп выращивает на огороде, но при этом ещё писатель и друг!». И мы чокаемся бокалами.

Естественно, что Олжаса просят почитать стихи, здесь все знают цену поэзии. И Олжеке не чинится, поблескивая взглядом на красавиц:

Ах, какая женщина,  
Руки раскидав,  
Спит под пыльной яблоней.  
Чуть журчит вода.  
В клевере помятом сытый шмель гудит,  
Солнечные пятна бродят по груди...

И лёгкий сквозняк, будто аккомпанируя, приносит в гостиную из сада сладкий яблоневый аромат. А гости уже расслабились, разошлись группами, в камине потрескивает саксаул, перебарывая своим терпким ароматом садовые запахи.

Мы с Иечкой Саввиной пристроились с бокалами рядом, она единственная, с кем был знаком прежде, ещё с Московского кинофестиваля шестьдесят девятого года. Только вот чувствовалось, что она устала. Прежде Ия играла Нину Заречную в «Чайке», но здесь она была Полиной Андреевной. Стоило мне заговорить о Ефремове, как она так многоэтажно далеко послала и его и меня, что этому позавидовал бы самый поднаторевший боцман. Просто я попал под горячую руку: Олег развёлся с женой, которая была её подругой. Впрочем, допив коньяк, она извинилась: «Иди лучше станцуй с Ниной» – Заречную в МХАТе играла Вертинская.

Вот кто-то присаживается за фортепьяно. И я вальсирую с Анастасией, она смеётся и очень деликатно исправляет мой неловкий сбой. А я рассказываю о волчице с выводком в логове недалеко от кордона, что, как и её волк, не тронули ни одного ягнёнка из пасущейся рядом отары. И чабан знал об этих соседях, но был спокоен и просил меня их не обижать. И осенью волки ушли... А краем уха слышу, как Олжас со смехом роняет Ефремову: «Смотри, как бы Настя не осталась в Алма-Ате, в горах наших... коня он найдёт!..»

Потом я сажусь в сторонке, а рядом присаживается Иннокентий Михайлович. «Жалко, сейчас надо ехать, у меня самолёт, -- тихо говорит он. – А вы хорошо танцевали». Я что-то бурчу смущённо, Смоктуновский улыбается своей мягкой и несколько усталой улыбкой: «Только надо быть уверенней. У вас здесь благодарный зритель, мы были на каком-то заводе и меня порадовали такие открытые и доброжелательные лица. Право, чувствуешь перед этими людьми себя обязанным быть искренним в каждой роли, они ведь отдают тебе своё время и часть жизни...». А я с восхищением смотрю на его тонкие руки, которые словно живут самостоятельно, и по ним читается вся ранимость и цельность этого великого артиста и гениального Художника. Странно, однако среди этих ярких актёров Иннокентий Михайлович оказывался менее заметен, но в то же время его тихое обаяние окутывает тебя и вовлекает в такую сферу духовного очищения и строгой самооценки!..

Мне повезло когда-то давно, ещё в конце пятидесятых годов курсантом на галёрке видел я его князя Мышкина в ленинградском БДТ. Разумеется, тогда по молодости многого ещё недопонимал, но именно после этого спектакля открыл Достоевского, а годы спустя, вспоминая Смоктуновского в этой роли, Мышкин для меня сливался с самим актёром. Нет, в его Мышкине не было униженности, это было достоинство деликатности, уважительного интереса к людям и детской открытости. А потом был Гамлет у Козинцева, и Деточкин в фильме «Берегись автомобиля». И что чудесно – при всей внутренней сродности это были разные герои, отмеченные ранимой душой и цельностью личности, даже несгибаемостью, при всей кажущейся хрупкости.

И сейчас, вспоминая, а порой и просматривая фильмы тех лет, понимаешь, как много мы утратили в духовной культуре, и продолжаем скатываться в пучину эгоизма и потребительства... Что бы там не пытались внушить о «динамизме» современной жизни, о современной технике и присущем человеку «клиповом сознании», возникает ностальгия по «фильмам без интриги», как это определяла критика, фильмам, построенным на психологических нюансах, на внимательном и добром познании души. «Пять вечеров» со Станиславом Любшиным и Людмилой Гурченко, «Три тополя на Плющихе» с Олегом Ефремовым и Татьяной Дорониной, те же «Берегись автомобиля» со Смоктуновским, Ефремовым и эпизодической, но

не забываемой ролью Георгия Жжёнова. Фильмы, обращённые к человеку и дарующему этому человеку тепло и мысли о той самой «роскоши человеческого общения», о которой говорил Сент-Экзюпери. Утрачиваемого, увы, и в искусстве.

Вот это умение привлечь к себе талантливых людей, щедрая раздача своего таланта и опыта всегда восхищала меня в Олжасе Сулейменове. Динамичный консерватизм, как хотел бы я определить жизненную позицию поэта, искренняя доброжелательность и, в то же время твёрдость в убеждениях, широта знания и кругозора делают его тем человеком Планеты, о котором поэт грезит в своих произведениях. «Олжас талантливо читает стихи, любой артист позавидует», – обронил на прощанье Смоктуновский.

А я ещё год живу этом саду. Здесь сыграл, пожалуй, самую яркую свадьбу свою с красавицей Маргаритой, победительницей конкурсов бальных танцев. На огромный казан с пловом, приготовленном по всем узбекским канонам, собралось больше семидесяти гостей, прилетел даже старый друг и тоже калининградец Юра Зотов из Таллинна. «Вот ты и остановился!» – поздравил меня шуткой Олкеке. Увы. Имя невесты оказалось роковым для жениха и невесты, и нам пришлось вскоре расстаться. Впрочем, это уже другая история...

\* \* \*

...Багира была завораживающе красива. Подарил щенка Олжасу скорее всего Юрий Мингазитинов, Мингаз - как называли художника-графика друзья. Это он оформлял самую первую «Глиняную книгу» 69-го года. И тогда же снял со своими рисунками документальную картину, которая, если не изменяет память, называлась «Убить быка» - по некоторым мотивам книги и первым поискам и откровениям Сулейменова праязыка и начала буквенности. Очень своеобразная лента, незаслуженно затерявшаяся даже в фильмографии... В 90-е Юра перебрался в Москву, но ему претила столичная суета и он, подобно Чайковскому, купил дом в деревушке километрах в двенадцати от Клина, в шаговой доступности железной дороги. Спокойная, ещё не загаженная помпезными дачами земля, с неброским закатным солнцем над холмистыми перелесками. Там он выращивал картошку, купил бабке-соседке нетель, чтобы иметь молоко и писал удивительные портреты насыщенной жёлтой сепией... И сманивал меня поселиться рядом, увы, не послушался доброго совета.

Да, об олжасовой «собаке Баскервилей»: Багира статью своей и крупностью даже для догини походила на мингазовскую Геру – масти тёмного серебра, с широкой грудью и мощными лапами – она могла стать звездой собачьих выставок и родоначальницей знатных псов. Доги ведь и были испокон псами королевскими, сидящими бдительно рядом с тронном. Но вот характером и воспитанностью она пошла не в мать: как многие красавицы, девушка была забалована вниманием и капризна. Видимо ей с детства многое позволялось, так что никаких ограничений своим капризам она не принимала. И очень обижалась, когда ей командовали «место!», выпроваживая из кабинета. И конечно, опять же как многие красивые девушки, была ревнива и требовала внимания. Меня она, правда, приняла, быть может ещё и потому, что от меня пахло Балтом, да и я не мог не выражать своей симпатии к такой красавице. Но погладить или поиграть в обоюдное удовольствие, предложив мимоходом лакомство, вовсе не способствует выработке

хороших манер и послушания. Скорее наоборот. Воспитание детей, даже сукиных, требует времени и нервного напряжения, чего поэт позволить себе не мог. А надо заметить, что собаки, особенно доги, признают и всерьёз преданы только хозяину. Вожаку. С остальными они будут бороться за место рядом с ним, считая, разумеется, себя самым достойным этого положения.

Но наша взаимная приязнь с Багирой и былой опыт послужили идее поучаствовать в очередной выставке. Действительно – какая же красавица не хочет украшения! И какой же хозяин-друг не хочет признания своей любимицы, породность которой отмечена пластикой тела и именем!..

Итак решено – мне доверено сопровождать и представлять Багиру на выставке. Её согласия, правда, мы не спросили. А стадион, гудящий и звенящий возбуждением разномастных собак и прикреплённых к ним хозяевам, шокировал мою подопечную. Все свои семьдесят килограмм мускулов она мобилизовала на сопротивление и попытку вернуться восвояси из этого собачьего ада. И я порадовался, что захватил строгий ошейник, хотя на ринг выходить с ним было нельзя. Оставшийся час мы с ней постигали азы послушания – хождению рядом, показу клыков, равнодушию к лаю разных шавок...

Но вот и догов-девушек вызывают на арену!

Красавицу Багиру, естественно, ставят впереди всей кавалькады, владельцы идущих позади догинь ревниво косятся на нас. Ошейник я сменил на красивый кожаный. И здесь началась писаться картина маслом, достойная кисти Серова... нет, скорее чёрной туши Бидструпа!..

Наша Багира, ощутив свободу от мерзких шипов, вдруг по-кошачьи (всё же ощущая поводок) начала стелиться по земле. Судьи остолбенели, я пытаюсь поставить Багиру в стойку подобающую ситуации и её неоспоримому экстерьеру. Но уже поздно: рефери показывает место на две собаки назад. Довольные улыбки обогнавших хозяев напрягают желваки мне на скулах, начинаю злиться на собаку, беру поводок накоротко. Немного всё же мы проходим, как положено, вижу жест, готовый перевести нас поближе к первым.

И «танго на полусогнутых» повторяется с грациозной (не отнять ведь!) точностью. Желанный жест повисает на секунду в воздухе... и указывает место с точностью до наоборот. Мы переходим ещё дальше почти в конец вереницы догинь, которым ведь далеко по всем параметрам до Багиры. И вот мы замыкаем кавалькаду, все останавливаются. Начинается «раздача слонов», то бишь медалей и дипломов. Я обречённо стою под сочувственными взглядами публики, которая ещё не совсем приняла наше поражение. Мне, как и Багире, хочется поскорее повернуть и уйти с этого позорища. Ей, правда, по другой причине – она хочет домой и вовсе не понимает, зачем всё было надо. От кусочков сыра, которые я приберёг для неё, нехотя воротит морду. Наконец, о чём-то долго переговариваясь или споря, нас подзывают к столу с разобранными призами. «Так запустить... Такую прекрасную собаку! – говорит мне суровый мужчина, и хотя в глазах его читаю сочувствие, щёки мои горят стыдом. Невольно вспоминаю Балта. – Собакой заниматься надо! – преподаёт мне урок судья. – Зубы её сможете показать?» Я готов показать свои, но они бы точно не прошли стандарта. На удивление, Багира равнодушно дала мне приподнять губы, показать отличный прикус и безукоризненную белизну, несмотря на все сладости, которыми её баловали. «Что ж, – говорит мне мужчина, видимо

старший здесь. – Серебро вы всё же заслужили, хотя она достойна лучшей участи». Это уже звучит подколом, но я молча надеваю ленту с медалью на высокую шею капризницы, сворачиваю в трубку диплом. И мы уходим.

Странно, однако всю дорогу до дома на ул. Кирова она послушно вышагивает рядом.

Увы, видимо Олжас тоже ревновал свою красавицу... Иначе больше ничем нельзя объяснить, что Багира до конца своей жизни осталась в девушках.

\* \* \*

Итак, я сбежал из яблочного рая и гостевого дома, где всё-таки ощущал зависимость от «сторожевого» статуса. Вновь, в который раз, поднялся в горы на космостанцию ФИАНа кочегаром. Это было удивительно свободное от всей суеты пространство над Алма-Атой на высоте 3200 метров над уровнем моря у горы «Турист» – лаборатория мирового масштаба и научной известности российской академии наук по изучению космических частиц. Из Москвы приезжали доктора и кандидаты по физике, проходили научную практику иностранные дипломники. А надо сказать, что уже давно утих спор «физиков и лириков» – именитые учёные не были чужды гуманитарных интересов, вне которых невозможны фантазия и любопытство, ведущие к новым блужданиям в бесконечности и открытиям. Мой давний друг, зам по науке Рашид Бейсембаев, занимавшийся черенковскими излучениями, был фанатом-знатоком китайской поэзии и философии, сын Николая Ивановича Вавилова Юрий Николаевич, доктор физических наук, был ещё и лингвистом, и так далее. И все они были вдумчивыми читателями прежде всего. Они привозили из столицы новые журналы и «самиздатовские» рукописи, «отэренные» сборники Мандельштама и «забугорного» издания Венички Ерофеева и Шаламова, как и новые анекдоты «армянского радио». А инженеры, обслуживающие лабораторию, собирали фантазийные авто, поскольку «мерсов» тогда не было в помине, и выстроили слаломную трассу с подъёмником.

И не удивительно, что гостями наведывались и здесь бывали известные поэты, художники, путешественники – Юрий Висбор и Юрий Сенкевич, режиссёр Сергей Соловьёв, в зале у камина читались лекции по музыке, ученые наизусть читали изустно стихи Пастернака, Андрея Вознесенского и Беллы Ахмадулиной, передавали из рук в руки привезённую из Москвы, изгнанную из библиотек «АзИя» Олжаса Сулейменова и зачитывали его «Глиняную книгу»...

В этой атмосфере, несмотря на разреженность воздуха – вода закипала при 82 градусах! – легко дышалось. У меня в кочегарке – самом тёплом уголке станции – за чаем и хорошей рюмкой чистого спирта велись споры о боге, мироздании и смысле жизни. Здесь мне удалось, съездив в Таллинн за форсунками для котла, перевести кочегарку с угля на солярку. И подняться по карьерной лестнице до старшего кочегара! К тому же, отработав неделю, на целых десять дней спускался в город, и заработок с надбавками безводных, полевых, энцефалитных и прочих высокогорных давал полную независимость от мелочей быта. И на станции я обрудовал себе отдельный заброшенный домик, развесил репродукции картин Ван-Гога и икон Андрея Рублёва, и между двенадцатичасовыми сменами встречал здесь друзей и подруг снизу.

К чему бы эта память? – но к этому времени у меня вышло несколько книг, публикации в журналах и другой периодике, в моей кочегарке дописывалась повесть, позже вновь изменившая судьбу... И я обратился к Олжеке насчет вступления в Союз писателей. Тогда этот статус давал многое, но самое главное – можно было нигде не служить и не считаться «тунеядцем», сидя дома за машинкой. И получил дружеское «добро» на заявление.

Близился конец 84-го года, было назначено заседание приёмной комиссии. В этот день у меня как раз заканчивалась вахта на космостанции, но машина должна была прийти только к вечеру. И чтобы не опоздать в СП, решил спуститься в город пешком, благо дорога известна и не однажды хожена. Конечно, самый короткий путь через перевал и ущелье Алма-Арасан, однако там тропы занесены снегом и круты. Так что шёл к Верхнему озеру, а от него по трубе, подающей воду городу, спускался почти бегом вниз. И всё равно понимал, что могу опоздать, поэтому – как был, не переодеваясь – вошёл в кабинет председателя, где уже заседал приёмный «ареопаг». В сапогах, грубой «хемингуэвской» вязки свитере, связанном перевезённой из Уральска писательницей, в бороде и волосами до плеч, я конечно, шокировал кого-то из старцев... «У, бишара!..» – услышал громкий шёпот при входе. И результат не замедлил сказаться. Из русских претендентов нас было двое, по странному стечению судьбы с одинаковыми именами и созвучными фамилиями: очень хороший поэт Вячеслав Киктенко, позже побывавший редактором «Простора», и ваш покорный слуга Вячеслав Карпенко. Видимо, чтобы не ошибиться, по созвучию кто-то опустил «чёрную метку» обоим. Минутный шок, я встречаюсь взглядом с Сулейменовым и поворачиваюсь к выходу. «Не ко двору значит», – просится мысль. У Славы Киктенко растерянное лицо, он-то, много переводивший национальных поэтов, никак не ждал такого поворота. Олжеке жестом останавливает меня. «Это талантливые ребята, говорит он чётко и уверенно. – Они и пишут неплохо, и переводят наших писателей, вот и в Москве вышел перевод Славой повести Дулата Исабекова. Нельзя так обижать перед Новым годом. Я отдаю свои два голоса председательских за них. Пусть это будет авансом их творчеству!». Каких «два голоса»... Но – словно аукционист ударил молотком – кто же будет спорить с баскармой!..

Оглушённые радостью, мы со Славой Киктенко поднялись в «Каламгер» и поставили бутылки коньяка на каждый столик...

\* \* \*

Это вступление в Союз писателей пришлось для меня очень вовремя. Спустя полгода там, в кочегарке, в которую ходил с пишущей машинкой, закончил я повесть «Вечер встречи» с сюжетом, по тому времени «непроходным» – о бичах и «камышовом аде». И она была уже в набранной в готовой к выходу книге в «Жалыне». И словно обухом по голове: в издательство приходит рецензия-постановление Госкомиздата об изъятии повести из книги. Да ещё почему-то одного из лучших моих рассказов, посвящённых Юрию Казакову. Рассказа, позже многожды переизданного, а недавно даже озвученного артистами театра. Такого рода «выдирки» из готовых к выходу книг случались порой, по навету ли или по спохватившейся «бдительности» цензора, вот и у Сулейменова, помню, зачем-то вдруг из одной книги «выдернули» ныне и вовсе кажущееся безобидным предисловие Леонида Мартынова...

А для меня в конце постановления стояла ещё и приписка «без права замены». По неувыдающей вере в справедливость, написал я куда только можно «открытые письма», добился приёма у бывшего тогда секретаря ЦК Казахстана по идеологии, который прежде был директором Казтага, аналога ТАССа. И вот казус, говорящий об усталости власти и цензуры: редактор книги Жанна Есмурзаева мне потихоньку говорит: «Слава, мне так нравится рассказ... давай его переименуем? И пусть останется». Так и сделали, прошло. А секретарь ЦК в ответ на мои слова «быть может, в чём-то и неправ, но почему же – без права замены?» – при мне позвонил в издательство: «Слушай, Нуреке, зачем же дважды наказывать Карпенку – пусть что-нибудь хорошее поставит в книгу». И главу из изъятых «очерняющих действительность» страниц мы с редактором умудрились вплести в собранную из «морских» новелл «повести в рассказах». И это прошло, никто, естественно, включая закрытого рецензента, вёрстку не перечитывал... Кстати, потом узнал, что рецензентом-то был коллега, с которым здоровались и пили, и который, солидно попыхивая трубкой, осуждал цензуру, ну да боги ему судьями. Впрочем, чуть позже подобное обвинение в «очернительстве» получил я из журнала «Наш современник». А спустя несколько месяцев вышла созвучная «Плаха» Чингиза Айтматова. Времена менялись...

Итак, я писал «открытые письма», собирал отзывы на повесть вменяемых коллег, прикладывал письмо солидных физиков с космостанции.

И вызывает меня Олжас Омарович, которому тоже, естественно, направлял письмо. «Слушай, хватит дурью заниматься. Ты в Калининграде когда-то не пробил эту стену головой, и сейчас не майся дурью попусту! Вот что – на Высших курсах в литинституте есть вакансия, принимают членов СП. Езжай-ка в эту ссылку в Москву, поучись два года и вернёшься.»

И мне пришла в голову ещё тогда, после слов Олжеке о Калининграде, что, пожалуй, должен быть благодарен секретарю обкома Коновалову, стучавшему по столу «дальше двухмильного буя ты отсюда не выйдешь!» и перекрывшему путь в море: не оказался бы без его самодурства в благословенной Алма-Ате, не узнал бы великого поэта и его дружбы, и ещё многое «не» встало бы на пути к себе...

А Высшие курсы в Москве я, естественно, закончил, ещё и женившись там на актрисе и режиссёре, которую, на удивление московских друзей («все женятся здесь, чтобы остаться!»), благополучно привёз в столицу тогдашнего Казахстана. И вернулся вовремя: редактором «Простора» стал наш друг Геннадий Толмачев, с которым работал ещё в «Огнях Алатау». Он и предложил мне вакантное место заведующего отделом критики. Вот кто умел сделать газету и журнал популярными без пошлости, актуальными и бережно-внимательными к языку! Тираж «Простора» «времени Толмачева» поднялся более чем до стотысячного тиража, несмотря на противодействие, а порой и прямые доносы, мы печатали то, что не проходило даже в Москве, например, «Чердачное...» Марины Цветаевой, критические статьи, «невзирая на лица и ранги». Здесь же мне, будучи зав критикой, повезло читать и печатать первые главы «1000 и одного слова» Олжаса Сулейменова, фундаментального произведения, окончания которого жду и ныне.

Вернувшись в Алма-Ату мы с женой Аллой Татариковой-Карпенко создали «Другой театр» с репертуаром исключительно авторов Серебряного века. Сложный и яркий театр пластики, костюма, музыки и драмы, собиравшего аншлаги

сначала в ДК «Строитель», а позже – в Казахском ТЮЗе на Коммунистическом (Толеби). И становлению театра помог, опять же, Олжас Сулейменов не только авторитетной поддержкой, но ещё и деньгами на сложные и дорогие костюмы.

На первый «серьёзный» мой юбилей 50-летия, который справлял я у нашего общего друга режиссёра Юры Пискунова они приехали вместе – Олжас и Геннадий – и Толмачев сразу определил и предрёк: «Вот стар-лик нам ещё одного алмаатинца пр-либавил! Кр-лестины-то скор-ро, видать...». А Олжеке тут же и нарёк будущего сына Елеубаем: «А как же иначе – сын пятидесятилетнего!». Правда, загодя это же имя для сына предсказал наш друг Ерлан, теперь уже директор солидного издательства. И когда, уже шестилеткой, пацан с выгоревшими до белизны локонами возвращался из аула под Иссыком, куда мы его отправляли на лето к доброй апашке, он заявлял с гордостью: «В ауле я Елюбай, а в городе Иван!».

Но через семь лет театр был «сокращён по нерентабельности» – у министерства не было больше денег на содержание «лишнего» театра, хотя постоянными зрителями нашими были целых два министра – юстиции и культуры... А театр требовал сохранения. И, скрепя сердце, я согласился на переезд «на Алма-Ату-3» – так называли здесь Калининград, куда переселялись в то время многие алмаатинцы, включая немцев. Но для меня это был знакомый город, с которым не прервались дружеские связи. Впрочем вскоре стало понятно, что возвращение «на белом коне» чревато неприятием... Но это уже иные нюансы опыта жизни. А «Другой театр», который мы вывезли с полным оборудованием, костюмами и несколькими актёрами, получил, благодаря рано ушедшему Игорю Кожемякину, зал и муниципальный статус. И больше десяти лет принимался аншлагово публикой, особенно молодёжной, отмечался заграничными дипломами фестивалей, но... Это в Алма-Ате на премьеры театра ходили министры, здесь же за все годы – и это попросту ставило в тупик – ни один сменяющийся мэр ни разу не пришёл хотя бы из любопытства или тревоги «чем они там занимаются»... И вновь сакраментальное: «денег нет на содержание, театр нерентабелен». Будто культура измеряется килограммо-метрами. Приговор окончательный, «маэстро, урежьте музыку!». Остались лишь записи для потомства и, кажется, в интернете.

И вырастают дети. Вот уже Иван-Елеубай, после пяти лет учёбы в Швеции на кузнеца-реконструктора и делателя дамасской стали, автостопом добирается с молодой женой-полькой до Парижа, а потом с детским восторгом рассказывает о встрече «с дядей Олжасом» и распитом на бульваре кофе... А мы только перезваниваемся, да раз в пять лет мне всё же удаётся долететь до Алма-Аты, хотя по телефону я шучу: «Если бы праздновались юбилеи в Париже, то мне было бы ближе и дешевле...». «Так приезжай, – говорит мне в трубку Олжеке. «Нет, мне ещё надо пожить немного!». – «А-а, «увидеть Париж и – умереть!». И мы оба смеёмся.

Да и что мне Париж. Алма-Ата роднее не менее Кёнига! И я обязательно хоть раз ещё поднимусь по Большому алма-атинскому ущелью и загляну в галерею им. Костеева к Сергею Ивановичу Калмыкову...

### **И – в виде Post Scriptum'a:**

Можете хоть сколько меня разубеждать в присутствии мистического в жизни, однако случай со мной буквально на днях ещё раз подтвердил это знание. Пока я записывал сии «памятки», мне пришлось на день выехать в небольшой полукурортный (потому что зимой пустынный) городок Зеленоградск у моря, что в

тридцати километрах от Калининграда. В ожидании назначенной встречи бреду по небольшому базарчику, останавливаюсь по привычке у развала старых книг, сваленных грудями и в беспорядке. Мельком провожу взглядом по неинтересным корешкам, хорошие и знаменитые авторы перемешаны с затасканным ширпотребом, но всё нужное давно есть дома на полках. Уже поворачиваю, чтобы уходить, прикуриваю сигарету и... обжигаю пальцы в ошолоблении: будто нарочно, специально для меня отложенный, лежит в сторонке от всех одинокий большой серебристый том с золотыми буквами – «АзИя»!.. Да, та самая, 1989 года издания в «Жалыне» с молодым портретом поэта, которого я встретил почти полвека назад... Цена оттиснута на обложке – 3 р. 60 к. Бутылка «Старки» стоила 3.12, а вот простой коньяк \*\*\* уже дороже – 4.52... Эту книгу, с публицистикой, стихами, поэмами, с «Глиняной книгой», «Соколами и гусями» первой части и «Шах-наме» – второй, кто-то давно спёр из моей библиотеки. И, когда надо, приходилось пользоваться областной научной библиотекой, благо тираж тогда был двухсоттысячный и бывлой бибколлектор рассылал по всему Союзу. И вот здесь, каким чудом в такой заброшенности, хорошо сохранённая, с едва пожелтевшими страницами «газетной» бумаги?! – сама пришла мне в руки. Я беру книгу, оглядываюсь, ища продавца и нащупываю в кармане деньги. Хватит ли, есть где-то рублей двести, может не хватить... но я не выпущу, оставляю что-нибудь в залог и добегу до приятеля... Моя-то недавняя книга, вышедшая в Москве, стоит триста, а она почти в два раза тоньше и нутром пожиже... Подходит ма-аленькая сморщенная старушка, уходившая греться в соседний магазин. «Вас интересует эта книга? – приятно видеть читателя, здесь стихи.» – «Да, да, – тороплюсь я. – Я и автора знаю... Сколько стоит?». «О, какие у вас знакомые, – улыбается замёрзшими губами. – Двадцать пять рублей цена. За любую».

Это стоимость у нас одного проезда в маршрутке по городу, половина тепешней стоимости в московском метро... Отдаю пятьдесят рублей. «Сейчас сдачу...», – слышу. Мне почему-то неловко предложить больше, я ухожу. «Спасибо!» – слышится в спину.

Уже на ходу, вспомнив старую игру-гадание, открываю наугад книгу и читаю вслух себе:

«Ты высшую храбрость познал –  
Не бояться позора»...

(Олжас Сулейменов. «Глиняная книга, преступление девятое»)

*Декабрь-январь 2015-16 г.г.,  
Калининград*

Олег ГЛУШКИН

## ЖАРА И ХОЛОД



Дети моих друзей заселяют жаркие земли. Им никогда не увидят первозданность снега. Завораживающая белизна не для их глаз. Желтые барханы – застывшие волны пустыни заменят ли чарующую прохладу января. Яркие крылья тропических бабочек, бахайские сады и сочные плоды манго – всё это, конечно, прекрасно. Но я не променяю эти красоты на первый пушистый снег. В голодную военную зиму я слизывал снег с руки, он казался мне сладким. Снежные бабы во дворе заменяли чудеса Диснейлэнда. Лабиринты, прорытые в снегу, были интереснее компьютерных игр. В них мы прятались, играя в партизан. Самодельные лыжи были самой заветной мечтой. В школе я мчался по лыжне, я легко скользил по снегу и потом в институте на соревнованиях из последних сил пытался доказать свое первенство. Понять, как живут в странах, где нет снега – почти невозможно. Реки и моря там никогда не замерзают. Есть искусственный лед, но никогда он не заменит сотворенного природой. Ледоход и ледостав – эти слова из моего далекого детства не поймут в жарких странах. Их обитатели не видели, как искрящиеся на солнце льдины пытаются сковать пространство воды. Или в ледоход наползают на быки мостов. Прыжки со льдины на льдину сродни русской рулетке. Можно и не рисковать. А добровольно окунуться в холодную купель, а потом растереть себя мохнатым полотенцем. Испытание на выживание. Удивишь ли нас чем-то, если в зимние дни мы с удовольствием ели мороженое. А в крещенские морозы окунаемся в проруби. Всю жизнь мы испытываем себя на прочность. Что хотим мы доказать сами себе? Понятия не имею. Все мои испытания, казалось мне, позади. Они оживают только в воспоминаниях. Мне надо затратить невероятные усилия, чтобы добраться до берега моря. Ноги отказываются слушаться меня. И вот, я стою у кромки прибоя – одинокий странник, почти выживший из ума старик, и вспоминаю о том, как свободно допрыгивал до баскетбольного кольца, как выигрывал на стометровке и прыгал с трамплина на самодельных лыжах. Мысленно повторяю прыжок. Дух замирает. Преодолев свой страх, ты взлетаешь навстречу облакам, ты вытягиваешься, словно парящая птица, и за мгновения наслаждения полетом расплачиваешься падением в сугроб. Это совсем не страшно. За все надо расплачиваться. Наградою, годами позже, с тобой остаются воспоминания. Ты летал – и не разбился, ты тонул – и не захлебнулся. Ты прыгал с борта корабля в голубую гладь океана. Купание на виду у акул. Ты ловил восходящие потоки на планере и видел землю с высоты, и понимал счастливых птиц, летящих над землей. Ты был без парашюта, им тоже не требовался парашют. Почувствовать под собой бездну – вот что ты хотел. Побороть страх, заложенный в генах годами скитаний, погромов и гонений.

Но разве эти испытания серьезны? Родись на десять лет раньше, и ты получил бы такой набор смертельных трюков, что вряд ли бы выжил. Сумел бы ты подняться из окопа под шквальным огнем, сумел бы броситься на амбразуру или направить свой горящий самолет на таран? Никаких гарантий дать не могу. Я был слишком мал, когда фашизм приговорил меня к смерти. Охваченный пламенем эшелон врывается в мои сны. Рвы, наполненные телами детей – это уже не из моих видений. Палачи любили снимать на пленку мучения своих жертв. Все эти страхи я ощутил потом, я не понимал всей надвинувшейся на меня и нашу семью катастрофы.

В далекой Чердыни, на Урале я радовался выпавшему снегу и скользил по льду реки на санках, сделанных из металлического прута. Мы спаслись здесь от неминуемой смерти. Мы бежали из своего города летом. Нас не пугал мороз. Поначалу нас закалила жара. Было душно и жарко в теплушке, куда набилось человек двадцать. Еще большую жару создавал горящий вагон. Самолеты с черными крестами делали небо опасным. Воды не было. Нечем было погасить огонь, пожирающий вагонные стенки. На стоянках мы устремлялись за водой. В памяти моей длинные очереди у водоколонок. Никому неизвестно, когда тронется поезд. Все оглядываются на стоящий под парами паровоз. Он пыхтит и издает свист. Он наш спаситель. Пусть бомба попадет в любой вагон, но только не в паровоз. И пусть пойдет снег. С тех пор я не люблю жары.

Мои предки слишком долго жили в России, из генов выветрился зной пустыни. А может быть, в крови предчувствие невыносимого жара крематория и охваченных огнем запертых синагог. Никто не расскажет о том, как сторают заживо, как задыхаются в дыму. Ещё страшнее гореть в танке, с запертыми люками, словно в скороварке. И если удастся открыть люк и вывалится наружу огненным факелом, то спасти может только снег. Валяться по нему, стиснув зубы и не позволяя крику вырваться наружу. Снег, как спаситель. Зима почти ассоциируется с Победой. В память запечатаны цветные картинки, Наполеон со своей гвардией удирает из России, сани с дрожащими от холода французами. Они закутаны в женские шали. И строчки Пушкина, в детстве ещё не совсем понятые, да и сейчас отвергаемые. «Так кто же нам помог, зима, Барклай иль русский Бог». Бог он ведь тоже похож на Деда Мороза. В тулупе, за спиной котомка с подарками. В моем детстве мы не мечтали о том, чтобы он принес в виде подарков игрушки, даже конфеты не были нам нужны, нам очень хотелось, чтобы он принес хлеб или сухарики.

На далеком Урале, в городе, лишенном картинных галерей и музеев, в морозное утро окна являли самые причудливые и манящие узоры. Серебряная паутина располагалась по какому-то неведомому закону, никогда не повторяясь. Мы вглядывались зачарованно в белые стекла и дыханием своим старались пробиться сквозь белизну, образуя прозрачные кружки. Они тоже становились частью картины, эти маленькие окна в зимний мир заснеженных улиц, занесенных сугробами. В первую очередь надо было расчистить проход к крыльцу. Широкие деревянные лопаты не слушались детских рук. Но мы старались. У меня даже некоторое время хранился мой детский рисунок – маленькие кургузые человечки с большими лопатами в лохматых ушанках.

Я так любил рисовать. Но не было бумаги, не было карандашей, не было красок. Тех человечков я нарисовал в доме моего товарища, он был сыном местного

начальника. Остальные рисунки времен эвакуации не сохранились, потому что я рисовал угольками. И не на бумаге, а на фанере и дровах. Так что моё творчество оперативно предавалось огню.

И все-таки среди моих бумаг сохранилось ещё два рисунка. Один я сотворил в первом классе, черные самолеты с крестами пикировали на бегущих людей. В этой толпе были и мы с мамой и сестрой. Рисунок, рожденный памятью о том, как мы выбегали из горящих вагонов и нас старались убить. Этот рисунок мама послала в газету «Пионерская правда» и заставила меня сделать еще один. Вот он то и сохранился. Из газеты ответили, что мой рисунок заслуживает внимания, правда, написали, что будет лучше, если я не стану выдумывать то, что не видел, а стану рисовать школьников и про то, как мы играем. Уж какие тут выдумки, если в голове у меня до сих пор повторяются крики раненых и разрывы бомб. Я не потому бросил рисовать, что меня остановил этот ответ, просто краски было трудно достать, и они были слишком дороги. Написание стихов не требовало таких затрат, в ход шли старые газеты или исписанные уроками тетради. Другой рисунок сотворен позже. Много лет спустя, в море, пораженный красотой океанских закатов в дальнем рейсе, я осмелился взять в руки кисти и краски, и того и другого было в изобилии, так что и море и небо у меня получились ярко красные, зато парусник выделялся своим белым цветом, это была не закрашенная часть листа. Может быть, тогда я осознал, как важно оставлять пробелы.

В том рейсе мы остались без запасов воды. Вокруг, насколько видел глаз, простирался водный простор, а мы страдали от жажды. У нас вышел из строя опреснитель. И тогда изобретательный наш рефмеханик увлек меня идеей создания опреснителя морской воды. Он предложил очень простой принцип – морскую воду мы замораживали в судовой морозилке, а потом оттаивали и, пользуясь тем, что пресная часть воды тает быстрее, отделяли ее от соленой. Так холод и лед пришли нам на выручку. Тем более, что дело было в тропиках, и холодная опресненная вода стала самым вкусным нашим напитком.

Примерно такое же удовольствие от стакана воды я получал в детстве, когда почти повсюду появились продавцы газированной воды, и мы, выпросив у родителей три копейки, с наслаждением пили сладкую шипучую воду. Тогда ведь мы почти не знали вкуса конфет и сладких пирожных. Стыдно признаться, но я мечтал стать продавцом газированной воды.

На судне мы с рефмехаником, конечно, могли бы продавать свою холодную воду и обогатиться, но в рейсе такая мысль ни разу не мелькнула. Это сейчас из всего пытаются сделать бизнес. А в тот рейс никто не думал о своей личной выгоде. Все мы зависели от вылова рыбы, от движения ее косяков. И ещё зависели от захода в иностранный порт, он был нужен не для развлечения, а для того, чтобы получить валюту. Валюта была не настоящая – выдавали боны. Но за эти боны можно было купить заграничные шмотки у нас в городе, в особом магазине «Альбатросе». Как в этих тропических рейсах мы мечтали о снеге и холоде, мы отдали бы все свои боны за один зимний день. А где-нибудь на Чукотке, не исключено, готовы были отдать с десятков соболей за один день в наших тропиках. Но обмен временными поясами ещё не налажен и даже не открыт.

В жаркие тропические дни рубашки истлевали от пота. Мы завидовали тем, кто ушел ловить путассу к Ирландии или окуня на Джорджес-банку. Это были, в

основном, мурманчане. Мой друг механик из Мурманска, напротив, считал, что нам повезло, и работа в тропиках сродни отдыху на южных курортах.

Я не поверил ему, пока в один из рейсов нас не загнали на самый север, севернее некуда, там вдаль мы видели сплошные белые поля. В штилевом море ещё можно было тралить, но едва начиналось волнение, и волны достигали палубы, вода почти на лету превращалась в лёд. Лед заковывал судно в белую броню, мачта, тросы, надстройки – все было белым, палуба превращалась в каток. Зрелище это не вызывало у нас радости. Был объявлен общий аврал. Мы вооружались ломami, пешнями, скребками, кто чем мог, и долбили, окальвали лед, и сбрасывали его за борт. От того, как скоро мы могли это сделать, зависела наша жизнь. Лед нарастал на верхней палубе, корабль терял остойчивость и мог опрокинуться вверх килем. При таком исходе нет надежд на спасательные шлюпки и плотики, нет надежды и на спасательные пояса. В холодной воде человек способен выдержать не более десяти минут. Нам повезло, мы справились со льдом. Один мой соплаватель, седой как лунь, рассказывал, что обледенение застало их в послепраздничный день, народ с похмелья еле двигался. Люди не сумели выйти на окальвание льда, валялись в каютах. И судно сделало оверкиль. Всего пару минут оно было в перевернутом состоянии. Очередная волна вздыбила его и поставила на киль. Но за эти пару минут мой соплаватель поседел.

Морские походы это не только романтика и алые паруса, это и определенная степень риска. Это и вероятность последнего гибельного часа. Этот час подстерегает везде, бывают крушения поездов, падают самолеты, не оставляя никакого шанса всем, кто еще несколько минут назад наслаждался полетом и смотрел на облака. Корабли гибнут не сразу, и не всегда всех увлекают за собой в морскую пучину. Случаи резкого оверкиля редки. Есть таблицы непотопляемости, надо спрямлять крен и дифферент. Корабль должен тонуть не опрокидываясь, погружаться на ровном киле. Не всегда это выполнимо. Шлюпки тоже не всегда успевают спустить из-за крена. Вся надежда на надувные плотики, но они не все всплывают, а те, которые всплывут, не могут вместить всех успевших броситься в воду с борта тонущего корабля. Надо успеть забраться на плотик, пока холод не сковал тебя.

В проливах затонул большой траулер. Я тогда был в комиссии, искавшей причины этой трагедии. Все было засекречено. Так полагалось в те годы. Все были нацелены на то, чтобы найти технические недостатки. Тот несчастный корабль только несколько дней назад вышел из родного порта, все понимали – водка кончается после прохождения проливов. Да, не сумели спрямить траулер и потому оборвались шлюпки. Да, самоустранился капитан, чудом выжившие говорили, что он со словами «все бывает» ушел к себе в каюту и заперся там. Мы тогда не знали, что на корабле были секретные грузы, и капитан не имел права давать сигнал SOS. Мы знали одно, не дело судить мертвых. Их жены должны были без всяких препятствий получить пособие.

В очередном рейсе я встретился с рефмехаником, который участвовал в спасении тонущих людей, вернее, в вылове их замерзших тел. Была весна и вода за бортом была не выше пяти градусов. Тела загружали в просторную корабельную морозилку. У многих, сказал рефмеханик, были перебиты пальцы. Я не сразу понял, что это значило. И когда осознал, накричал на своего товарища. Даже если и так, он не должен был говорить об этом. На него накричал, а сейчас понимаю: надо

смотреть правде в глаза и никого не винить. Два всплывших плотика не могли всех вместить, те, кто успел влезть на них, били по рукам тех, кто пытался спастись. А если бы не били? Плот, перегруженный, всех увлек бы в пучину. И всё же, это не укладывается в голове. Сам погибай, но товарища выручай, так меня учили. Сейчас уже другое лагерное правило пришло сегодня в нашу жизнь: умри ты первым, а я последним.

Стихия, есть стихия. Никакие страшные рассказы и случаи не смогли меня отратить от моря, я остался предан ему, и я всегда получаю заряд энергии от этого постоянно меняющегося цвет и неугомного пространства, вздымающего из своих глубин водяные валы. Купелью и могилой одновременно назвал море поэт, погибший в сорок втором, а другой поэт сочинил такие строчки: «не все ли равно, сказал он, где, ещё спокойней лежать в воде». Он стал обеспеченным и признанным и был предан земле с большими почестями. Возможно, и хотел бы покоиться в море, но разве бы допустили такой пассаж власти. Он ведь стал их придворным поэтом. Мой друг, неизвестный поэт, умер в самом своем расцвете. Он успел завещать, чтобы прах его развеяли над морем. Жене его пришлось преодолеть много чиновничьих барьеров, чтобы исполнить его завещание. Не всё ли равно – где. И всё-таки. Завидую самой великой женщине, встречи с которой подарила мне судьба. Ее неумелые стихи рождались из жизни, полной подвигов и страданий. Она ушла на фронт добровольцем, была совсем юной, врачевала, спасала бойцов, потеряла возлюбленного, почти всю родню потеряла, легли в безымянные балки и рвы, уготованные для евреев. Работала до девяноста лет. Была признана и награждена высшими титулами. Была небольшого роста, годы высушили её. Совсем легкая. Купалась круглый год. Мне казалось, что ей даже не надо грести руками, вода и так держит ее на плаву. И вдруг я узнал, что она утонула. И я понял, она не утонула, она сама специально вобрала в себя воду.

Есть море, в котором невозможно утонуть, даже если захлебнешься его соленой водой. Его напрасно называют Мертвым. Оно теперь излечивает от разных хворей. Люди, вымазанные грязью, добытой со дна моря, похожи на воинственных папуасов. Жаркое солнце делает грязь горячее. Люди ищут прохлады. Тень пальмовых деревьев не спасает. Духота, как в мукомолке.

Стоит пробить в этом рыбном крематории хотя бы один час, как весь пропитываешься запахом рыбной муки и аммиака. Я обычно снимал робу перед входом в каюту, но не только пахла роба, все тело не могло избавиться от едкого запаха. Я не обязан был лезть в мукомолку, но там постоянно что-нибудь ломалось, и машинист звал меня. Мы завидовали глазуровщикам, тем, кто покрывает замороженные брикеты глазурью. Открытый зев морозилки, сама глазуровочная машина – всё окутано холодным воздухом. Легкий парок, словно дыхание на морозе, хочется глотать, раскрыв рот. Но все хорошо в меру, и когда на перегрузках объявляют аврал, и тебе достается место в трюме, через полчаса ты уже начнешь мерзнуть и вспоминать жар мукомолки.

А потом, возвращаясь с подвахты из морозного трюма, идешь по накаленной солнцем палубе и поначалу радуешься. Но когда через подметки ботинок проникает жара, убыстряешь шаг, чтобы скрыться от солнца в каюте.

Как же соединить жар и холод, как научить себя любить любую погоду?

Есть один верный способ – настоящая парилка. Даже в тропических рейсах

мы ждали как праздника банных дней. На каждом корабле есть своя баня, её так старательно обустраивают, обряжают, словно невесту. И она отдает сторицей. Запах распаренных березовых веников возвращает ароматы берега. Ковшиki воды, соприкасаясь с раскаленными камнями, рожают облако пара. Вытягиваешься на полке и перед хлесткими ударами проводишь веником вдоль тела. Жар обдаёт тебя. Хорошо, если догадался натянуть на голову шерстяную шапочку, а на руки надел перчатки. Чтоб мозг не закипел и руки не обгорели. Ты таешь, растворяешься, пулей выскакиваешь из парилки, ты ныряешь в самодельный бассейн, сделанный в морозильном трюме. И ты чувствуешь, что родился заново.

На берегу никак не могу повторить этот состояние. Вроде и сауна приличная есть у друга капитана, и травы там у него всякие душистые, и пиво холодное, а вот морозильного трюма с бассейном нет.

Морские приключения давно не для меня. Остаются воспоминания. Чтобы их сочинять, не нужны путешествия. Нужно просто выбрать подходящее место обитания. Совершенно ни к чему Тайланд или Эйлат. В жару невозможно творить. Мысли плавятся, не находя нужных слов. Как пишут романы писатели в жарких странах, не представляю. Но и в холод вряд ли что разумное напишешь, дрожащие руки не смогут соединить буквы клавиш в слова. Все хорошо в меру. И я никогда не променяю свою дождливую Балтику на жаркие тропики, а тем более на морозную сибирскую тайгу. И когда мои земляки жалуется на погоду, я не разделяю их сетований. Просто они не испытали, что такое жара и что такое холод. А если и испытали, то забыли.

Алла ТАТАРИКОВА-КАРПЕНКО

**ВЕНТСПИЛС**  
(глава из романа)



...Радоваться жизни, когда голова кружится от недосыпа (двенадцать часов ночного и раннеутреннего пути, восемь из них – до Риги, по которой – галопом и фотографируя – полчаса до следующего автобуса, на нем уже – до места) и, того гляди, посеешь на рынке кошелек, помогая отцу грести яблоки, кабачки, плоский инжироподобный лук, цветную капусту, парное мясо – щедрый урожай окрестных хуторов. И потом – в окна бывшей ратуши, а теперь гостевого Дома писателей – чистота и слаженность звуков оркестра, репетирующего вечернюю программу по случаю Праздника города и Фестиваля цветочных ковров, разбросанных вдоль всего променада латвийского портового городка. Пара часов дневного сна под арии из «Травиаты» и «Дон Жуана» с площади (отец рассказал потом о музыке подробно: «в твои четырнадцать пора начинать разбираться»), сна морочного, булькотного, жаркого, – не способны восстановить силы, а только приводят мозг в окончательно восторженное замешательство. Потом обед и гуляние по паркам, набитым цветами и фонтанами, и кубовидными кронами деревьев – произведениями флоро-парикмахеров. Потом несвоевременный чай с булочками и жаркая ночь на сквозняке, танцующем меж двумя распахнутыми – одно на площадь, мощеную старым камнем, другое, с угла, – на улицу, разглаженную современными плитками, как весь городок, безызынно, тщательно, каждый метр вдоль реки до моря, меж рядов одно-двухэтажных строений, над которыми трудятся зимами ветер и влага, покрывая живописью пятен крашенные сыпучие панели.

Между чаем и сном – за окном на площади окончание выступления странствующего актера: молодой тощий факир с голым торсом в неправильном, «сельском», загаре, что оставляет серыми и несчастными грудь и живот, но подцвечивает руки и шею с синими асимметричными крылышками татуировки в виде тщедушного дракона, летящего в свой домик на горе по бледным лопаткам, в выцветших, когда-то цветастых хлопчатобумажных лосинах по колено, в черных носках и черных запыленных туфлях, тяжелых для такой жары, не замечая своей нелепости и нечистоты, смотал на локоть длинный зелёный шнур, раскидываемый по кругу с целью отделить игровое пространство от толпы. Потом он собрал какие-то металлические предметы и шпагу, которую за несколько минут до этого усердно проглатывал: погружал внутрь голодного организма и возвращал миру, вызывая аплодисменты. Потом свернул вдесятеро совсем тонкий синтетический коврик для гимнастических экзерсисов, аккуратно разместил часть реквизита в футляре от мандолины рядом с некоторым количеством набросанных зеваками монет, откинул спутанную и влажную от пота русую челку и зашагал прочь.

Ночь спешила погрузить в себя арки, и черепицу, и брусчатку, и ряды слепых

домов, с затянутыми пленкой или прилежно забитыми досками проемами окон, вопреки гомону не желающего спать в праздничный вечер молодняка. Ночь требовала полного повиновения, по-стариковски рано затемняя и опустошая улицы.

К утру сцена, где блистал вчера оркестр, исчезла, растворилась в площадном солнцепеке, освободив место для лотков с книгами и сувенирами, но и эти декорации слизала жара часам к пяти, когда, побродив по променаду и напустив полный воздух пузырячатых радуг, ушагали и укатали прочь голенастые клоуны-ходулянты и жонглеры на высоченных трехколесных (два маленьких, одно гигантское) велосипедах.

Минувя внешние колонны, шурша подошвами в унисон с семенящими на вечернюю службу прихожанами, мальчик проник в нутро церкви, белое и голое, присел с краю на больнично поблескивающую скамью, рассмотрел таблички с цифрами на стенах – 364, 211, 314...(позже отец объяснит ему, что цифры обозначают порядок песнопений для определенных служб, и что помощники лютеранского священника по необходимости заменяют их на другие – «как же ты, четырнадцатилетний парень, не знаешь всем известного!»). Взгляд его продвинулся и остановился на единственном живописном полотне, демонстрирующем Христа с огромным бледным торсом, короткой шеей и крошечной головой в мокрых локонах на фоне колоссальной дымно-синей планеты. Это напомнило ему почему-то апокалиптические кадры финала фонтриеровой «Меланхолии», которую во время пути продемонстрировал ему на своем планшете отец. Но скоро он рассмотрел, что Иисус изображен не впереди рыхлого круга, а входящим в округлую арку пещеры, что создавало определенную иллюзию. Однако вплывал Спаситель в объем не равномерно всем телом, а в первую очередь – широкими чреслами и грудной клеткой, запаздывая головой и нимбом. Мощные ноги Предвечного, мускулистые, голубоватые, тоже были выписаны художником подробно, с усердием, со вниманием к жилкам и мышцам. Лица же мальчик, сколь ни старался, никак не мог разглядеть, так удаленно, будто на третьем плане, было оно расположено.

Прихожане глянули на таблички, размеренно распределенные по известковым стенам, раскрыли свои книжечки, нашли нужные цифры, вдохнули белого воздуха и объединились в ахроматический хор.

Следующим вечером городок окончательно продемонстрировал свою ревность к людям: улицы хвастались пустынностью и нежеланием впускать в себя прохожих. Правда, иногда в тупичке переулка промелькивала детская коляска, и потом каблук исчезающей женской туфли, и это казалось нелепым, неуместным дополнением к пустоте и стерильности мостовых. Где-то истошно раскричался котенок. Мальчик вышел через арку за каменную ограду: невысоко неприятно крупная чайка взмахивала крыльями, сопровождая каждое движение псевдо-кошачьим воплем. Другая, серая, еще большего размера, растянула бледные перепонки по булыжнику, и столь же безапелляционно, громко и настойчиво, как первая, рокотала голосом, похожим на лягушачий. Мальчик сделал неширокий круг по совершенно безлюдным в этот совсем не поздний час переулкам, утвердился в своем ощущении, что этому городу люди не нужны, что они здесь – нечто лишнее, нежелательное, вернулся на ужин и долго слушал медленную речь

тщательно прожевывающего телятину отца, который говорил в этот раз о DER GELBE KLANG , произведении Альфреда Шнитке для инструментального ансамбля, хора и солистки.

– Первое исполнение сего опуса состоялось во Франции, а в СССР лишь через десять лет. Балет, вернее, пластический спектакль, не слишком отвечающий замыслу либретто, поставил Гедрюс Мацкявичус. Читал о таком? Режиссер, любопытная личность, эстетический эпатёр, человек с изломом... Идея «Жёлтого звука» принадлежит Василию Кандинскому, художнику-авангардисту, – знаешь о таком? – который мечтал о театральном синтезе. Мацкявичус вывел на сцену некий сюжет, хотя у Кандинского ни о каком сюжете речи быть не могло. У него – какофония смыслов. Зря Мацкявичус со своей не совсем профессиональной труппой замахнулся на освоение музыки великана. Да, Шнитке – тот самый великан Кандинского, который в финале является, то есть являет себя, колоссальным крестом. Да... Кандинский имел не только художественное, но и музыкальное образование. И Шнитке гениально его услышал. Сложная музыка, сонорные звучания, – знаешь, что имеется ввиду? – группы из множества звуков, образующих нечто близкое к аккорду, но не в классическом его понимании, а... звуковой комплекс, кластер. Да. Ты должен знать этот термин. Музыкальная ткань, сначала довольно чёткая, постепенно теряет определённую структуру, растекается, но... затем возникает облагораживающее мецо-сопрано, – отец наслаждался своей речью, мелодекламирал, как бы пропевая, усиливая отдельные слова, – Однако позднее звуковое пространство вновь саморазрушается и... Но ты, наверное, вообще ничего не слушал у Шнитке... – Это уже был не вопрос, но почти утверждение, потому взгляд отца проскользнул мимо глаз сына, оставшись безучастным. Задавая же вопросы по ходу своего размышления вслух, отец кратко делал пренебрежительное лицо, приподнимал брови, взгляд его на секунды становился жёстким.

Мальчик слушал, однако интерес его был направлен не к произведению, о котором говорил отец, но к самому отцу, в очередной раз удивляющему сына разнообразием и глубиной своих знаний, нынче – в современной музыке, теме далекой от мальчика и загадочной. Сын все-таки пытался вслушиваться в термины и одновременно следил, как отец отсекает острым ножиком от куска телятины маленькие сегменты и, подробно оглядев каждый, отправляет в рот, чтобы сделать множество жевательных движений, прежде чем проглотить разжёванное. Говорящий и одновременно жующий не обращал внимания на то, что сын почти не ест, будто не желая снизить важность ситуации, будто боясь опозлить её низменным действием. То, что отец одновременно наслаждался своими размышлениями вслух и поеданием мяса, было вполне органично, выглядело не только допустимо, но и достойно. Но жевать в это время самому мальчику казалось фамильярностью, неуважением к теме и к отцу.

После ужина вышли на воздух. Лилии резко усилили благоухание и заполнили им дворик с качающимся среди горьких флоксов мягким диванчиком, в котором разместился отец напротив клетчатых окон и всегда распластанных по старинным стенам ставень. Мальчик стоял неподалеку и ждал, когда отец насладится качелями и решит, что пора спать.

Поднялись в номер, по очереди приняли душ, улеглись в огромную постель, предназначенную для семейных пар. Накрылись каждый своим пододеяльником,

по причине жары и духоты пустым, без одеяла внутри. Отец скоро задышал глубоко и шумно, мальчик скатился с массивного ложа, потом по крутой лестнице в столовую и через неё вышел во дворик.

Маленький город размяк, готовый заснуть. Ратушная площадь уже просто-душно всхрапывала, не слыша ленивый и сбивчивый отсчет церковных часов. Ночь требовала полного повиновения, опять стараясь, согласно провинциальной традиции, пораньше затемнить улицы. Но лето сопротивлялось: небо на западе оставалось светлым. Короткий мощёный путь мимо очередных, оставленных хозяевами нежилых домов, что разъехались по чужим странам в поисках работы и счастья, и впереди река, вчера ещё отгороженная праздничными торговыми рядами, а теперь – широко открытая взору, и чуть правее – неожиданно, монументально – нечто невероятное в своей мощи, похожее на многоэтажное здание, белое как лютеранская церковь, чужое. Корабль! STENA FLAVIA прочитал мальчик. И ниже – LONDON.

Как мог этот великан войти в русло реки? Неужели она такая глубокая? Чтобы оглядеть судно, надо было закинуть голову, тогда в поле зрения попали люди, которые перемещались по палубам на разных этажах, скользили вверх-вниз по ступеням открытых лестниц с перилами: маленькие, подвижные фигурки в покоем на игрушку для великанов шести- или семиэтажном заводном механизме.

Мальчику пришлось довольно долго идти вдоль белого массива, и, наконец, открылось нечто ещё более удивительное – торцовая часть корабля оказалась распахнутой и переходила в огромную погрузочную платформу, чудесным образом соединенную с береговой площадью, по которой в эту минуту двигался двухъярусный бус. Жёлтый, яркий, он, поблескивая в свете уличных фонарей мытыми боками и двумя рядами стёкол, миновал дежурных в форменной одежде, занятых беседой, и торжественно въехал в разверстое нутро судна. Мальчик в воображении своем проник в автобус, почувствовал себя там, в полутьме, среди обтянутых велюром комфортабельных кресел, прошёл в дальний конец и прилёг в глубокое заднее сиденье, приник к высокой спинке; сердце разрывало грудь, то гудело церковным колоколом, то кричало чайкой и падало ниже пяток в пустоту, в космос, где замирало, обращаясь кристаллом, сияло и жгло; тело сжалось сухим комочком и так, тайным пассажиром, въехал он в брюхо корабля, и дождался отплытия, и пустился в путь.

Здесь, на берегу, его отделяла от транспортного настила крашенная зелёным решётка, что тянулась и тянулась куда-то в ночь и ломала пространство, которое он никак не мог осознать: где кончается берег и начинается настил, и как всё это будет выглядеть днём, когда судно уйдёт?

– Пришел паром из Германии, – скажут утром.

– Да, на нем прибыла Грета из Травемюнде. Грета Люфт, переводчица драматургии с русского на немецкий.

– А когда этот паром отплывает назад в... Траве...мюнде? – спросит мальчик.

– Судно не отплывает, отходит! – отрежет отец. – Поезда отправляются, самолеты вылетают, корабли отходят! В твоём возрасте надо это знать...

Беседа за чаем после посещения группой писателей и переводчиков Ливонского замка конца XIII века завилась сначала вокруг самого строения:

– Башня невысока, но служила маяком. А я всегда считала, маяк должен быть очень высоким. Как и пожарная каланча в городе. – Грета поглядывала на отца, обращая вопросы именно к нему, будто заведомо было решено, что он разбирается в теме лучше других – И в каком веке Вентспилс стал портом? Порт Ливонцы строили? Крестоносцы?

Отец заговорил, будто не слыша вопросов:

– Ливонцы... Орден собран из разбитых, понесших большие потери меченосцев в первой половине тринадцатого века и прекратил свое существование в... шестидесятых годах шестнадцатого, в результате ряда поражений, нанесенных войсками Ивана Грозного в ходе Ливонской войны. Ливонцы были не самостоятельны, являясь лишь подразделением Тевтонского ордена. – Казалось, он прочитал все это с какого-то экрана, невидимого остальным, как читают текст с монитора над камерой дикторы телевидения.

Мальчик в восторге и торжестве оглядел компанию. Это его отец – блестящий знаток истории. Он, его сын, находясь здесь, среди людей, внимающих его отцу, может наслаждаться абсолютными его, а значит и своими победами. Ведь он причастен к этим победам! Как самый близкий человек, как единственный сын, как будущий продолжатель... Высокий всхлип исторгся из горла мальчика, он притворно закашлялся, пытаясь исправить мгновение.

– Почему в России Орден германских рыцарей называют Тевтонским?! У нас говорят Орден Германских Рыцарей, и все! – поспешила загладить неловкость Грета, специально надавливая на каждое слово.

– Тевтоны – общее название древнегерманских народов, – звучало по-прежнему безучастно, – Вам, немке, Грета, это должно быть известно.

Грета улыбнулась, продемонстрировав, что вовсе не обиделась и продолжила, вновь обращаясь к эрудиту, явно стараясь удержать его внимание.

– Так что о Тевтонах?.. Или Тевтонцах, – как правильнее по-русски?

– Ну, орден вообще-то не очень интересный. Что, например, известно о занятиях Тевтонцев магией или алхимией? А вот Тамплиеры, – попытался перелить беседу в иное русло владелец богатой шевелюры и пока еще опрятного, очень круглого брюшка, поглядывая то на одну юную особу в блеклом платице, то на трех других, со столь же блеклыми личиками. – Вообще средневековая Европа, конечно, славна своими познаниями в колдовских делах.

Будто отвечая кому-то иному, через губу, нехотя, отец продолжал:

– В колдовских делах? Терминология сказочных историй. Надо сказать, в этом направлении страны юной религии преуспели больше Европы. Впрочем, где грань между ученостью и сказкой? – Отец не смотрел в сторону собеседника.

– Под «юной религией» вы подразумеваете ислам? – старался продемонстрировать свою осведомленность седовласый, имени которого не знали ни сын, ни отец, а, может быть, и другие постояльцы, кроме четырех, сопровождавших его длиннотелых девиц, похожих, как казалось мальчику, на сваренные макаронины.

Отец продолжал, будто не замечая вопроса, и речь его походила более на лекцию, чем на ни к чему не обязывающую болтовню за чаем:

– Средневековая культура Арабского Востока сохранила и передала в будущее многие научные достижения античности. Видите ли, их территории в период раннего средневековья колоссальны: Палестина, Сирия, Месопотамия, Египет и

Иран, Пиренейский полуостров, Закавказье и Средняя Азия до границ Индии. Богатые города на всей этой территории становились центрами учености.

Барышни переглядывались и неопределенно подергивали губами. Глядя по сторонам, дула в горячую чашку Грета. Встретившись глазами с отцом, вдруг зашебетала:

– Ах, какую интересную тему мы затронули! – губы Греты кокетливо складывались трубочкой на каждом «о» и «у». – Да! И крестоносцы, в частности тамплиеры... все-таки, скорее всего, именно они привезли в Европу эти знания, не могли же они во время крестовых походов пройти мимо алхимических поисков восточных ученых!

Седовласый просительно глянул на блеклую барышню, протягивая ей пустую чашку.

– Кипяток закончился, – пропела та. Седовласый поднялся и проговорил специальным шепотом, поглядывая поочередно на каждую из четырех дев:

– Пойдемте-ка, организуем еще чаю, никому не мешая.

Под этим благовидным предлогом квинтет удалился в кухонный отсек, а от туда – прочь.

– Утверждения о занятиях алхимией в среде тамплиеров связаны с действиями Филиппа IV. Предположительно, он желал завладеть деньгами монахов-ростовщиков. Всем известно, что именно тамплиеры, «нищие рыцари», основали банковское дело, стали первыми банкирами, – не обращая никакого внимания на перемещения и посмеиваясь, продолжал, будто по писанному, оратор. – Король обвинил храмовников в ереси, в занятиях той самой магией и алхимией, устроил образцово-показательное судилище, потребовал пытать-казнить и в результате разогнал и запретил орден. Но никаких существенных данных о том, что кто-то из тамплиеров действительно занимался алхимией, нет. Алхимия и астрология на Востоке позиционировались как высокое философское знание. Чтобы погрузиться в него, необходимо было читать философско-теургические тексты, но крестоносцы не владели в должной мере арабским.

– Ну, почему обязательно тексты?! Может, они учились у магов... на практических опытах, – с сильным латышским акцентом произнес миловидный молодой человек лет двадцати, сидевший за столом напротив мальчика.

– И как Вы себе это представляете? – парировал отец, – Общение же должно было как-то осуществляться, серьезное знание языка, специфических терминов были необходимы. А их не было. Откуда? Шли пилигримы, воевали, терпели нужду, лишения, гибли. Ну, какие-то бытовые, обиходные фразы цепляли, разумеется, но не более того. Нет, крестовые походы существенной роли здесь не сыграли. Алхимия, вкупе с астрологией, физиогномикой, прочими «науками», с огромным количеством философских текстов была перенесена на Запад в великую эпоху переводов через Южную Италию и Испанию, – продолжал блистать эрудицией отец. – Об этом можно почитать уйму литературы, но, к сожалению, практически ничего по-русски. На французском, английском – пожалуйста. На немецком тоже, – кивнул он в сторону Греты.

– Но почему-то же многие утверждают, что тамплиеры успешно занимались поиском философского камня, а быть может, и нашли его. Нет, какой-то дым без огня получается, – упростовал молодой человек.

Мальчик нахмурился, ему казались неучтивыми по отношению к знатоку и к тому же пустыми замечания молодого человека.

– Ну, для некоторых ничто не является доводом. Вы, молодой человек, просто Фома неверующий, – произнесла Грета почти без акцента, и демонстрируя незаурядное умение грамотно строить фразу.

– Повторюсь: настоящая алхимия невозможна была без переводов авторитетных арабских текстов на латынь, – вмешался отец.

– Но, вот мне всё же кажется... ну, как-то напрашивается вопрос: что здесь противоречит тому, что тамплиеры-розенкрейцеры владели особыми знаниями? – вновь попыталась заглянуть в глаза оратору Грета.

– Во-первых, нельзя смешивать тамплиеров с розенкрейцерами и масонами, – оставался невозмутимым отец. – Тамплиеры были всего лишь одним из монашеских орденов. Розенкрейцеры и масоны же своего рода носители тайных, мистических знаний, в основе которых множество действительно магических, герметических элементов. Им известно намного больше источников, чем монахам средневековья.

– Но ведь есть мнение, что именно уцелевшие тамплиеры учредили впоследствии орден Розы и Креста. Вот отсюда и преемственность знаний. Тамплиеры могли владеть тайной. Возможно, благодаря этому и стали наиболее богатым орденом, таким богатым, что король решил их уничтожить, чтобы присвоить себе их накопления. Тут есть, над чем подумать, – начинала нервничать Грета, но мальчик в очередной раз отметил, что она говорит по-русски так, словно прожила в России долгие годы.

– Дело всего лишь в том, что миф о тамплиерах хорошо продается. А вообще этот пресловутый списочек – храмовники, Христиан Розенкрейц, Джон Ди, Парацельс, Сен-Жермен... ну, в зубах же навязло, друзья!

– Нисколько не спорю. И позволю себе прибавить, что не следует забывать о дервишах. Нищие суфии слывят... и есть источники, в которых за ними утверждаются магические умения, – низко прозвучал голос человека неопределенного возраста с длинными редеющими волосами, собранными на затылке в косицу, до этого молча занимавшего кресло в углу. – Адепты сего мистического течения учили, что путем самоотречения и аскетических подвигов человек может добиться непосредственного общения с Богом.

– Ну да, достижение просветления путем верчения юлой, – сыронизировал молодой латыш.

Обладатель мягкого баса сделал паузу, глянул на европейца и с улыбкой продолжил:

– Густав Лебон в своей «Истории арабской цивилизации», она есть, кстати, в переводе на русский, доказывает почти исключительную роль арабской культуры в просвещении полуварварской средневековой Европы. Да, как ни удивительно звучит это для кого-то, по его мнению, именно арабам обязана она своим расцветом. Во времена Фирдоуси, Авиценны, Хайяма европейские рыцари часто не владели элементарным чтением и письмом. Монахи, считавшиеся просвещенными, занимались в монастырях переписыванием на латыни богословских текстов, не более. Но пошел арабский интеллектуальный транзит через Испанию, Сицилию, юг Италии, позднее через торговые связи с Венецией и Генуей. Вот она, «эпоха ве-

ликих переводов». В арабском Толедо была, наконец, организована коллегия по масштабному переводу восточных трудов на латынь. С этим трудно спорить. И, кстати, о Розенкрейцерах: в конце XVIII века ими были учреждены новые ответвления организации, одно из них – Орден Азиатских Братьев, созданный представителями Семи церквей в Азии. В этот Орден впервые были приглашены мусульмане и иудеи.

– Смелые утверждения. Но мы отвлеклись от алхимии, – недовольно вставил молодой человек.

– Нам пора, – резко встал и одновременно приподнял за локоть мальчика отец.

– Но, может быть, юноше интересно послушать дальше? – бас звучал мягко и уверенно.

Отец оставил вопрос без ответа и, пропуская сына впереди себя, холодно попрощался и покинул компанию.

– Тебе нечего было делать за столом сегодня. Сначала надо научиться читать научные труды и запоминать из них хоть что-то, а потом позволять себе слушать беседы подкованных в теме взрослых людей. Не устаю поражаться стойкости генетических промахов. Ты не развиваешься. Ты ничего не взял от меня, зато всё от своей покойной матери. Всё, включая женственность! Посмотри на себя, ты, взрослый парень, похож, скорее, на кисейную барышню, чем на мужчину. Где мышцы? Хорошо, не качаешь мускулы, тренируй мозги! Так нет же, твои знания равны нулю! Абсолютному нулю! Что ты по-настоящему знаешь из истории, из естествознания, из философии? Ни-че-го!

Мальчик молчал, как уже привык в такие минуты. Отец распаялся, бледнел, растворялся, и цвет его серо-голубых глаз, становясь все более светлым, тускнея и размываясь. Его почти белые губы кривились в очертаниях обидных, больных слов, которых с определённого момента мальчик уже не слышал. Он только видел движения рта, потерявшего звук, немые корчи, которые желал прекратить и для того закрыл глаза.

Отец не позвал никого на помощь, как и не обратился позже к врачу, он перетащил легкое тело на постель, побрызгал водой лицо, дождался, когда мальчик оправится, и спросил:

– В интернате с тобой такое часто бывало? Почему меня не предупредили об этом? Почему ты сам молчал?

Мальчик хотел было сказать правду, что такое с ним впервые, что прежде он не испытывал ни таких надежд, ни такого страха и потому для обмороков в его привычной подростковой жизни не было поводов, но что он больше всего на свете не желает возвращаться в эту свою бывшую безмятежную, но лишённую обретенной теперь любви жизнь. Ему хотелось броситься к отцу на шею, закричать, как невыразимо много тот для него значит, как важно, как необходимо ему всё, что связано теперь в его жизни с отцом, как не может он себе представить теперь себя без этого удивительного, невероятного человека. Он хотел просить прощения за свой дурацкий, предательский обморок, обещать, что этого больше никогда не повторится, как бы строг и даже резок по отношению к нему ни был отец. Но ему показалось это неуместным, и он лишь пожал плечами, поднимаясь на ноги.

В один из дней на причале возник синий паром по имени Scottish Viking, пока-

завшийся мальчику ниже и проще того, ночного, волшебного, белого. Он рассматривал перекидной настил, по которому двигались внутрь «Викинга» трейлеры, и мощный трос, вцепившийся в чугунный кнехт, и площадь, где стояли в очереди на погрузку остальные фуры... При дневном свете всё было просто, понятно и вызывало грусть. Берлинка Грета подробно рассказала мальчику утром о двух паромах, что заходят в местный порт, и о том, что в свое время она четырнадцать лет жила в Ленинграде, была замужем за русским бизнесменом, но потом они расстались, и она вернулась в Германию к своим взрослым уже дочерям от первого брака. Повела она всё это, не вытягивая в пикантную трубочку губы на каждом «о» и «у», как это делала при отце. Она торопливо угощала подопечного пирожным и персиком, поглядывая на входную дверь, боясь, видимо, не успеть до прихода отца пригласить мальчика к обеду на свой фирменный суп.

– Я передам ваше приглашение папе. Спасибо.

– Да, да, конечно, папе... Но я уж и не знаю, примет ли он моё приглашение... Твой папа – такой... самодостаточный человек, такой... глубокий, и... красивый. Да, красивый. Но, мне кажется, он равнодушен к чьему-либо обществу, во всяком случае, к моему, – расстроилась, поняв свою оплошность, Грета.

Теперь мальчик торопился к обеду, потому что Грета успела пригласить на обед отца, тот согласился, и всё уладилось. В большой общей столовой она весело хозяйничала, играла глазами и что-то щебетала о мечтанном путешествии в Италию.

– Раз собираетесь в Рим, ещё один шедевр Возрождения необходимо увидеть обязательно: в церкви Сан-Агостино, – медленно неся ложку с небольшим количеством супа ко рту, вещал отец. – Многие заходят в эту церковь, чтобы посмотреть «Мадонну пилигримов» Караваджо, более глубокие зрители смотрят, конечно, и Рафаэлевского «Пророка Илию»: шедевр размещен прямо над скульптурой Мадонны с младенцем и святой Анной работы Якопо Сансовино.

Отец нырнул голосом, педалируя на имени:

– И надо посмотреть, что называется, живьем, так как на фото, коих, разумеется, много в интернете, невозможно передать мягкого сияния её простоты. «Мадонна дель Парто»! – пустая ложка аккуратно вплыла в содержимое тарелки. – В народе популярна легенда, что Якопо Сансовино делал свою композицию с изображений матери Нерона Агриппины и самого Нерона в младенчестве, – ложка красиво, под нужным углом, вошла в рот и тут же вернулась пустой, – поэтому туристам, прежде всего это и рассказывают, если вообще подводят к этому шедевр. Но это всего лишь миф, которым развлекают профанов, а ценителей искусства поражает мастерство.

Глаза Греты, изначально поражено распахнутые, направлены были теперь на мальчика, который, проглотив немного супа, сложил руки на коленях и внимательно слушал отца. Ей казалось, что мальчик старательно запоминает каждое его слово, будто ему предстоит сдавать важный и очень сложный экзамен. Вопрос зрел в ней и вырвался тяжело и неуклюже:

– А ваш сын... он видел эту скульптуру?, – Грета повернулась к мальчику, – ты видел эту знаменитую Мадонну с младенцем?

– Мой сын рано лишился матери и воспитывался в специализированном интернате с углубленным изучением нескольких предметов, на который я возлагал

много надежд, однако, – отец приостановился, приложил салфетку поочередно к левому и правому уголкам губ, – я не совсем доволен... В честь его четырнадцатилетия я взял его с собой в эту поездку, в этот милый европейский городок... С чего-то надо начинать...

– Папа, я бы очень хотел увидеть Мадонну с младенцем. – Мальчик резким движением закрыл рот рукой. Но было поздно. Отец поднялся, медленно, будто стараясь делать это бесшумно, приподнял одной рукой стул, отставил его, выпрямился, поднял подбородок и молча покинул столовую. Лишь на секунду замешкался мальчик, чувствуя на себе пораженный взгляд Греты, и поспешил за ледяной спиной отца..

В своих апартаментах отец выкурил ароматную трубку, положив голые локти на широкий подоконник почти квадратного распахнутого в сторону площади окна. Выпуская пушистые струи дыма, он рассматривал церковь святого Николая, пекущуюся на солнце необычно жаркого в Прибалтике лета, её портик с высокими колоннами, треугольник фронтона в классическом стиле и круглую башню, забранную деревянными рамами окон. Сын стоял у стены за спиной отца, чуть правее, и молча ждал назиданий. Он предполагал, что отец может сейчас взорваться, кричать, дойти до прямых оскорблений, но готов был вынести что угодно, только бы оставаться рядом, только бы ничего не менялось. Зной комфортно расположился внутри комнат, разлегся на трехступенчатом ложе, king-size-матрасе, что покоился на массивном постаменте, зной разрастался, и, казалось, потрескивал и дымился. Отцу не мешало это обстоятельство клубиться своими дымами, оставаясь сухим, в своей поджарости и неизменной личной прохладе. Сын любовался им, подтянутым и строгим.

Отец заговорил как-то внезапно, осадив жару, привнеся в нее сухой лед интонаций:

– Я бы хотел вернуться к разговору об алхимии. Нет-нет, не о рыцарских орденах, не об арабских истоках знаний, – все это болтология, высказывания дилетантов, гипотезы, не представляющие лично для меня никакого интереса. Я о другом. Вот, нашел книжицу на развале, репринтное издание, знаешь, на ловца и зверь бежит. Весьма, скажу тебе, интересно. Перевожу на ходу с французского: «Алхимическую эволюцию... можно выразить кратко формулой Solve el Coagula, что означает: анализируй... все элементы... в самом себе, раствори все... низменное в тебе, даже если при этом ты можешь погибнуть, а затем... концентрируйся с помощью энергии, полученной от предыдущей процедуры.» – отец переводил бегло, лишь изредка приостанавливаясь, но не произнося лишних э-э-э или м-м-м, как это делают в таких случаях другие. – Тебе понятно? Я продолжу. «В дополнение к этой... своеобразной символике алхимию... можно рассматривать как образец всех других дел. Она показывает, что добродетели можно культивировать при любых, даже... простейших видах деятельности и что душа... укрепляется, а индивид развивается». Понимаешь ли ты? Возможно и необходимо «культивировать добродетели», то есть развиваться, совершенствоваться. И далее: «Наша работа представляет собой... трансформацию и... превращение одного существа в другое, одной вещи в другую, слабости в силу, телесной природы в духовную». – Было понятно, что отец не в первый раз переводит эту фразу, не в первый раз произносит ее, так уверенно и торжественно звучало утверждение.

Мальчик увидел отца, облаченным в темную мантию перед кафедрой, и тут же – среди реторт в подвальном помещении со сводчатыми потолками, он любовался этим видением, любовался своим отцом-магом и боялся потерять эту иллюзию.

– Конечно, каждый волен трактовать сие по-своему, но с тем, что речь идет об углублении и расширении знаний и умений, ты согласен? – Отец взглянул, наконец, на мальчика.

– Мне кажется, – решил тот ответить, – мне кажется, – он восхищенно глядел в глаза отца, сияющие ясным огнем над мантией, в лицо, которое он видел сейчас сквозь сизые дымы алхимической лаборатории, – что, – мальчик запнулся, потому что монолог отца продолжился:

– Но у тебя есть перед глазами пример. Твой отец начинал с нуля. У него не было достойного примера. Всё сам. Всё трудом и прилежностью. Всё силой воли. Self-made-man. Ты хоть немного понимаешь по-английски?! Тебе известно это выражение? Теперь я знаток в разнообразных сферах, автор многих книг по культурологии... впрочем, о себе более ни слова. Сейчас речь о тебе. Я бы хотел направить тебя на чёткий путь саморазвития, чтобы, когда ты вернешься в интернат, – мальчик замер, – когда ты вернешься в интернат, – повторил отец, – то есть, уже через три недели, ты взялся за ум. Надо не просто хорошо учиться, необходимо каждую минуту тратить разумно. Если ты совершенно равнодушен к физическим занятиям, – мальчик открыл рот, чтобы защититься, сломать недобрый замысел, повернуть ситуацию вспять: рассказать, наконец, отцу об успехах в спортивной гимнастике, о своем тренере, о победах в соревнованиях, о математической олимпиаде, о переписке на английском, но опять не сумел.

– Ладно, не интересна тебе физическая культура, – всё повышал голос отец, – развивайся интеллектуально. Но вот так попусту терять время! Я не понимаю! Хорошо ещё, что у вас там доступ к компьютеру строго ограничен.

Далее мальчик опять почти уже не слышал отца. Не потому что не слушал, а потому что не мог слышать, как ни старался: подтверждение его страхов, потеря главной надежды, ощущение гибели смысла существования обратились в вой, в ропот, в гул, заполнивший его уши, голову, всё его тело, превращённое теперь в мощный резонатор, приспособленный трудолюбиво усиливать звук, и казалось, этот грохот прорывается через поры его организма в комнату и распространяется дальше, сквозь стены – на площадь, в улицы, до реки, которая вынуждена нести его к морю. Этот полновесный вопль боли был поддержан криком чаек, надсадным, похожим теперь на лай мелких, многочисленных собак.

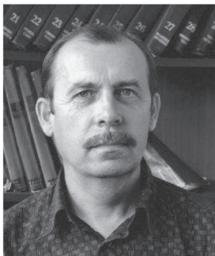
Потом наступила тишина.

Без семи минут девять каждое воскресенье городской звонарь поднимается на самый верх церкви святого Николая, в круглую башенку, хранящую внутри себя колокол, чей крепкий спокойный баритон пару веков неизменно поет для города, и распаивает окна на все стороны. Ставни стары, поскрипывают, белая краска отшелушивается под рукой. Звонарь прячет голову в круглые наушники для предохранения от сильного звука и спускается несколькими пролетами ниже, к веревкам – продолжению колоколового языка.

В это утро в девять ноль-ноль мальчик шагнул в церковь и шмыгнул направо к лестнице. Кто-то из прихожан глянул ему вслед, но не обеспокоился, решив, что

это сын звонаря. Как ни торопился, мальчик задержался на ступеньках, сосредоточил внимание на изображении Христа в противоположном конце, сияясь рассмотреть черты лица Спасителя, но так и не сумел этого сделать, – Иисус запрокинул мокрые кудри, только сизые грудь и бедра опять поразили объемностью. Считая удары колокола, мальчик двигался ближе к гудению, тяжелому, бесконечному. Кажется, он уже насчитал 100 ударов, но, все еще продолжая подъем, боковым зрением схватил, теперь уже ниже себя, звонаря в наушниках, тот в слепом упоении качал язык колокола, мотался, слившись с ним через веревку всем сухим, жилистым организмом. Мальчик приостановился на миг, вдохнул переполненного звуком воздуха, двинулся выше. На последней площадке перегнулся через перила, глянул вниз и встретился, наконец, с глазами Иисуса, глядевшего вверх со стены. Теперь голова оказалась на первом плане: только отсюда, с высоты, можно было познать силу этого взгляда, только здесь открывалась тайна ракурса. Теперь взгляд Бога был направлен прямо на него, к нему были обращены эти чуть сведенные брови, тень улыбки, нежный подбородок, впалые щеки, лучики морщинок в уголках век. Страдание и радость выражал этот живой лик, направивший всю силу взора на мальчика, и тот ускорил шаги – на самый верх, в башню, в грохот, в вой, втиснулся внутрь, сел на подоконник разверстого в небо окна. Он знал заранее: по периметру площадки вокруг башни – невысокое металлическое ограждение, выкрашенное в черный цвет, вот оно, совсем рядом. Ограда не примыкает к краю крыши, есть отступ. Мальчик перекидывает ноги через ограду: одна ступня на краю крыши, другая, руки за спиной вцепились в металлическую перекладину. Далеко внизу, вопреки привычной пустоте города – воскресная группа людей – туристы и экскурсовод в прямоугольнике жаркой тени под стенами Дома писателей; в распахнутом наружу окне второго этажа внутри терракота черепичного ската – курящий трубку отец прищурился, наверное, от солнца; ниже – цветы на продолговатых клумбах, (отец называл их имена, сын запомнил: свечи пушистых голубых колокольцев – дельфиниумы); из высокой деревянной двери, (мальчику кажется, что он слышит, как она скрипнула) выходят добрая Грета и тот, с косицей, что говорит мягким басом и знает, наверное, больше отца. За ними, но сразу из двери свернув в противоположную сторону, скачет молодой латыш. Грета не отрывает глаз от своего собеседника, что-то щебечет, вытягивая трубочкой губы, с ее пути грузно поднимается чайка и уходит вверх – в колокольный рокот.

Мальчик отпускает руки и летит. Вниз.



Дмитрий ВОРОНИН

## ИЛЬИЧ

На городской свалке Ильич появился поздней осенью. Высокий, сутулый старик в тёмно-коричневом драповом пальто, шапке-ушанке и в ботинках на толстой подошве медленно брёл среди зловонных завалов, шуруудя перед собой сучковатой надтреснутой палкой.

– Чего ищешь, дед? – обнажил в приветливой улыбке полубеззубый рот низкорослый мужичок в истрепанной грязной фуфайке. – Скажи, может, чего присоветую.

– Так это... Вот, – засмутился, остановившись, старик, – бутылки пустые ищю.

– Бутылки? – нахмурился мужичок, подозрительно оглядывая новоявленного конкурента. – А чего это тебя на свалку занесло, в городе, что ли, бутылок уже не осталось?

– Не могу я в городе, – нервно сжал свой посох старик.

– Стесняешься... – понимающе усмехнулся бомж. – Звать-то тебя как?

– Степан Ильич.

– Ильич, значит... Ну, а меня Витьком когда-то нарекли, а тут все Солнышком кличут, – протянул грязную ладонь Ильичу мужичок.

Старик с опаской подал навстречу дрожащую руку.

– Ты вот что, дед... Ты это, держись возле меня, тогда и при таре будешь, и не тронет никто, – снисходительно ощерился Солнышко. – Тут у нас конкуренция ещё та, чужих особо не жалуют и побить могут запросто.

– Побить? За что?

– А то, – захихикал Солнышко, радуясь удивлению Ильича, – за дело. Я ж говорю, у нас новеньких не любят, лишний рот – лишние заботы. Вот ты, к примеру, явился сюда и думаешь, будто тут эти бутылки на каждом шагу разбросаны. А сколько в твоей сумке их, ответь?

– Одну пока нашел только.

– Правильно, одну. Ну, может, ещё одну найдешь или две, и всё.

– Как – всё?

– А то. Ты, верно, думал, что здесь бутылки только для тебя одного и валяются, так ведь?

– Ну, не знаю...

– Ага, так, – довольно вскинул голову Солнышко. – А тут нет ничего, ищи не ищи.

– Что, вообще?

– Ну, если ты экскаватор, то найдешь.

– Так их чего, не привозят сюда? – вконец расстроился Ильич.

– Привозят.

– Чего ж ты мне тогда голову морочишь?

– Так когда их привозят, таким, как ты, возле них места нет.  
– Это почему? – покраснел от обиды Ильич.  
– Я ж говорил, у нас чужих не любят, побьют.  
– Мне чего, назад уходить, ты на это намекаешь?  
– Да нет, дед, ты мне понравился, – ободряюще хлопнул Ильича по плечу Солнышко. – А со мной тебя не тронут. Пошли.

– Куда?

– Познакомлю тебя со своей бригадой.

Умело лавируя между кучами гниющего мусора, Солнышко вывел старика на небольшую ровную площадку посреди свалки. Площадка была наполнена фанерными ящиками, картонными коробками, какими-то уродливыми строениями, напоминающими то ли огромные собачьи будки, то ли дровяники, то ли складские сарайчики. Возле этих построек, местами обтянутых полуистлевшим брезентом, копошились люди, одетые в грязное рваньё.

– Кого ещё притащил? – выкатилось навстречу Солнышку бесформенное толстое существо непонятного пола в рваном солдатском бушлате. – Чего ему тут надо?

– Не заводись, Софочка, не заводись, красавица, – раскинул руки Солнышко, загораживая собой Ильича от неласковой бабы. – Хорошего вот мужика встретил, подумал, тебе жених знатный, ну и привел познакомиться. А ты сразу кидаться, как пантера какая. Что о тебе интеллигентный человек подумает, а? Подумает, кавой-то мне Солнышко подсунуть хочет, обещал красу ненаглядную, а на самом деле – гарпия натуральная.

– Балабол дурной, чтоб тебя!.. – под общий смех растянула в улыбке гнилой рот Софочка. – Тоже мне, нашел жениха, пенька старого, – и, махнув рукой, миролюбиво обратилась к Ильичу: – Что, дед, из дома выгнали?

– Выгнали, выгнали, – опередил старика Солнышко. – По себе знаешь, какие нынче детки пошли, не тебя одну на улицу выкинули, вот и Ильича тоже.

– Из-за квартиры?

– Из-за неё, из-за чего ж ещё, – продолжал отвечать за деда Солнышко.

– И идти больше не к кому?

– А то б он сюда пришел!..

– Слушай, Солнышко, – нахмурилась Софочка, – чего ты за деда распинаешься, пусть сам говорит, или он немой?

– А ты себя вспомни, когда из квартиры вышвырнули, много ль слов у тебя было?

– И то верно, – вытащила из кармана бушлата «Приму» Софочка, – я тогда с месяц как пришибленная была, всё молчала. Никак до меня не доходило, кто что балакает, про чего спрашивают. Хорошо, сюда добрые люди привели, так тут только и отошла. Счас уж и не вернулась бы назад, что б ни сулили.

– Да... – философски протянул Солнышко. – Жизнь – она, конечно, не подарок. Вот так живёшь-живёшь, вроде чего-то добился, вроде и хорошо тебе, как вдруг бах! – и в один момент всё кувырком, всё с ног на голову, будто снег среди жаркого лета.

– Сложно оно всё, это ясно. Видать, на роду у людей так написано, – подтвердила значительную мысль Софочка и повернулась к Ильичу. – А ты, дед, в Бога веришь?

Ильич вздрогнул от неожиданного вопроса, хотел было уже ответить, но Солнышко вновь оказался проворнее.

– Верит, Софочка, верит.

– Это хорошо, – довольно закивала Софочка, – без веры сейчас нельзя, а то так и свихнуться можно.

– Что это ты тут про меня такого наплел, – недовольно спросил Ильич, – и бездомный я, и верующий?

– А чё, надо было похвастать, что у тебя особняк в трёх уровнях и ты помощник Жириновского, а бутылки сюда так пришел собирать, для коллекции? – с издевкой прищурился Солнышко.

– Вообще-то дома у меня и впрямь нет, – сник старик, присев на грязный продавленный диван возле покосившейся постройки.

– Ясно дело, – согласно кивнул Солнышко, восприняв заявление Ильича как само собой разумеющийся факт.

– Вот только сын меня из него не выгонял, – продолжил начатое откровение Ильич, – сын меня попросту забыл. Как вышел лет двадцать в большие начальники, так и забыл, и меня, и мать – жену мою. Жена-то померла два года назад, так он и на похороны не явился, хоть и сообщали. У нас трёхкомнатная квартира была. Пока с женой пенсию получали, хватало за квартиру платить, а как жены не стало, задолжал я. Вот и решил трёхкомнатную продать, а себе однокомнатную купить. Чёрт меня дернул по объявлению, через посредника делать, хотел побольше денег получить, а в итоге оказался на улице без гроша, и не докажешь ничего.

Солнышко открыл было рот, но Ильич предупредил его.

– И не спрашивай, что и как, даже вспоминать не хочу. Жив остался – и то слава богу. Лето мыкался по знакомым да так, где придётся.

– А к сыну? – встрял всё-таки Солнышко.

– Нет его. Для меня он мертв, раз даже мать свою схоронить не сподобился, – ударил, как обрубил, по разбитому дивану Ильич. – И всё, хватит об этом.

– Ну, а в милицию, собес?

– Где только не был, документы мои вместе с квартирой накрылись, а без них я кто? Никто! Тля я без бумажек этих...

– Это точно, – понимающе подтвердил Солнышко, – по себе знаю. У наших, что тут живут, почти у всех так. И что ты дальше думаешь?

– Не знаю, сдохну, наверное, в эту зиму.

– Ты вот что, оставайся у нас. Тут и с голоду не умрешь, и выпить всегда найдется, да и крыша над головой какая-никакая.

Так Ильич и прижился на свалке. С утра на промысел – то бутылки собирать, мыть, сдавать, то продукты выброшенные сортировать, продавать то металл, то запчасти. Да мало ли чего на свалку выкинут. Зимой Ильич с Солнышком худо-бедно прокантовались, а по весне, когда уже теплом пахнуло, простудился Ильич на сквозняке, в горячке промучился недели две и помер однажды под утро.

– Отстрадался, сердечный, – вздохнула Софочка и повернулась к Солнышку. – Что делать со стариком-то будем? Сообщить в милицию от греха подальше, пожалуй, надо бы. Может, родственники какие объявятся. У него документы-то есть? Посмотрел бы по карманам...

– Да нет у него ничего, слямзили документы. И родственников нет, сын только. Так он даже мать не схоронил, а Ильича и подавно не будет.

– А ты всё ж проверь, может, какая бумага и завалялась.

Солнышко нехотя стал шарить в карманах стариковской одежды. Проверил

пальто, принялся за пиджак и вдруг за подкладкой, напротив сердца, нащупал какой-то свёрточек. Он суетливо надорвал подклад, отцепил от булавок мешочек, прикрепленный к пиджаку, и, вспоров его, вывалил содержимое на фанерный ящик.

– Ни черта себе! – так и ахнула Софочка.

На ящике поблескивала кучка орденов и медалей. Солнышко, волнуясь, принялся сортировать награды.

– Орден Славы, два ордена Красной Звезды, орден Ленина, Отечественной двух степеней, медаль «За отвагу»... Зови мужиков!

Через несколько минут все обитатели «жилой площадки» собрались возле Солнышкиного сарайчика.

– А Ильич-то геройский мужик был, – уважительно перешептывались они. – Это ж надо столько наград заслужить!

– Да-а... Кем же он на фронте был?

– Кем бы ни был, но то, что герой из героев, это точно.

– Что делать-то будем? Надо бы властям сообщить, такого человека с почестями хоронить полагается.

– А может, продать ордена? Они ведь бабок больших стоят!

– Я вам продам, я вам сообщу! – возмущенно задохнулся Солнышко. – Если такой человек при жизни властям не нужен был, то после смерти и подавно. Сунут в общую могилу, а ордена запарят и продадут. Мы его сами похороним.

– Где, на свалке, что ли? – хихикнул кто-то.

– За свалкой, в роще. Пусть у нас будет своя могила героя, свой неизвестный солдат.

– Правильно, Солнышко, – заплакала вдруг Софочка. – Ильич душевный старик был, да ещё и герой, уж я-то за его могилой каждый день присматривать стану.

– А награды куда денем?

– А награды вместе с ним схороним, – строго ответил Солнышко. – И кто на ордена, не дай бог, позарится, тому не жить. Понятно?

– С этим-то понятно, вопрос в другом. Могилу-то не скроешь, обнаружат ее – надругаться могут.

– Я это уже продумал. Мы не станем делать настоящую могилу – холмик там, крест, оградка. Мы Ильича под липой похороним. Помните, в роще, на полянке?

– Ну.

– Похороним и кострище на том месте разведём, чтоб знать, где точно лежит. Чужим невдомек, а мы приходите будем, поминать. Костёр разведём – и Ильичу тепло, и нам благодно.

Весь день население «жилой площадки» с энтузиазмом готовилось к погребению Ильича. Сколотили гроб из досок от ящиков, обтянули его чёрным материалом, завалившимся у одного из обитателей свалки. Софочка Ильича обмыла, переодела в чистое бельё из своих запасов, Солнышко укрепил на его груди награды, и вечером, когда стемнело, траурная процессия двинулась к выкопанной могиле. Гроб опустили в яму, быстренько засыпали землёй, тщательно притоптали и тут же на скорбном месте развели костёр.

– За Ильича, – поднял кружку с суррогатом Солнышко. – Пусть земля ему будет пухом, – и выпил содержимое до дна.

– За героя! – застучали друг о дружку остальные кружки...



Каринэ АСЕНОВА

## КОЕ-ЧТО О СОБАКАХ

*Моим четвероногим друзьям посвящается*

### ДВОРНЯГА РЕКС

Начну с того, что своей жизнью я обязан собаке. Землетрясение не редкость в наших предгорных краях, и хотя к ним трудно привыкнуть, моя семья, как правило, мало реагировала на предупреждения и толчки, которые проходили в нашем районе с пугающим постоянством. Наш небольшой глинобитный дом, который стоял у берега бурной горной речки, мало чем отличался от таких же соседних домов. В конце сороковых здесь уже почти никого не осталось – все постройки унес сель, который зародился на языке тающего ледника, и с сокрушающей силой унес последние их оставшихся.

Начало первый толчков, как правило, сопровождается гулом земли. Однако из-за шума реки, так привычного слуху здесь живущих, его никто не услышал кроме живности. Куры металась из стороны в сторону, пытаясь найти лазейку в своих загонах, птицы на деревьях истошно кричали, пытаясь унести уже подросших, но еще не ставших на крыло, птенцов. Но никто из взрослых на это не обратил внимания, даже на то, что наша большая дворовая собака Рекс, как правило, вальяжно растянувшаяся около своей будки, рвалась с цепи и истошно лаяла на кого-то.

События следующих минут, со слов очевидцев, начали разворачиваться стремительно – Рекс срывается с места, прыгает в открытую дверь дома, хватая спелёнатого ребенка, и бросается наружу. В этот момент крыша дома рушится, погребив под собой моих родителей и двух старших братьев. Затем последовал еще более сильный толчок, который навсегда оставил руины некогда крепкого строения.

Никто и не заметил, как собака затащила меня в свою будку. И только потом соседи начали в пыли и саманных кирпичах отыскивать тех, кто мог спастись. Рекс долго не давал никому приблизиться, огрызаясь и рыча. И только потом они поняли, что так он охранял меня. Оттащив в сторону испуганную собаку, они извлекли кричащее дитя.

БУРАН,

восточно-европейская овчарка

Так звали мою первую собаку, которую я помню. Это был большой сильный кобель, оставленный моим отцом, в те времена заводчиком и руководителем породы в клубе собаководства. Его принесла красивая черная восточно-европейская овчарка Гетера, привезенная им из Риги. Элитные крови, редкая масть. Но что я тогда понимал в собаках? Для меня Буран был теплым и веселым псом с большим

красным языком, который нередко слюнявил мне лицо. Толстые лапы и упругие мышцы обещали стать и выносливость. Мы росли вместе. Однако его возмужание шло быстрее моего – вскоре он стал годовалым кобелем, а я все еще оставался ребенком пяти лет. Буран достиг своей собачей зрелости и теперь ревниво опекал меня. Его игры стали для меня небезопасны, и папа решил посадить пса на цепь.

К счастью, мое детство пришлось на ту пору, когда мы не знали страха и опасностей, обрекающих современных детей на постоянный надзор взрослых. Все близлежащие кварталы, сады и огороды были нашими – мы знали каждый арык и бугорок, впадину в асфальте и дырку в заборе соседнего сада. Не было зазорно сорвать еще зеленое яблоко, или съесть чуть покрасневшую черешню. Дети, что с нас возьмешь.. Наша улица казалась мне тогда длинной и просторной. Обсаженная пирамидальными белоствольными тополями, она особенно сияла с солнечные дни. Эти деревья почти не имели коры, и потому зеркалами отражали солнечные лучи.

Мои прогулки по этой улице были настолько привычными, что когда я однажды отправился к другу, ничто не предвещало беды. Мне знакомы были здешние заборы и закоулки. Но то ли я не нашел дома, то ли дуваны были высокие и скрыли его, я заблудился. Стало уже по вечернему прохладно.

Деревья отбрасывали длинные тени и создавали причудливые фигуры,двигающиеся на асфальте от ветра, который шумел листвой, трепетал и ерошил мне волосы. Все это только добавляло ужаса, которого я ни раньше, ни потом не испытывал. Кажется, я плакал – то ли от испуга, то ли от ожидания неотвратимости наказания.

Вдруг из-за угла выскочило нечто огромных размеров, и понеслось прямо на меня. Оно не издавало ни звука, только громко дышало, а мне казалось это рыком. Его уши были плотно прижаты к голове, шерсть отливала на свету серо-стальным цветом.

В потемках я сначала не узнал Бурана. Он чуть не сбил меня с ног, и начал буквально кругами от радости ходить вокруг. Потом я увидел отца – он почти плакал, то ли шлепая меня, то ли отряхивая. При этом он торопливо проговаривал слова, все время повторяя одну и ту же фразу «Господи, нашли». Счастье было так велико, что я уже не боялся наказания, понимая, что самое большое счастье – это то, что у нас есть собака, которая нашла меня. И отец. Больше я старался его не расстраивать.

Буран прожил у нас счастливую собачью жизнь, выиграв выставки и оставив после себя такое же красивое и умное потомство. Некоторые из них были взяты на службу на границу. Я этим очень гордился.

РАМОНА,  
итальянский мастифф  
вальяжная с пышными формами и томным взглядом,  
или несколько слов о любви

Кажется, мы влюбились одновременно – я и мой четвероногий друг. Беспечно гуляя по аллее парка, обнюхивая небольшие кочки и ставя метки на больших стволах деревьев, Кеша, английский сеттер, все больше уходил в дебри заросшего кустарника. Именно здесь он приходил в состояние тревоги и азарта, свойственного исконно собачьему инстинкту охотника. Его мышцы становились упругими, а тело гибким и послушным – куда девалась та вальяжность и лень, когда он не-

спешно и, кажется, не очень охотно выходил в наш двор и почти с брезгливой усмешкой, обходил привычные ему места. Нет, это был другой пес – ухо, казалось, вращалось вокруг своей оси и становилось одним органом с носом, горизонталь хвоста свидетельствовала о напряженности сознания, и все тело готово было к прыжку. Догнать, повалить, прижать к земле. А дальше будь что будет. Так мы уходили все дальше и дальше. Я едва успевал за ним, увлекаясь его игрой. Он то замирал, и тогда принимал «охотничью позу» – слегка приподнимая правую переднюю лапу – словно готовился тут же в прыжке настигнуть зверя, то вновь уходил с порывом ветра, приносящего ему запах, подгоняя к только ему понятной цели.

И вдруг мои Иннокентий застыл, стал как-то странно принюхиваться и, кажется, расплылась в неопределенной улыбке. Да, это был тот запах, который перебывал все запахи леса – запах Прекрасной Незнакомки, призывно привлекающий к себе всех особей мужского пола. Ему подчиняется и стар и млад, маленький и большой, породистый и дворовый пес – все туда! Быстрее, догнать, схватиться в кровавой битве и победить, предаться вождеденной любви или умереть в борьбе. Другого не дано. И тут, хозяин, не зевай.

Мы встретили их почти одновременно – большую дородную Рамону – мастино-неаполитано, и не менее прекрасную ее хозяйку Маргариту. Ну, конечно, как же иначе могли звать ее, кроме как Маргарита – возлюбленная Фауста, девушка, носящая библейское имя. Да, это была она, моя Любовь, поразившая меня как упавший с дерева сук, больно кольнувший в сердце настолько, что кажется, на мгновение я даже потерял сознание. Что это? Неужели и меня коснулось это чудо, или это только зов Природы, вскрывающий ток крови и обнажая рану любви? Ведь еще секунду ничего не было, я просто и спокойно гулял, медленно ворочая мыслями и ногами почти одновременно. И вдруг – уже тогда, в эту секунду, когда все это произошло, я точно знал, это Она – слегка зарумянившееся от скорой ходьбы лицо, почти бледное к вискам, сине-серые жемчужные глаза с живой искрой и розово-бледный изгиб губ, выражающий улыбку. Да, она тогда тоже, кажется, поняла не случайность нашего первого свидания и была поражена не меньше меня.

Когда говорят гормоны – слова бессильны. Никто не сделал ни шага, хотя собаки потянулись друг к другу куда быстрее нас.

Теперь мы шли в одну сторону не спеша, говоря конечно же, о собаках, рассказывая друг другу были и небылицы, смешно подхватывая тему другого.

Это была сладостная минута, в которую теперь уже органично вписывались весенний гомон птиц и теплые порывы ветра, наполненные соловьиными трелями, запахами едва распускающихся почек вербы – предвестника Пасхи, с которой и начались наша любовь.

Рассказать о любви – задача не из легких. В ее сюжетах нет счастливых концов, но всегда есть место мечте о возлюбленной, томлению души и плоти, счастью обладания после долгой разлуки, запаху ее волос, кожи, дыхания. Мелодия ее голоса, который узнаешь через многие годы, трепет и покалывание на кончиках пальцев, когда касаешься ее тела. Говорить о любви – пустое занятие, ибо тот, кто когда-то испытал ее – навсегда пронесет это воспоминание, тот же, кому не довелось встретить – не поймет.

Это чувство, теперь я точно знаю, селится в тебе навсегда, а воспоминания спасают от многих бед.

«Не бойся любви, она никуда не уходит». И хотя моя любовь рассыпалась как лепестки увядшей розы, теперь я знаю точно, что в этом мы отличаемся от животных, познавая ее как люди, наделенные душой и разумом.

Ее удел не только связь двух полов во имя продолжения рода, но в большей степени, ощущения полноты человеческого жизни.

Однако в обществе породистых собак свои законы, которые не позволяют вольнолюбивым, или того паче, вступать в сомнительные связи. Мой молодой и полный сил пес, всего этого не знал и теперь впал в такую тоску и депрессию, что, казалось, его может спасти только чудо. Он перестал есть и почти не пил, ему больше не доставляли удовольствия моё дружелюбное почесывание за ухом, или поглаживания брюха – запредельный жест особого доверия собаки. Теперь он почти все время проводил у входной двери, носом в щель, вдыхая струю воздуха и надеясь хоть еще раз уловить тот вожденный аромат. Было очевидно, что пес стал взрослым.

КАПЕС,

что означает «Корабельный пес»

матрос Солёный

Вскоре моя жизнь круто повернулась в сторону моря, хотя этот пункт назначения в моих мечтах даже не значился. Честно сказать, я даже боялся воды, а тем более в таком количестве. Мы жили в предгорье Ала-Тау, где реки, текущие с гор, были бурными и полноводными только в первой половине лета. Потом они становились ручейками, да и те, в жаркую погоду разносились по огородам по арыкам и наскоро сделанным отводам.

Теперь эта вода окружала меня везде. Она сияла и бурлила, изводила шумом и восхищала стихией, непредсказуемостью и фантастическими пейзажами.

Не знаю, кем это заведено на Балтике, но когда судно надолго уходит в море, на нем заводят пса. Почти всех их звали «Солёный», наверное, вторя запаху и особому привкусу морской воды. Его жизнь на судне началась практически вместе с фактом рождения – в порту всегда много собак, разных мастей и калибров. Многие из них, так и найдя заботливых рук и дома, проводят около судов достаточно сытую и безбедную жизнь, обласканные матросами и живущими неподалеку детьми, а иногда счастливы заботой о себе и своем потомстве.

Не потерявший щенячьего очарования, Солёный был беспородным подкидышем с ушами разного окраса и белой грудкой. Его увалистая походка и взгляд, будто исподлобья, говорили о непросто́м характере дворового пса и недоверчивости, что вскоре обещало стать главными сторожевыми чертами. Но пока наш Солёный были смешным, покладистым и обожающим поестъ щенком. Команда приняла его сразу.

Он быстро познал все закоулки судна, обнюхивая и понимая где хорошо пахнет едой. Его мало привлекали машинное отделение с его смачным запахом гари и мазута. Верхняя палуба стала особенно любимым местом. Не трудно было приучить его и к туалету, который оборудовали на корме в углу за причальными тумбами. Пришлось на время убрать и коврики из кают-компани. Он быстро рос, привыкая к распорядку рыболовного судна – знал, что на палубу нельзя во время путины и выборки трала, нельзя выходить в шторм, нельзя заходить в каюту старпома и капитана – их владения были неприкасаемы.

Соленый любил выходить на берег, где мы с ним надолго уходили в безлюдные места, и бродили по берегу. Он то насакивал на волну, смешно хватая ртом пену, то смело уходил вглубь за брошенной палкой. Твердая почва под лапами была куда более приятной вечно качающейся палубы. Прибегая к разного рода хитростям и уловкам в поисках чего-нибудь интересного, всякий раз приносил и бросал к моим ногам добычу.

Наверное, неуместно применить к собаке понятие «романтик», но он был именно таким псом. Мы подолгу любовались вечерним закатом, принимая участие в особом ритуале всех, кто любит море. «Sunset» – посадить солнце, словно вторя моему состоянию, он также терпеливо смотрел на закатывающееся за горизонт солнце. Я ждал заветного зеленого луча, если повезет, такое особое атмосферное явление. Последний луч солнца, пронзающий горизонт и уходящий за кромку моря. Казалось, он соединял нас с теми, кто также пристально всматривался за горизонт в поисках знакомого флага, и вслушивался в шум моря, ожидая гортанных трубных звуков пароходного гудка, присущего только нам. Казалось, этот луч обещал нам радость скорой встречи в том далеком порту, где каждого из нас ждали.

Однако, наш рейс подходил к концу, и Соленого надо было определять «к месту приписки». Теперь нас обоих ждали дома.

## ЮТА

императорская собачка,  
дама неопределенного возраста

Этот пекинес, точнее пекинесиха, была единственной сучкой в моей жизни. И это был мой выбор – кабели мне были ближе и понятнее, с ними не надо было связываться в сложные периоды рождения и выхаживания щенков. С Ютой же мы познакомились, когда она уже пережила этот возраст в другой семье, и потому нам оставалось с ней одно – стареть вместе, ибо ее возраст в девять лет был равен моим шестидесяти трем, согласно принятым параллелям.

Знакомство было непростым – она почти три дня рычала и не давала себя гладить. Вот только одно меня и спасло – слова «поводок» и «гулять» стали в нашем понимании друг друга ключевыми. Нас увлекали долгие неспешные прогулки, что было не свойственно природе пекинеса – коротким лапам, приземистости, длинной шерсти «в пол» и пышного хвоста.

Она шла всегда медленно и останавливалась, когда кто-либо шел рядом. Особенно не привечала мужчин – смотрела ему в глаза, словно боялась агрессии, а если он подходил к нам сзади и был одет в тяжелую обувь, то всегда рычала, издавая почуяв от него запах алкоголя. Наверное, эти навыки и черты ее характера были сформированы раньше, в другой ее жизни, которую мне так и не рассказали прежние хозяева, бегло намекнув, что из-за этих специфических черт ее и решили отдать в семью, где нет пьющих мужчин и маленьких детей.

Тем не менее, она оказалась настоящей собакой-компаньоном, заветным словом в нашем лексиконе стало «гулять», из-за которого она могла расстаться с только что полученной говяжьей косточкой.

Истинное наслаждение она получала от поездок на море – мы подолгу шли по кромке воды, готовились в променаду, заранее прихорашиваясь и потом лоя вос-

хищенные взгляды таких же как и мы праздно гуляющих и греющихся в первых лучах весеннего солнца.

Юта, как и я, особенно любила бывать на море, не боясь сидеть на носу моей лодки, на полном ходу обдуваемая ветром и брызгами воды. Ее будто подменяли, когда она видела тихую заводь и слушала призывный лягушачий вопль, бесстрашно прыгая за ними по широким листьям кувшинок, и даже иногда подныривая под них. Теперь если скажут, что пекинес – подушечная собака – не верьте, она настоящий охотничий пес.

Она многому научила меня – природа не знает чувства стыдливости. К нам почти одновременно прошли недомогания – она подолгу не выходила из своей корзины, не стеснялась, когда не могла дожидаться прогулки, громко храпела под моей кроватью. Это была уже глубоко пожилая собака...

Скорая пришла на редкость быстро. Люди в синих комбинезонах уверенно вошли в открытые двери и громко говорили. Юта отчаянно лаяла, выглядывая из-за столика. Но к ней мало кто прислушивался. Она первая забила тревогу, никого не подпуская к дивану, на котором я лежал, изредка поскуливая и пытаюсь лизнуть упавшую с дивана руку. Но врачи отогнали собаку и проворно делали свое дело – они кололи и ставили капельницы, вслушиваясь в биение сердца через фонендоскоп, проверяли пульс в местах, где проходили артерии, чувствуя его неровный слабый тон.

Погода с утра не задалась – март бесновался и не хотел уходить – дождь сменял мокрый снег, усиливаясь порывами ветра. Однако все пришло как и должно – зарозовел Восток, а потом и вовсе стало светло и как-то повеселело. Но всего этого мне не суждено было видеть. Наверное, труднее было бы расстаться с Землей, когда на ней бурно и громкогласно идет пробуждение, и каждое живое существо возрождается вместе с Пасхой.

На следующий день Юта ушла и больше ее никто не видел.

Сергей ГРИШКОВ

## АРЛЕКИНО

Главы из повести

\* \* \*

Команда добровольцев отправилась на английское судно. На «Джассоне» заканчивались последние приготовления к выходу в море. Арлекино назначили третьим штурманом, и он осваивался на новом месте, присматриваясь к капитану-англичанину и его старпому. По палубе сновали матросы разных национальностей и разных цветов кожи.

«Джассон» стоял в порту, готовый в любую минуту выйти в море. Капитан «Джассона» дожидался ненастья. При ясном небе и спокойном море судно могло стать прекрасной мишенью для немецких подводных лодок. Когда, наконец, заштурмило – он приказал отдать швартовы и взять курс на Абердин.

С каждым часом шторм усиливался. Пароход сильно болтало – килевая качка сменялась бортовой, волны накатывались с разных сторон, сталкиваясь друг с другом. Это была так называемая «мёртвая зыбь» – сущее наказание для моряков. Вскоре добрая половина команды повисла на леерах, отдавая морю недавний ужин... Заметив удивлённый взгляд Арлекино, капитан развёл руками и пояснил, что экипаж, в основном, набран из безработных и далёких от моря людей. Посочувствовав капитану, Арлекино потянулся за картой, и в этот момент судно содрогнулось. Кубарем покатались вахтенные. Арлекино подбросило в воздух. Он упал, ударился головой. Когда очнулся – на мостике никого не было, а судно сильно кренилось. Арлекино выбрался на палубу. «Джассон» еле держался на плаву, носовая часть уже ушла под воду. В сумерках едва различались удаляющиеся шлюпки с матросами... Времени на размышления не оставалось, и Арлекино прыгнул за борт. Ледяная вода Северного моря обожгла тело и сбила дыхание.

Штормовой ветер вздымал высокие валы и обрушивал потоки студеной воды. Задыхаясь в пенных брызгах, Арлекино силился разглядеть шлюпки.

Он наткнулся на покорёженную взрывом трюмную лючину и ухватился за неё. Внезапно темноту прорезал луч прожектора субмарины. Заскользив по волнам, он высветил уходящий под воду «Джассон» и остановился на шлюпках. Раздалась пулёмётная очередь, и одна лодка пошла ко дну. Луч переместился, вновь застрочил пулёмёт. Ещё одна шлюпка пошла ко дну, потом еще и ещё... Последнюю шлюпку топить не стали. Подлодка неспешно приблизилась к ней, и сквозь штормовой рев до Арлекино донеслись обрывки немецкой речи.

Взлетая на гребне волны, он видел, как под ярким светом на палубу загнали и выстроили в шеренгу матросов с «Джассона». Вновь ударил пулёмёт, и тела повалились в море. Прожектор заскользил по волнам и, ослепив Арлекино, остановился на нём. Он зажмурился и начал прощаться с жизнью... Через несколько минут к нему подплыла шлюпка, и под угрожающее:

– Los, los! Komm jetzt schnell! Treckigeschwein! – Арлекино выдернули из воды. Удар прикладом, – и он оказался на дне шлюпки. Тяжёлый сапог наступил ему на живот... Потом его перетасили в тускло освещённое нутро подводной лодки. Прежде чем за спиной с грохотом закрылась клинкетная дверь, он успел заметить в сумраке клетушки ещё двух пленников...

\* \* \*

В полной темноте Арлекино коснулся ближайшего собрата по несчастью и хрипло спросил:

– Эй, браток! Русский?..

– No, compranepas!

– Are you French?

– French... No english ...

– Понятно, с тобой не поговоришь по душам... Ну, а приятель твой?

Арлекино потормошил второго... Тот оказался бельгийцем и английский язык тоже не понимал. Незадача...

Прошло около суток. О них, казалось, забыли. Лодка то всплывала, и тогда начиналась сильная качка, грохотал дизель, заряжая аккумуляторы, – то снова погружалась. Время тянулось бесконечно. Пленники пребывали в полуобморочном состоянии, – недаром говорили: потопление в северных морях практически всегда заканчивается сумасшедшим домом для выживших...

Хотелось есть. Арлекино пошарил по карманам и обнаружил слипшуюся шоколадку. В темноте, на ощупь, он аккуратно разделил ее на три части. Каждому досталось по маленькому кусочку.

Вибрация корпуса лодки стихла, и вскоре пол стал слегка покачиваться.

– Los! Los! Schnell! – с грохотом распахнулась дверь, и троих пленников, толкая карабинами, погнали по отсекам с круглыми люками до центрального, к рубочно-му трапу наверх. Арлекино глотнул пьянящую свежесть ветра, и у него закружилась голова...

– Halt! – конвоиры приказали не двигаться с места. Для убедительности каждому пленнику дали прикладом по плечу.

Арлекино осмотрелся... Место, куда их доставили, он узнал – это было устье Эльбы. Он бывал здесь, еще во время практики они ходили сюда на паруснике. Сквозь облака скупно проглядывало солнце, накрапывал мелкий дождик. Под ногами постанывал сырой деревянный настил длинного причала, рядом покачивалась светло-серая сигара субмарины. Из подъехавшего грузовика спрыгнули немецкие матросы и, перегрузив в подлодку ящики, быстро уехали. Приняв груз, субмарина отошла от причала и направилась в море. Прибыл взвод автоматчиков во главе с офицером и выстроился вдоль причала.

«Их что, по наши души вызвали? Но зачем так далеко надо было нас тащить, чтобы расстрелять? Тогда почему нас держат здесь и никуда не ведут? Неужели...» Арлекино вспомнил сумасшедшего, которого видел в Саут-Шилдсе. Нацисты ставили на нем опыты. Каким-то чудом ему удалось сбежать из лаборатории, но он так и остался идиотом. «Не для таких ли опытов и нас заготовили?»

Большой катер стремительно вылетел из тумана и, сбавляя обороты, подошел к причалу. С его борта ловко спрыгнул матрос и набросил швартовый конец на чугунный кнехт. Завёл на катер сходни. По ним степенно спустились два офицера

с кожаными портфелями в руках. Командир взвода, вытянувшись по струнке, отдал команду и приветственно вскинул руку. Обменявшись парой коротких фраз, прибывшие офицеры в сопровождении автоматчиков по длинному причалу направились на берег. Пленники остались на пристани под охраной двух конвоиров. Совсем близко на малых оборотах тархтел катер. На мостике, переминаясь с ноги на ногу, стоял офицер с рыцарским крестом на шее и время от времени брезгливо поглядывал на пленников.

Посмеиваясь, конвоиры закурили... Особенно их потешала нелепая кривоногая фигура Арлекино... Один из них направил на моряка дуло автомата и произнёс международное:

– Пуф-пуф!

Второй охранник глумливо изобразил петлю вокруг шеи...

«Да понятно – не на блины позвали... А катерок-то знатный»... – подумал Арлекино – «Здесь двое. На катере офицер и матрос. Внутри наверняка еще немцы... Как бы своим намекнуть?»

Арлекино скосил глаза на бельгийца и француза; те стояли сгорбленные, понурые, лица в кровоподтёках, одежда в лохмотьях...

«Ребята, похоже, крепкие. Надо рискнуть»...

Жестами Арлекино попросил у конвоиров закурить. От удара кованого сапога в живот он согнулся и со стоном повалился. Охранники захохотали... Продолжая корчиться, Арлекино осматривался – на причале кроме них никого не было. Он напряженно и выразительно посмотрел на француза. Затем его красноречивый взгляд переместился на бельгийца. После он кивнул на катер и уже вопросительно посмотрел на своих товарищей. В глазах француза и бельгийца вначале мелькнуло недоумение, сменившееся сомнением, но уже через секунду Арлекино прочитал в них ответную решимость. Он с трудом поднялся.

Офицер на мостике катера стоял к ним спиной... Напряжение достигло предела. Вот сейчас! Вперёд!

В прыжке Арлекино уложил одного из автоматчиков ударом кулака. Француз и бельгиец навалились на второго. Вырвав автоматы у оглушённых солдат, вся троица пульей влетела на катер. Арлекино бросился на мостик, двое других – вниз, в салон. Распахнув дверь, русский моряк сбил с ног офицера, ударив его автоматом по голове, когда тот уже доставал из кобуры «Вальтер»... Из каюты выскочил бельгиец и, спрыгнув на пристань, сбросил концы с кнехтов. Вскакивая на борт катера, он махнул рукой.

Арлекино дал «полный вперёд». Взревел двигатель... Утопив корму в белых бурунах, и задрал носовую часть с начертанной на ней свастикой, катер на секунду замер... А затем, сорвавшись с места, помчался в открытое море. На берегу завывала сирена...

– Погибать так с музыкой! – крикнул Арлекино и крепче сжал руль...

С берега открыли стрельбу. Пули зацокали по корпусу. Тенькнув, на мелкие осколки разлетелось боковое стекло на мостике... Пригибаясь, Арлекино маневрировал, сбивая прицел стреляющих по катеру. Впереди – полоса тумана, она совсем близко, но до неё ещё надо добраться. Все ближе и ближе, наконец, беглецы исчезли в тумане...

Бельгиец с французом поднялись на мостик. Страх сменился возбужденным восторгом. С ликующими воплями они обнимали своего капитана, похлопывали друг друга по плечу...

– Тише, идиоты! Опрокинемся к чёрту!.. Катер на полном ходу! – проорал Арлекино. Похоже, пришла пора познакомиться поближе...

– Арлекино! – ткнул он себя в грудь.

– Жан! – в горделивом поклоне представился бельгиец.

– Жак! – сияя от счастья, крикнул француз...

– Порядок! Слушайте, черти, мою команду! Жаль – не понимаете ни хрена... Курс на Англию! Скорость пятнадцать узлов... Скоро будем на месте, если конечно, горючки хватит...

Жак жестами объяснил, что внизу двое связанных немцев. Сбавив обороты двигателя, Арлекино передал руль французам и вместе с Жаном отволол с капитанского мостика оглушённого офицера вниз к остальным пленникам. В салоне катера было тепло. Обшарив шкафы, они нашли сухое добротное бельё. Подмигнув Жану, Арлекино сбросил с себя мокрые лохмотья. Натянул кальсоны и рубашку, а затем стал стаскивать форму с офицера. Тот пришёл в себя и стал отбиваться, но, получив короткий удар, снова отключился. Арлекино надел на себя офицерскую форму и вложил «Вальтер» в кобуру португали. Нацепил на шею крест.

– Ну что тарачишься? – спросил он бельгийца. – Что, если нарвёмся на немцев? Так у нас хоть какой-то шанс будет прорваться. Промычим что-нибудь на глухо-немецком и одетые в их одежды, проскочим! Балда, не понимаешь... Как тебе объяснить?

Арлекино потыкал пальцем в сторону пленных, а затем в сторону моря, и сделал страшные глаза... Бельгиец, наконец, сообразил и, кивнув в ответ, стал развязывать пленников. Под дулом автомата заставил их раздеться и сам облачился в немецкую форму. Взглянув на переодетого Жана, Арлекино дурашливо рявкнул:

– Гитлер капут!

Жан заржал в ответ:

– Капут!

Посмеиваясь, они вернулись к мостику и распахнули дверь... В этот момент, увидев двух «гитлеровцев», француз бросил штурвал и нажал на курок автомата. Катер, потеряв управление, резко качнулся, спасая жизнь вошедшим – пули просвистели у них над головой... Все трое кубарем покатались по полу. Арлекино сумел перехватить автомат и врезал пару крепких ударов Жаку, получив хороший ответный удар в глаз. Отчаянно матерясь, он с трудом отнял автомат у французам и бросился к штурвалу, выравнивать ход прыгающего по волнам катера. Жан придавил Жака и стал что-то орать ему на ухо...

– Merde noir! Terrible! – выругался он и покрутил пальцем у виска.

– Действительно, глупейшая история: чуть друг дружку не укокошили за здорово живёшь!..

В густом тумане, практически вслепую, по волнам Северного моря к берегам Англии стремительно летел захваченный отчаянными моряками вражеский катер с развевающимся фашистским флагом...

\* \* \*

Туман держался сутки... Ночью катер на полном ходу едва не протаранил борт возникшего на его пути корабля. Принадлежность судна была непонятна и Арлекино предпочёл убраться от него подальше. С наступлением рассвета туман рассеялся. Ясная погода – не лучший союзник в побеге... Потянулись часы тревожного ожидания. Враждебно было всё: и подводное царство, и надводное, и воздух... Наконец, показалось Восточное побережье Англии. Жан и Жак на радостях принялись отплясывать джигу.

– Погодите ребята! Дело ещё не сделано! – пробормотал Арлекино, вглядываясь в берег. – Потом станцую...

С берега в воздух взмыла и зависла над морем красная ракета. Справа по борту с грохотом взвился водяной столб, по корпусу застучали пули.

– Опаньки! Добро пожаловать к союзничкам! Полундра! Выкидывайте белый флаг! – проорал Арлекино оцепеневшим морякам – А-а-а! Бестолочи! – он рванул штаны и подёргал себя за белые подштанники. Первым сообразил Жак и побежал в каюту. Он вернулся с охапкой кальсон. Моряки отчаянно замахали бельём в сторону берега. Арлекино продолжал лавировать между разрывами снарядов береговой артиллерии. От пуль разлетелось лобовое стекло, и ледяной ветер солёными брызгами ударил в лицо, разъедая воспалённые глаза. Огонь прекратился, когда до берега оставалось совсем немного, не больше кабельтова... Арлекино направил катер на отлогую песчаную косу. Метров за двадцать он заглушил двигатель, и катер, шурша корпусом по песку, выбросился на берег.

– Финита ля комедия! – выдохнул Жак, утирая лицо подштанниками. Жан стонал... Пуля пробила ему предплечье, он истекал кровью. Арлекино разорвал кальсоны и перевязал ему руку, а выше раны наложил давящую повязку. Жан был без сознания, но кровотечение остановилось. С берега раздалась английская речь, усиленная рупором:

– Hands up! Getout!

Размахивая над головой кальсонами, Арлекино вместе с французом спрыгнул на берег... Солдаты береговой охраны с оружием наперевес окружили их, а офицер достал из кобуры Арлекино «Вальтер».

\* \* \*

В кабинете, куда доставили Арлекино и Жака, находились два офицера. Вооружённые солдаты встали за спиной задержанных. Молодой лейтенант что-то писал. Пожилой полковник серебряной ложечкой степенно помешивал чай в фарфоровой чашке.

– Понимаете по-английски? – спросил старший, окинув холодными бесцветными глазами стоящих перед ним пленников в военной форме.

– Да... – ответил Арлекино. – Я сейчас всё объясню!..

– Полагаете, в ваших объяснениях есть надобность? – задумчиво спросил полковник и с сарказмом добавил – Поздравляю вас, господа, с прибытием в Англию! Вы, вероятно, застудились в дороге, но не переживайте! Горячий приём вам гарантирован! Лейтенант! – обратился он к молодому офицеру – Капитана Салливана ко мне со взводом солдат!..

Закрутилась ручка полевого телефона, и в трубку был отдан приказ командира...

– Выслушайте меня сэр! Позвольте, я вам всё объясню!

– Нет, это я вам всё объясню! Я бы не взял на себя труд разговаривать с вами, но вы нас позабавили... По нашим агентурным данным вы должны были высидеть три дня назад. Мы вас ждали, но, признаться, не в таком виде. До вас все лазутчики прикидывались рыбаками, а вы явились под свастикой, при полном параде. Что это?! Акция устрашения? Или у вашего командования разум помутился?

– Да выслушайте вы меня! Мы не немцы и уж, тем более, не фашисты. Я – советский моряк. Он – француз, а раненый – бельгиец. Мы бежали из плена на захваченном немецком катере. Там в каюте трое связанных немцев. Наша одежда пришла в негодность, и нам надо было переодеться в сухое. Кроме немецкой формы на катере не было другой одежды. Мы вынуждены были надеть её. Да и вероятность встречи с противником была слишком велика. Вот и пришлось устроить этот маскарад...

– Говорите, в плен попали?

– Три дня назад наш пароход «Джассон» затонул, его торпедировала немецкая подлодка недалеко от Саут-Шилдса. В живых остался только я. Меня подобрала немцы и бросили в эту подлодку. Бельгиец и француз уже были там. Как они туда попали, я не знаю. А потом мы втроём бежали...

– Прекрасно! Русский моряк с английского корабля с бельгийцем и французом из немецкой подлодки являются к нам на катере под свастикой в фашистской форме, с белым флагом в виде подштанников... И в этот бред вы предлагаете мне поверить?... Капитан Салливан! Расстрелять этих клоунов!

– Господин полковник! – торопливо заговорил Арлекино. – Месяц назад меня едва не расстрелял капитан корвета Френсис О'Нил. Он тоже шпионов ловил, но разобрался... В этот раз, я понимаю, наше положение хуже некуда. Нашим расстрелом прикроете свою драгоценную задницу. А не расстреляете – у Вас будут неприятности от Вашего командования за то, что прошили вражеский десант. Но ответьте по совести, Вам нужна награда, залитая кровью мирных моряков, к тому же союзников? Прошу Вас, свяжитесь с Саут-Шилдсом, с капитаном «Ветлуги» – там меня все знают.

Полковник внимательно посмотрел на Арлекино...

– Я, прежде всего, английский офицер. Я проверю вашу информацию. Но не надейтесь – от нас Вам удрать не удастся!.. Под арест их! Впредь до дальнейших распоряжений... Глаз не спускать!

С резким звуком стальная дверь каземата захлопнулась за спинами беглецов. Арлекино облегчённо выдохнул и рухнул на арестантскую койку.

\* \* \*

Английский полковник выяснил всё. Через неделю Арлекино был уже на «Ветлуге». Ремонт был завершён и, в сопровождении английских боевых кораблей, судно вышло из Саут-Шилдса, взяв курс на Нью-Йорк. Отремонтированная старушка хорошо и уверенно держалась на своем месте в караване.

Но уже на следующий день конвой был обнаружен немецкой авиацией и корабли сопровождения открыли огонь по атакующим. Атака «Юнкерсов» достигла своей цели, один корабль начал тонуть. Бомба взорвалась и рядом с «Ветлугой», нескольких матросов, в том числе Арлекино, выбросило за борт. С боевого разво-

рота самолёты на бреющем полёте сбрасывали смертоносный груз и направлялись на восток. Стараниями зенитчиков один из «Юнкерсов» был подбит, задымился и, завалившись на крыло, рухнул в Атлантику. Но Арлекино этого не увидел среди дыма и грохота орудий. Кормовая часть торпедированного судна стала погружаться в воду...

Вокруг, поддерживаясь на спасательных поясах, плавали живые и мёртвые матросы. Союзники приступили к спасению моряков: между двумя военными кораблями была растянута сеть, и начался отлов утопающих. Но скорость была слишком велика, и операция по спасению превратилась в кошмар. Мгновенно образовывался клубок тел, моряки захлёбывались, не успевая выбраться на поверхность. Когда сеть-убийца приблизилась к Арлекино, он скинул спасательный пояс и, набрав побольше воздуха, встретил удар, вцепившись в её ячейки. Перебирая сетку, он добрался до нижнего края, а потом с другой стороны наружу. Удалось! Его подняли на борт эсминца и передали на «Ветлугу». Дальнейший путь через Атлантику прошёл спокойно, и наступил день, когда «Ветлуга» ошвартовалась в порту Нью-Йорка.

\* \* \*

Вернулся капитан и с тревогой посмотрел на приборы, а затем в окно, на волны, перекатывающиеся через низко сидящую главную палубу. Его рука легла на ручку машинного телеграфа. Судно сбавило ход. Сразу заметно стихли яростные удары волн и вибрация. Зная взрывной характер капитана, Арлекино молча наблюдал за его действиями. Гогинов сосредоточенно прислушался к корабельным шумам. По его худому резко очерченному лицу заходили желваки, брови сдвинулись, смуглый лоб прорезала вертикальная морщина. Его рука вновь легла на телеграф и решительно перевела его на «полный вперед».

– Телеграф не трогать! – хмуро приказал капитан и вышел.

Арлекино, хватаясь руками за поручни, добрался до штурманской рубки. Стараясь удержать равновесие, отметил на карте счислимую точку нахождения корабля. Записал в черновом журнале очередные координаты 46 градусов 30 минут Северной широты и 179 градусов 30 минут Западной долготы. Поставил дату и время: 17 февраля 14.30. По кораблю пронёсся долгий, сжимающий душу стон и вдруг раздался оглушительный грохот и скрежет разрываемого металла. Из ходовой рубки донеслись нервные звуки сигнализации:

Главная машина вышла из строя!

Гирокомпас вышел из строя!

Судовая связь вышла из строя!

Сигнализация смолкла. Палуба в штурманской рубке резко накренилась. Арлекино покатился к кормовой переборке. Вода смешанная с мазутом хлынула в рубку и начала быстро затопливать помещение. Арлекино бросился на выход и дёрнул ручку двери. Дверь заклинило. Вода поднялась до уровня подбородка. Арлекино бросил дёргать ручку и, оттолкнувшись от переборки, подплыл к стойке магнитного компаса. Задыхаясь, он принялся откручивать массивный девиационный шар, но руки бесполезно заскользили по покрытому мазутом металлу. Арлекино сбросил мокрый ватник и, накинув его на шар, отвернул от прибора. Орудя шаром, как кувалдой, Арлекино вышиб дверь и выбрался на крыло мостика. Там,

на открытом пространстве, заливаемые водой, ухватились за поручни четверо моряков: капитан, два радиста и матрос Вощевоз. Арлекино взглянул на корму. Кормовая половина судна, погрузившись местом разлома в воду, быстро уходила в сторону. Из разорванного главного паропровода хлестал раскалённый пар, из труб вываливались загустевшие от мороза чёрные потоки мазута. Волна полностью накрыла крыло мостика и потащила Арлекино за собой. В последний момент он почувствовал, что кто-то крепко схватил его за руку. Когда пенный поток схлынул, Арлекино встретился с пустыми глазами капитана. Его фуражка улетела в океан, обнажив седую голову. Капитан помог Арлекино уцепиться за поручень.

– SOS успели подать? – неживым голосом спросил капитан у перепачканных мазутом радистов.

– Нет.

Волна вновь затопила накренившиеся крыло мостика...

– Кто ещё выбрался? – крикнул Арлекино сквозь рёв разбушевавшейся стихии.

– Никто... – крикнул в ответ вахтенный матрос Вощевоз.

Линия разлома прошла сразу за средней надстройкой. Все находившиеся на её нижних уровнях матросы захлебнулись в первые секунды катастрофы. Все одиннадцать человек... Средняя надстройка, на правом крыле которой спасались моряки, под непрекращающимися ударами волн начала расшатываться. Нос обломка танкера задирался всё выше.

– Здесь оставаться нельзя! – крикнул Арлекино. – Надо перейти на полубак, в подшкиперскую! Одному из нас надо пробраться туда и передать на крыло выброску!

– Разрешите я пойду, товарищ капитан! – крикнул матрос Вощевоз.

– Нет! – отрешённо ответил капитан. – Трап снесло... Спуститься отсюда на переходный мостик невозможно. Поэтому первым пойду я...

– Не слышу! Я скоро подам выброску! – крикнул Вощевоз и быстро перелез через фальшборт крыла.

– Назад! – в бешенстве заорал капитан.

Все перегнулись через ограждение. Матрос ловко сполз по наклонённой надстройке и спрыгнул на переходный мостик. Раньше, когда судно лежало ровно, можно было бы пробежаться по переходному мостику до полубака, а с него спуститься на главную палубу, но сейчас приходилось карабкаться вверх, как по лестнице и... Волна настигла юного моряка и унесла с собой в открытый океан. В пене мелькнули только руки и ноги. Эта же волна затопила крыло мостика и, когда она схлынула, все увидели серое лицо капитана, искажённое гримасой боли. Держась за грудь, он медленно оседал по переборке.

– Ребята! Держите капитана! Я пойду... – крикнул Арлекино.

Он перегнулся через поручень и принялся считать волны. Вот пошла большая! Арлекино спрятался... Когда вода ушла с крыла мостика, снова высунулся. За ней пошли восемь волн поменьше. В коротких промежутках между ними переходный мостик возле средней надстройки был свободен от воды. «Надо дождаться большой волны и сразу бежать после неё, тогда есть шанс»... – подумал Арлекино.

Когда ушла большая волна, Арлекино перелез через ограждение. Цепляясь за выступы надстройки, он спустился на переходный мостик и полез наверх, к подшкиперской, считая волны.

«Шестая... Седьмая... Восьмая! Стоп! Сейчас пойдёт большая!!!»

Арлекино крепко вцепился в поручень и принял на себя удар большой волны... Когда волна прошла через крыло мостика, Арлекино оглянулся и увидел полные надеждой лица товарищей. Моряки что-то кричали ему, но невозможно было разобрать ни единого слова из-за пронзительного воя ветра и гула океана. Арлекино ободряюще поднял крепко сжатый кулак.

– Держитесь ребята... Я скоро...– прошептал он и полез выше. Цепляясь онемевшими от холода пальцами за обледенелые ячейки настила переходного мостика и упираясь ногами в стойки поручней, Арлекино добрался до грот-мачты. Он остановился, переводя дыхание и стараясь унять частое сердцебиение. Тридцать метров позади. А ещё десять метров до полубака. А по нему ещё надо добраться до трапа и спуститься на главную палубу. Там, в торце полубака – заветная дверь в подшкиперскую. Взглянув направо, Арлекино замер... С высоты он увидел то, чего не могли видеть его товарищи, оставшиеся далеко внизу: к обломку корабля стремительно приближалась волна исполинских размеров. Почти вертикальная стена, масляно поблескивая, подходила всё ближе и ближе. Ураганный ветер срывал тонны воды с её загнутого гребня и с победным воем уносил прочь.

«Хана...» – подумал Арлекино, намертво вцепившись в поручни мостика. Внизу живота ухнуло, когда обломок корабля щепкой взлетел к её вершине. А там на танкер яростно обрушился тяжкий гребень волны-убийцы. В бурлящей толще воды Арлекино почувствовал, как ноги ушли вверх. Уши заложило от давления, грохота и скрежета металла. Волна принялась разгибать пальцы Арлекино. И вот уже правая рука соскочила с поручня, но тут же вцепилась в другой поручень, рядом с левой рукой. Обломок танкера пробкой вылетел на поверхность. Потоки воды сорвали Арлекино, и он рухнул на главную палубу. Пока моряка стремительно несло к левому борту, он лихорадочно пытался за что-нибудь ухватиться: успел заметить бортовые леера и вцепился в них за мгновение до удара головой о фальшборт. Вспыхнул яркий свет, он потерял сознание...

Через двое суток Арлекино пришёл в себя и открыл глаза. В голове звенело и тошнота подступала к горлу. Взгляд остановился на ногах, босых и чёрных от мазута, примёрзших к палубе.

«Ботинки... Где мои ботинки?.. Почему я не могу пошевелиться?»

– А-а-а... Братцы! Помогите... – еле слышно прохрипел Арлекино и дёрнул ногой. Крошки наледи с хрустом рассыпались, и нога отделилась от палубы.

Арлекино дёрнул другой ногой, освобождая её из ледяного плена.

«Почему голова не двигается?.. Примёрзла...»

Стиснув зубы, Арлекино рванул головой, оставляя на палубе волосы. Затем посмотрел вверх и увидел посиневшие, сведенные судорогой кулаки, сжимающие леера. «Это мои руки? Я совсем их не чувствую...»

Он попробовал пошевелиться и пододвинуться к фальшборту. Ему удалось слегка согнуть руки в локтях. Оставалось только разжать кулаки, но их словно сковало. «Молоточком бы обстучать...» – пронеслось в голове.

– Братцы! Эй!.. Где вы?

Снова никто не откликнулся.

– Я здесь! – Арлекино орал уже в полную глотку.

«Не слышат...»

Он поёрзал и сполз ниже. Извиваясь и отчаянно матерясь от боли, Арлекино принялся бить босыми ногами по левой руке, сбивая с неё лёд. Рука с трудом отцепилась от леера и безжизненно упала, – одеревеневшая, будто чужая...

– Эй! Ты мне нужна! – зло обратился Арлекино к руке, как к родному, но предающему его существу. Болезненно закололо пальцы – к ним медленно возвращалась чувствительность. Сжимая и разжимая кулак, всё ещё продолжая висеть на правой руке, он подумал: «Так-то лучше». Арлекино принялся освобождать другую руку. Но едва она отцепилась, справа что-то хрустнуло и трубы, на которые он до сих пор опирался боком эти двое суток, отлетели в сторону. Моряк стремительно покатился вниз по наклонной ледяной палубе. Ударившись грудью о палубный обух, Арлекино успел ухватиться чувствующей рукой за леер. Изпод разодранной ладони, сжимающей трос, потекли струйки крови. И тут он вспомнил:

«Я же шёл за выброской! Надо быстрее подать выброску!»

Арлекино бросил взгляд в сторону средней надстройки и оцепенел... Ее не было! Главная палуба с развороченными остатками переходного мостика под углом в 45 градусов уходила в океан...

Он не сразу пришёл в себя. Надо было что-то делать, – оставаться на месте – верная гибель. Только подшкиперская могла дать шанс на спасение... Арлекино собрался с силами и пополз вверх по качающейся обледенелой палубе, отчаянно цепляясь за горловины танков, обухи и искореженные остатки переходного мостика. Ему удалось добраться до искалеченной волной грот-мачты. Поверженная, она свисала с правого борта и скребла по нему, издавая жалобные стоны... Уже не помня себя, Арлекино достиг уровня вентиляционной колонны сухогрузного трюма и обняв эту выкрашенную белой краской железную трубу, собрался с силами и уселся на неё. В метре от моряка находилась заветная дверь в подшкиперскую. Он дотянулся и повернул нижнюю задрайку двери. Оставалась верхняя, но её можно было достать только в броске всем телом. Этот бросок мог стать для него последним. «Если не успею ухватиться за верхнюю задрайку, покачусь вниз по ледяной горке прямо в океан...»

Арлекино отогнал эту мысль и, держась руками за нижний замок, осторожно забрался босыми ногами на скользкую колонну. Он немного посидел на корточках, готовясь к рывку. И вдруг отчётливо понял, что даже если получится открыть верхний замок, то нависающая над ним тяжёлая дверь распахнётся и сбросит его вниз. От безысходности Арлекино чуть не заплакал – ценой невероятных усилий он добрался до своей цели, а открывать дверь нельзя...

Решение проблемы пришло само собой, поразив своей простотой.

Арлекино закрыл нижний замок, ринулся к верхней задрайке и повис на ней всей тяжестью тела. Рука успела схватить её, но тут же поползла к краю обледенелой ручки... Когда осталось до него совсем чуть, замок открылся. Арлекино схватился двумя руками за нижний рычаг и снова уселся на вентиляционную колонну, как на бревно. Пригнув голову под защиту комингса, он открыл дверь в подшкиперскую. Та резко распахнулась, ударив его по руке так сильно, что моряк едва удержал равновесие.

Путь был свободен! Арлекино вполз в хозяйство боцмана, всей грудью вдыхая терпкий запах просмоленных канатов.

Там, среди горы свалившихся со своих мест инструментов, тросов и канатов,

он нашел несколько полушубков. Стащив с себя мокрую одежду, завернулся в них и впал в тяжелое забытье... Очнулся Арлекино от боли, голода и жажды... Сквозь дверной проём проникал хмурый дневной свет. Ломило всё тело, кружилась голова, а перед глазами плясали противные зелёные мушки. Он попытался повернуться на бок, и его стошнило. Когда стало немного легче, Арлекино увидел на ближайшем «вешале» под потолком несколько готовых, пропитанных свинцовым суриком, плетёных выбросок... Измученная память притупила воспоминания о том, как он карабкался вверх под ураганным ветром по обледенелому переходному мостику вздёрнутого к небу качающегося обломка судна... Как с хрипом вырывался из лёгких воздух, как кровоточили ободранные пальцы...

В голове стучало по нарастающей: «Не успел, не успел... Надо быстрее! Быстрее!». Арлекино впал в спасительное небытие...

Потом сознание снова вернулось. Его тошнило, но уже без рвоты... Он огляделся: прямо перед ним спускались якорные цепи, уходящие в узкую щель канатного ящика. По бортам тянулись два яруса пустых стеллажей... Раньше там аккуратными рядами стояли навигационные и ручные фонари, лежал такелажный материал – скобы и концевые проушины для заделки тросов, всевозможные болты, гайки и талрепы всех размеров. Там всегда можно было найти блоки для стальных и растительных – из пеньки и сизаля, тросов; инструменты для такелажных работ – свайки, иглы, ключи, различные молотки: и простые, и острые – «скрябки» для очистки ржавчины, и деревянные – «мушкели» для тросовых работ, великое множество иных мелочей, без которых невозможно вести палубное хозяйство. Под потолком на стальных «вешалах» всё ещё качались выброски, мотки растительных тросов и крупные грузовые блоки. Все бухты с канатами различных диаметров и разных типов свивки, начиная от толстых швартовных и заканчивая тонкими линиями для лотов, лагов и подъёма флагов, сползли по палубе подшкиперской, вместе с плетёнными кранцами, бочонками с сухим свинцовым суриком, жидким стеклом и мешками с цементом. Всё это сгрудилось возле двери в одну беспорядочную гору. На вершине этой горы лежал еле живой моряк...

Придя в себя, он исследовал доступное ему пространство. Нашёл морской ручной фонарь и холщёвую робу. Арлекино оделся в неё, пошарил по карманам своих брошенных брюк, закоченевших от мороза.

– Есть! – обрадовался моряк и вытащил зажигалку «Зиппо», тисненую изображением девушки с развевающимися волосами.

– Ну, давай, красотка! Хотя ты и искупалась вместе со мной, не подведи... – прошептал Арлекино и неловко раскрыл негнушимися пальцами зажигалку.

Он долго чиркал зажигалкой, пока не загорелся маленький огонёк. Вскоре в его убежище появился настоящий свет. Арлекино обнял ладонями тёплый стеклянный шар, засмотрелся на ровный язычок пламени...

Вскоре он продолжил свои поиски в слабой надежде найти воду что-нибудь из еды, но ничего не нашёл. Нестерпимо болело все тело. Арлекино туго обмотал тряпьём грудь со сломанными рёбрами – боль немного отступила... Из кучи вещей он выдернул резиновые сапоги самого большого размера и, намотав на обмороженные ноги что-то подобное портянкам, обулся.

«Что делать?» – тревожно стучала в мозгу единственная мысль. Если плотик не сорвало... Там, в аварийном запасе есть всё – и еда, и вода!»

Арлекино кинул несколько выбросок на трап, ведущий с главной палубы на полубак, отдёргнув их в нужный момент назад таким образом, чтобы они обмотались вокруг железной ступеньки. Обвязался сам и, закрепив страховку, по выброскам добрался до трапа. Поднялся на палубу полубака...

На вздёрнутой к небу носовой части танкера, сразу за платформой, на которой раньше стояла пятидюймовая пушка, хорошо были видны ростры с единственным уцелевшим спасательным плотом. Но как туда добраться? До плота еще метров десять... Верхняя часть обледенелого обломка сильно раскачивалась под ударами штормовых волн. С тоской моряк посмотрел на океан. Вокруг – только вода. Чистый горизонт... Отчаявшись, Арлекино вполз обратно в подшкиперскую и привалился к груди полушубков.

«Какое сегодня число? Не помню... Солнце опять высоко, значит всё это случилось вчера... А вчера какое было число? Не помню... Надо отмечать дни...» – он нашёл большой гвоздь и процарапал на двери подшкиперской неровную отметину.

«Положеньице дрянь... Но по сравнению с прошлым, я сказочно богат! Хоть и на обломке, но всё же не в ледяной воде, а в тулупе и даже в сапогах. Вот только голова гудит. Так... Без еды человек может прожить месяц, без воды – неделю. Но это не про меня... В таком состоянии я и до завтра не дотяну... Я должен что-то придумать, должен!» – с такими мыслями Арлекино заснул.

Проснулся он от необъяснимого страха. Открыв глаза, он увидел у себя на груди толстую чёрную крысу. Крыса внимательно глядывалась ему в лицо. Заорав от ужаса, Арлекино откинул в сторону тулуп и, обливаясь потом, присел. Крыса с пронзительным писком кувыркнулась в воздухе и, шмякнувшись о палубу, убежала наверх за канатный ящик, прихрамывая на левую заднюю лапку.

«Вот же мерзость...» – подумал Арлекино. Припомнились жуткие рассказы об отгрызенных крысами ушах и носах спящих людей.

«Сколько их тут? Рано или поздно они нападут на меня и сожрут. Могут ещё живого сожрать... Спать нельзя... Просто так я не сдамся!»

Арлекино подобрал мушкель. Зажав в руке этот деревянный молоток он приготовился отбивать атаку крыс.

Время прошло, и моряк снова увидел черную тварь. На этот раз крыса наблюдала за ним из-за канатного ящика.

– Вот я тебе! – Арлекино погрозил ей мушкелем.

Крыса повернулась и не спеша скрылась в темноте за канатным ящиком.

«Наверное к форпику побежала... Форпик! Ну как это вылетело у меня из головы? Это же запасной танк с питьевой водой! И до него не больше четырех метров. Надо добраться до его горловины! На четыре метра меня должно хватить... Открою танк, и у меня будет много воды!».

Арлекино лихорадочно отыскал гаечные ключи и собрал тросы. Одним концом обвязался сам и, закрепив его для страховки, другой конец перекинул через рым с большим кольцом. С трудом подтягиваясь и цепенея от боли, как закливание, твердил:

– Сейчас, сейчас... Старпом не должен был забыть про форпик. Он точно закачал его по самые не балуй...

То, что он обнаружил, едва его не прикончило... Горловина форпика с запасом пресной воды была завалена грудой тяжёлого десятидюймового манильского кана-

та... Эти толстые швартовы примёрзли к железу и сдвинуть их было невозможно. В исступлении, упираясь спиной в перегородку, Арлекино принялся пинать ногами этого серого удава... После двух часов мучительных усилий канат отделился, открыв взору овальную крышку, закреплённую через резиновую прокладку двадцатью четырьмя двухдюймовыми обледенелыми болтами. Обессиленный, он припал ухом к крышке и, облизывая сухим языком растрескавшиеся губы, слушал чудесные звуки переливающейся внутри резервуара питьевой воды... Ухо примёрзло к железу и застыло. Оставляя кожу на люке, Арлекино поднял голову. Ключи не подошли, и моряк выпустил их из рук. Беспольный инструмент с грохотом покатился вниз по наклонной палубе подкиперской. С отчаянием Арлекино смотрел на огромные болты, понимая, что никогда не сможет их открутить... Он долго сидел, отрешенно глядя в одну точку. Но, собравшись с силами, стиснул зубы и ударил себя по щеке.

– Я отверну эти чёртовы болты! Спокойно... Что мы имеем? Обломок торчит форштевнем вверх, форпик наклонён... Если он залит полностью, то вода там под небольшим давлением... Мне достаточно немного приотдать болты, и вода сама потечёт, – просипел он, и медленно спустился по скользкой горке обратно, отыскал среди инструментов десятикилограммовый «газовый» ключ. Не доверяя своим рукам – верёвкой привязал его к поясу и засунул за пазуху.

– Сейчас я похож на самоубийцу. Решил утопиться! Ха!.. Грузик привязал, чтобы сразу на дно... – мрачно пробормотал Арлекино.

С частыми передышками он снова пополз наверх...

Добравшись до люка, крепко привязал себя линем и приступил к работе. Обстучал лёд с первого болта, но, как ни старался, открутить его не мог. Теряя силы, с небольшими перерывами на отдых, упрямо давил на ключ. Газовый ключ то и дело выпадал из обессиленных рук Арлекино и повисал на веревке. И всякий раз он хвалил себя за предусмотрительность. После нескольких часов изнурительного труда, болт со скрежетом поддался... Арлекино долго собирался с силами, прежде чем приступить к следующему.

«Эк, меня развезло-то...» – думал он – «Тут работы на пару минут... Ладно, потом будем жалеть себя. Надо дело делать».

Почти сутки ушли на то, чтобы немного ослабить все болты, но вода так и не полилась из-под крышки люка... Арлекино упорно продолжал свое дело: ещё сутки, умирая от жажды, он отворачивал обмороженными руками эти ненавистные болты... Накатывались галлюцинации: то чистая вода упругими фонтанчиками била из-под крышки, а он её пил, пил... То он стоял по грудь в чудесном горном озере, и ему прямо на голову струился водопад... И опять пил, пил... Или, как сейчас, – он как будто открутил последний болт, сдвинул в сторону крышку и, свесившись в горловину форпика, окунулся в воду с головой и вдруг стал задыхаться и кашлять...

Арлекино отпрянул от воды, больно ударившись головой о железо.

– Господи! Я всё-таки добрался! – просипел он и, перегнувшись через комингс, снова принялся жадно пить. Счастье разливалось в нём с каждым глотком стоялой воды. Остановиться не было сил...

– Всё, хватит! – приказал он себе и подался назад в полном изнеможении. Отдышался... Придвинув на место крышку, спустился в убежище и, рухнув на грудь полушубков, закрыл глаза, но заснуть не смог. Боль и голод взялись за дело... В

воображении замелькали жареные куры, картошка со шкварками, чёрный хлеб с корочкой, натёртой чесноком.

«Я так голоден, что готов съесть всё что угодно! Хоть хромую крысу».

Арлекино удивился, что эта мысль не вызвала в нём отвращения. Более того, он понял, что иного выхода у него не осталось.

«Крыса – это тот же кролик, только маленький. Вот только хвост... А я и не буду его есть! И голову не буду, и кишки не буду... Съем только ножки и мясо с рёбрышек!» – судорожно слатывая слюну, убеждал он сам себя.

Перебрав варианты предстоящей охоты, Арлекино остановился на самом надёжном. Возле канатного ящика, там где всегда появлялась крыса, он приладил к «вешалу» грузовой блок и перекинул через него линь. К нему привязал мешок с цементом и поднял его в воздух. Рядом с лежанкой к болту на переборке завязал линь на морской узел. Достаточно было потянуть за кончик веревки, чтобы мешок упал...

Арлекино долго ждал, но крыса не появлялась. Наконец он задремал, а когда очнулся, то увидел её. Крыса сидела на подвешенном мешке с цементом и глумливо рассматривала лежащего Арлекино.

– Тварь! – прошептал голодный Арлекино и пополз к ней с мушкетем в руке. Крыса ловко спрыгнула на палубу и, прихрамывая, убежала наверх.

С трудом успокоившись, Арлекино вернулся на свою лежанку и подумал:

«Как она туда забралась? Может по линю, пока я спал? Непонятно... Понятно только одно – силы убывают, и кто знает, смогу ли я завтра вообще приподняться, – вон как руки и ноги раздуло. Надо добраться до спасательного плотика... Но как?.. Думай, парень, думай»...

И тут он снова увидел хромую крысу. Как всегда, она появилась из-за канатного ящика. В зубах она что-то тащила. Арлекино схватился за конец веревки и замер... Крыса неторопливо подошла к месту, на которое должен был упасть мешок, и остановилась. Затем проворно обежала опасную часть палубы. Немного приблизившись к Арлекино, она бросила свою ношу и похрамала обратно...

«Давай сволочь, иди под мешок!» – мысленно приказал Арлекино. Крыса вскоре оказалась у западни, но снова обогнула опасное для нее место.

– Дура! – в бессильной ярости крикнул ей вслед Арлекино и откинулся на тупы.

«Что за мусор тащила сюда эта подлая крысыра?» – подумал Арлекино.

Когда он подобрал крысиную потерю, то не поверил своим глазам. Это была морковка! Мягкая и усохшая наполовину... Но какие сокровища мира могли сравниться с ней?! Борясь с желанием проглотить морковку целиком, Арлекино тщательно перетёр зубами каждое её волоконец и снова увидел крысу. Та сидела у канатного ящика и наблюдала за моряком... Дергать узел не имело смысла – крыса уселась не под мешком.

– Эй! – Арлекино махнул ей рукой. – Спасибо!

Та неспеша похрамала наверх, в темноту подшкиперской. Вскоре она вернулась и, вновь обойдя западню, оставила что-то недалеко от груды вещей, где лежал Арлекино. Моряк сполз вниз и нашёл брошенную крысой шкурку от сала. Засунув в рот очередную находку, Арлекино перетёр её зубами до мельчайших молекул... И вдруг его осенило:

«А ведь она меня кормит!.. А я её сожрать хотел...»

И Арлекино дёрнул ненужный больше узел. Мешок упал и сполз к его ногам. Моряк с благодарностью налил воду для крысы в донышко от фонаря и поставил в основании своего ложа.

Утром, с новыми силами, он разобрался в грудё вещей боцманского хозяйства и нашёл лебёдку.

– Эврика! – план созрел мгновенно: – На лебёдке поднимусь до ростров! Доберусь до аварийного запаса!

Закрепив на себе пояс с инструментами и засунув за пазуху мешок для продуктов, он из верёвки соорудил себе «люльку». Прихватив выброску, выбрался на полубак. Шторм затихал, и носовой обломок «Донбасса» уже не так сильно бросало из стороны в сторону. Арлекино раскрутил выброску и попытался перекинуть её через один из ростров, на которых крепился плотик.

Удалось не сразу... Понемногу отпуская верёвку, Арлекино стравил к себе выброску и, закрепив конец за подвижное кольцо рыма, приладил к тросу лебёдку. Упрямо накручивая ручку подъёмника, он всё же добрался до ростров. Отдышался... Попробовал сдвинуть с места ручку спускового механизма спасательного плотика, но ничего не вышло – детали заклинило намертво. Арлекино поднял голову и посмотрел на плот – до него было всего два метра! Если бы обломок танкера не торчал из воды под таким крутым углом, а плавал ровно, то, подпрыгнув, можно было бы сбоку ухватиться за верёвки плота, подтянуться и забраться в него.

«Эх... Были бы крылья!..» – от этой мысли закружилась голова. Арлекино поднял руку, представляя, как она чудесным образом удлиняется и достаёт до плота... Резкая боль в груди привела его в чувство.

«Похоже, отдаю концы...» – с горечью подумал он и оглядел пустынный океан... Лишь волны и пронизывающий ветер... Ему вдруг всё стало безразлично. Он обречённо закрыл глаза и безвольно обвис на выброске, испытывая странное облегчение от бездействия. В голове понеслись неясные образы, какие-то далёкие голоса нашёптывали непонятное. Сквозь череду убаюкивающих звуков прорвался отчётливый голос задыхающей от радости Риты: – «Дядя Арлекино! Вы самый сильный! А до самого потолка сможете меня подбросить?»

– Могу... – он открыл глаза и, сжимая кулаки, сдавлено прошептал: – Могу!

Потребовались все силы и мужество, чтобы заставить себя спуститься в подкиперскую, взять там ещё одну выброску и снова преодолеть бесконечно долгий путь наверх, к рострам. Он сделал это. Перекинул верёвку через перекладину, на которой был закреплён плот и прикрепил к ней лебёдку. Снова начав крутить ручку, Арлекино поднялся в воздух, подтянув себя к заветному плоту, закачался в вышине рядом с ним. Вход в плот был с другой стороны. Подняться выше брезентового верха плота и найти вход сил не оставалось... Арлекино достал нож и начал кромсать брезент. Прорезав в нём дыру, – залез вовнутрь.

– Есть! – выдохнул он, в изнеможении падая на мягкий резиновый пол плота.

Огляделся... Вот они – три красных ящика с аварийным запасом. Трясущимися руками он отбросил крышку первого ящика – пусто! Дёрнул крышку второго – ничего!..

Остался третий ящик. Он коснулся его и замер... Ему стало страшно, как никогда...

– Открывай! – приказал себе Арлекино и рванул крышку последнего ящика. Этот ящик был заполнен аварийным запасом.

Он взмок, дрожащими руками выгребая содержимое. Банки! Банки! Этикетки запрыгали перед глазами: вода, мясо, «Пеммикан». Еда!

По-волчьи вонзаясь зубами в жестяную банку, он попытался её прокусить... Острая боль в зубах привела его в чувство:

– Да что же это я?..

Трясущимися руками Арлекино оторвал ключ и открыл банку. Пальцами он принялся запихивать в рот невообразимо вкусную кашицу, похожую на тушенку. Открыв вторую банку, он тут же выронил её, – острая боль пронзила живот...

Отлежавшись, он засунул содержимое ящика в мешок и, крепко привязав его к себе, на лебёдке спустился в своё убежище. Не вынимая своей добычи, он рухнул на полушубки и отключился...

Утром на двери подшкиперской появилась очередная отметина – пятые сутки продолжался свободный дрейф русского моряка на обломке корабля в Великом Тихом океане...

Арлекино вынул из мешка аптечку, морскую карту, мореходные таблицы, хронометр, секстан, керосиновую горелку, ракетницу и четыре сигнальные ракеты. А ещё он нашёл там журнал «Лайф» с мордой жареного поросёнка на обложке и Библию. Прежде всего, Арлекино определил свое местонахождение. По всему получалось, что он дрейфует в сторону Калифорнии...

Арлекино поставил на керосиновую горелку воду. И снова увидел крысу. Она сидела на прежнем месте возле канатного ящика и внимательно смотрела на Арлекино.

– Иди сюда! – сказал Арлекино, доставая еду из аварийного запаса. Он было собрался бросить ей галету, но не смог. Внезапная жадность овладела им. С трудом преодолев это чувство, он все же протянул ей галету со словами:

– Кушай, моя красавица, и ничего не бойся...

Крыса не пошевелилась. Тогда Арлекино бросил ей галету. Крыса ловко подхватила её и неторопливо ушла за канатный ящик.

Пока вода закипала, Арлекино с жадностью прочитал журнал «Лайф». Затем выпил чаю и впервые в своей жизни открыл Библию. Читал он её с некоторым скепсисом – сказывалась крепкая обработка безбожной пропагандой. Пьяный Лот, переспавший со своими дочерьми, привёл его в недоумение. А неистовый Авраам, согласившийся во имя любви к Богу зарезать родного сына, окончательно сбил его с толку:

– Ну и ну! Ничего не понимаю... Тарас Бульба какой-то... А Иона во чреве кита – ну прямо как я тут!

Арлекино вздохнул и отложил книгу в сторону, надеясь, что у него еще будет время подумать об этом. Но одно знал точно: если Бог отправит его в ад, то там он будет вечно откручивать огромные болты.

Он снова подогрел воду и разделся, чтобы промыть и обработать раны. Грязные кисти и стопы опухли и кровоточили.

– Ну, точно свинья! – резюмировал он, осмотрев своё чёрное тело. – Такого самая поганая тварь морская жрать не станет, побрезгует...

Смыв пену, Арлекино с удивлением обнаружил, что светлее не стал:

– Что за ядрёный мазут у американцев? – проворчал он и намылился ещё раз. Когда пена смылась, Арлекино понял, что это почерневшие синяки...

«Неслабо меня приложило, видок как у отбивной...» – эта мысль его почему-то развеселила:

– Отбивная с кровью «Арлекино в Тихом!» От шеф-повара Нептуна. Только хрен меня кто сожрёт. Выберемся... Как и раньше выбирались! А пока жив – и на том спасибо!

Обработав раны, Арлекино укутался в полушубки, и долго ерзал, пристраиваясь так, чтобы меньше всё болело. Закрыв глаза. Но судьба уготовила ему очередное испытание: на этот раз его ожидали новые муки... Вдалеке послышались пароходные гудки, сердце радостно застучало и, подхватившись, моряк с ракетницей в руке выглянул на палубу. С шипением взвилась ракета в тёмное небо и повисла над океаном... Но сколько Арлекино не всматривался, никакого судна не увидел – вокруг безликой пустыней простирался Великий Тихий океан...

– Что это со мной? Неужто показалось?

В каморке Арлекино попытался уснуть, но вновь, как наяву, услышал сигнальные гудки. Он выглянул на палубу и ничего не обнаружил: ничего и никого... Так повторялось ещё и ещё. И каждый раз океан был спокоен и пуст, только крупные звёзды равнодушно мерцали в вышине...

Ранним утром на двери подшкиперской гвоздем была процарапана шестая метина.

«Надо загрузить себя работой, чтобы не до «галочек» было» – решил он.

Каждое движение причиняло ему боль, но весь день Арлекино разбирал, сортировал и раскладывал вещи в подшкиперской. Он ещё раз уточнил своё местонахождение и к вечеру, вымотанный, уснул... Его разбудили гудки. Он открыл глаза, полагая, что это опять игра его воображения. Маленькая точка света аварийного фонаря вдруг запульсировала, стала расти и ярким шаром залила всю подшкиперскую. В полной растерянности Арлекино выбрался на палубу. Но его вновь ждали лишь тишина, да бесконечная, безнадежная синь океана...

На седьмые сутки свободного дрейфа по Великому океану почудились уже привычные гудки. Арлекино выглянул из подшкиперской – туман.

«Странно... Раньше, наверху наваждение прекращалось. Новая стадия галлюцинаций?» – Арлекино хлопал ладонями по щекам, пытаясь прийти в себя. Из пелены тумана возник силуэт судна... Арлекино зажмурился и снова открыл глаза: силуэт не исчезал, он становился чётче... Тревожно взревел очередной гудок.

– Пароход?!

Он подходил всё ближе и ближе, – вот уже и надпись видна – «Белгород»...

– Братцы! – закричал Арлекино, неистово размахивая руками: – Братцы! Я здесь! Здесь!!! Братцы...

Сигнальщик запросил:

– Сколько вас?

– Помогите!!!

– Не понял! Сколько вас?

– Помогите!!! – замелькали руки Арлекино в безумной отмашке.

«Белгород» подошёл вплотную, и моряку помогли перебраться на борт судна.

– Капитан Вага. Там есть ещё люди?

– Нет... – еле слышно ответил Арлекино, борясь с головокружением.

В глазах замелькали цветковые пятна. Лица, сливаясь в единую серую карусель, расплылись и он рухнул на палубу.

Через два часа доктор вышел из лазарета и направился к капитану.

– Ну, как он? – спросил капитан.

– Такое чувство, что парня пропустили через жернова – сотрясение мозга, множественные ушибы, перелом двух рёбер, обморожение конечностей второй и третьей степеней. Общее нервное и физическое истощение. Боюсь, до Владивостока не дотянет. На берег его надо сдавать... В госпиталь. Срочно!..

– Ладно. Тут Сиэтл недалеко...

– Хорошо... А ещё вопрос, можно?

– Разрешаю.

– А с обломком что будете делать?

– Что- что... На буксире потащим! От греха подальше...

\* \* \*

В Америке Арлекино сделался сенсацией. Заголовки газет и журналов трубили о «Русском Робинзоне» – «Победителе океана» и «Героическом моряке», который в одиночку противостоял разрушительной стихии океана и сумел выжить... Через месяц Арлекино окреп и начал выходить на прогулки по Сиэтлу. Прохожие узнавали его, просили автограф, фотографировались с ним, улыбались и крепко жали руку. Порой его навязчиво зазывали в магазины и предлагали взять что-нибудь даром. Владельцы маленьких ресторанчиков и баров считали своим долгом угостить отважного моряка совершенно бесплатно. Но сразу после его ухода в витринах появлялись броские объявления: «Здесь был «Русский Робинзон»! Заходите и Вы! Покупайте!» или «Здесь ужинал штурман с «Донбасса»! Заходите! Садитесь на его место!»...

Но самые яркие впечатления ожидали его на острове Лебяжий, в Портленде. Арлекино прибыл туда по странному приглашению судоверфи, на которой был построен злополучный «Донбасс». Он уже был здесь, два года назад, в сентябре 1944 года, в числе первой команды, принимавшей этот танкер по лендлизу. И назывался он тогда «Бикен Рок» – «Скала опасности».

А сейчас, на длинном лимузине с открытым верхом, его, как героя, торжественно везли по живому коридору из местных жителей, дудящих в рожки, восторженно свистящих и радующихся, словно дети. Они размахивали флажками и устилали розами путь автомобиля.

«Как челюскинца встречают, неудобно даже...» – с этой мыслью моряк смущённо махал в ответ и, то и дело, прикладывал руку к груди.

На судоверфи в его честь устроили торжественный приём.

Среди общего праздника к Арлекино подошёл невысокий толстяк и, отирая лысину платочком, обратился к нему неожиданно тонким голосом:

– Абрахам Смит, служба госдепартамента США. Мне поручено донести до вашего сведения, что по закону США всё имущество, с которым гражданин спасается во время кораблекрушения, принадлежит спасшемуся. Если, конечно, он гражданин США... – клавишно улыбнулся толстяк, ловким движением снимая выпивку с проплывающего мимо подноса... Отхлебнув из высокого стакана, он восхищённо

добавил: – В вашем обломке танкера нефти оказалось на сто тысяч долларов! Моё правительство готово предоставить Вам американское гражданство! Поздравляю!

– Не стоит. Это ваша страна, у меня есть своя. Домой хочу.

– Вы серьёзно? Целое состояние и американское гражданство и Вы отказываетесь?

– Я русский. Мой дед ходил бурлаком по Волге. Там всё моё, а здесь всё чужое. Объясняю по простому! Вот чайки. Вроде они везде одинаковые... Но когда, после дальнего перехода я возвращаюсь домой и вижу своих чаек – глаза щиплет! Это мои чайки... Понимаете меня?

Чиновник повернулся к окну и уставился на суетливых чаек, летающих над рекой.

– Ваши чайки? Но какой бизнес можно сделать на чайках? Что Вы с ними делаете? Там что, все чайки принадлежат Вам?

– В Советском Союзе один человек не может всё купить, но коллективно – всегда пожалуйста! А я председатель, президент по-вашему, нашего большого чаечного колхоза! – засмеялся Арлекино.

– Понимаю... У себя на родине Вы – и герой, и богатый человек! – толстяк, улыбаясь, протянул мокрую ладонь для рукопожатия. – Желаю удачи!

\*\*\*

Арлекино отправили в СССР на борту океанского лайнера – слишком велик в Сиэтле был интерес к его персоне. Под вспышки фотокамер он поднялся по трапу. Сопровождающий его советский торговый представитель пожал Арлекино руку и поздравил со скорым свиданием с Родиной:

– Трудовой коллектив Дальневосточного морского пароходства гордится Вашим мужеством! По случаю Вашего возвращения состоится торжественный митинг!

– А митинг это обязательно? Хочется как-то без помпы...

– Митинг – обязательно! А потом, конечно, поедете в санаторий и хорошенько там отдохнёте. И снова за работу, товарищ!

Арлекино разместился в уютной каюте. С нетерпением дождавшись вечера, лёг спать, но среди ночи проснулся. Напрасно промаявшись в попытках снова уснуть, Арлекино распахнул настежь иллюминатор. Тугой ветер Великого океана властно ворвался в каюту, до краёв наполняя её запахом соли. Арлекино высунулся наружу... Дыша полной грудью, он нащупал руками пуговицы заклёпок корпуса судна и ласково погладил их. Только после этого смог заснуть...

Во время всего пути на него накатывали воспоминания о погибших друзьях, о злоключениях, выпавших на его долю, и он не мог понять – как выжил, и почему именно он?

Белоснежный лайнер прибыл в порт Владивостока. Духовой оркестр взорвал весенний воздух браваурным маршем. На надраенной меди в руках музыкантов, рассыпаясь на миллионы ослепительных зайчиков, отразилось родное солнце.

– Наконец я дома!.. – выдохнул Арлекино.

С двумя чемоданами подарков из Америки, он спустился по сходням. К нему подошли трое людей: в одинаковых костюмах, даже лицами похожие друг на друга. Придвинулись вплотную...

- Гражданин, пройдёте! Оружие есть?.. – тихо спросил один из трех.
- Нет... – растерялся Арлекино. – А в чём дело, товарищи?
- Есть вопросы...

Старший едва кивнул коллеге. Тот зашёл за спину Арлекино и, быстро пройдя опытными руками от его подмышек до щиколоток, подтвердил:

- Оружия нет!
- Берите чемоданы и за мной!

На заднем сидении, с двумя конвоирами по бокам, Арлекино повезли по городу. За окном, как во сне, проплывали знакомые скверики, дома...



ГЕННАДИЙ



## Голубиный колокол

*... без меня народ не полный*

А.П. Платонов

1.

Обернусь ли

назад

или гляну вперёд –

грузно-чёрен набат

голосов,

что основа

России;

их,

кого не спроси,

Боже Правый, еси!

и голодные,

и босые.

Или?

колокол пал

и язык поломал,

чтоб

огромный народ,

вслед безмолвию,

выплюнул зубы

в острый

холод и снег,

и в казённый свой

век,

под

люлюканье сонных

голубок.



и вдоль волг, иртышей, енисеев;  
и начните  
    свой вдох  
под дыханье листвы  
не опавшей –  
    весенней.  
Чтобы колокол...  
    бей!  
всполоши голубей,  
на Покров созывая  
    порошу –  
мою долгую белую ношу.

Не покину я вас:  
ни снега,  
    ни набат,  
ни голубок пугливую  
    стаю...  
Посмотрю ли вперёд,  
или гляну назад –  
без меня  
    вся Россия  
    пустая.

## Светлана СУПРУНОВА

Родилась в 1960 году в г. Львове. После окончания ленинградского медицинского училища работала медсестрой в хирургическом отделении Нестеровской районной больницы Львовской области. В 1985 году по направлению военкомата уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. Вернувшись через три года, поступила в Калининградский государственный университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном институте им. М. Горького на заочном отделении. С 1995 по 2000 год проходила воинскую службу в Таджикистане в звании прапорщика медицинской службы, затем девять лет работала старшим литературным редактором в издательстве «Янтарный сказ» (Калининград), сейчас возглавляет редакцию научного журнала Калининградского государственного технического университета. Печаталась во многих отечественных и зарубежных изданиях, лауреат ряда российских и международных конкурсов. Член Союза писателей России, автор четырёх поэтических сборников. Живёт в Калининграде.

\* \* \*

Никому не скажу и уеду,  
Ни друзей, ни любви не найдя,  
И пойду с чемоданом по следу  
Полоснувшего поле дождя.

Васильки не оставят в покое,  
И ромашки надарят тепла.  
Всё живое, такое родное,  
Так бы шла потихоньку и шла.

Будут рядом закаты, восходы,  
Так душевно – один на один.  
Приживусь на недели, на годы  
Среди ягод и тонких осин.

Забредёт сюда кто-то, возможно,  
Помолчит, на места поглядит.  
«Как там мир?» – спрошшу осторожно.  
«Да куда ему деться? – стоит».

Так ответит – легко, равнодушно,  
Потому и поверю ему.  
Что желать? – ничего и не нужно,  
Если сытно и тихо в дому.

## Третий тост

Нас соберёт однажды время,  
Нарушив будничный уклад,  
И, лапу положив на темя,  
Заставит посмотреть назад.

Вручит стаканы нам по праву  
И, насыщая интеллект,  
К словам подсыплет, как приправу,  
Родной афганский диалект.

Война покажется подружкой,  
Вновь обнажая полюса.  
И будет вертолёт – «вертушкой»,  
«Зелёнкой» – редкие леса.

Тяжка смертельная пропажа.  
Воскреснут лица в тишине,  
Которые эпоха наша  
В чужой рассеяла войне.

В укор посмотрят, неутешно,  
С иконы будто – свысока.  
За третьей стопкою поспешно  
Сама потянется рука.

За тех, кто под звездой упрятан  
От жизни этой, как от бед,  
За тех, кто в цинке запечатан  
И у кого могилы нет,

Кто жуткий крик в горах оставил,  
Чей стон в душе своей храню,  
За всех, кто, падая, добавил  
Свеченья Вечному огню!

\* \* \*

Сосед галичанский, скажи,  
Зачем твои пули летают?  
Боюсь не наветов и лжи,  
Мне страшно, когда убивают.

Не видеть бы хаты в огне,  
И ссоры не хочется, в целом.  
Наверно, страшнее вдвойне  
Тому, кто лежит под прицелом.

И страшно уже за страну,  
Где каждый четвёртый – калека.

Мальчишки играют в войну.  
Не целься, сынок, в человека!

## Грибы

Здесь вместо изб одни пригорки,  
Дорога поросла травой,  
В колючих зарослях задворки,  
И ни тропинки в лес густой.

Отпыхало, отгорело,  
Не знает Русь иной судьбы.  
Я на опушке разглядела  
Грибы, огромные грибы.

Как будто бы назло всем бедам,  
Весной встречавшие салют,  
Они, не собранные дедом,  
Из сорок первого растут.

\* \* \*

С годами видится простое,  
И всё яснее каждый год.  
Обиды, суета – пустое,  
И правда в том, что снег идёт.

Всё заметёт к утру, похоже.  
Фонарь под окнами горит.  
Светло, и в этом правда тоже,  
И в том, что город этот спит.

И знаешь, что не одинока,  
Что где-то высоко луна  
И чьи-то голоса далёко.  
Благословенна тишина!

И вот фонарь потух. Светает.  
Мы все у белого в плену.  
А снег идёт, а снег не тает  
И продлевает тишину.

\* \* \*

Не хочется сегодня, как когда-то,  
Беспомощно в толпу бросая взгляд,  
Доказывать, что ты не виновата.  
Махну рукой – пускай себе винят.

Задумаюсь, как после панихиды:  
Шумим, шумим, и шума не понять.  
Бледнее с каждым выдохом обиды –  
Наверное, пришла пора прощать.

И замечать уже другие лица –  
Неброские, без всполоха страстей,  
И, подустав от шума, сторониться  
Затей лукавых и пустых речей.

И принимать погоду понарошку –  
Пускай дожди, и грязь, и неуют,  
И, подойдя под звёздами к окошку,  
Не постучать, когда тебя не ждут.

И в старых туфлях под потоком света  
Ступить без замиранья на паркет,  
И не гадать за дверью кабинета,  
Кому ты угодила или нет.

И не дуреть от возгласов слащавых,  
И всякий люд, как строгий педагог,  
Не разделять на правых и неправых.  
А может, правда, разберётся Бог.

\* \* \*

Справа речка, а слева опушка,  
А грибов-то – под каждым кустом,  
Деревянная мокнет церквушка  
Под холодным осенним дождём.

Скрипнет дверь, запоют половицы,  
И ни певчих, ни благостных лиц,  
На стенах из журнала страницы,  
И святые глядят со страниц.

Я таких не видала окраин,  
Позолота нигде не блеснёт,  
И в поношенной рясе хозяин  
В одиночестве службу ведёт.

Спозаранку молебен читает  
За страну и за завтрашний день,  
Уж не крестит, а всё отпевает  
Поколение глухих деревень.

Всё едино – дожди, завируха,  
Эту древнюю дверь отопрёт,  
Приблудится, бывает, старуха,  
И свечу, как на память, зажжёт.

Столько света в приюте убогом,  
Что, теряясь, почти не дыша,  
Прослезится от близости с Богом  
Непутёвая чья-то душа.

\* \* \*

Не дай мне, Боже, видеть трон  
С усевшимся на нём нахалом,  
И служек, каждый с опахалом,  
И всех спешащих на поклон.

И с трона милости не дай,  
Подальше бы от злого глаза,  
Чтоб не коснулась, как зараза,  
Рука простёртая – «Лобзай!»

Пускай бы благостные сны,  
Чтоб ни злодея, ни кумира,  
О дай мне, Боже, тишины,  
О дай нам всем добра и мира!

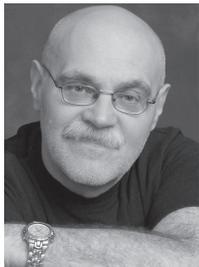
\* \* \*

Ненастье, дороги раскисли.  
Уходим пустые во мгле.  
Дела остаются и мысли,  
С которыми шли по земле.

Уходим, никто не вернётся,  
Не видим дороги впотьмах.  
Как мало от нас остаётся,  
Как мало мы были в гостях!

Смеялись, любили немного,  
Шумели под небом всерьёз.  
Мы так и не видели Бога  
В стране кабинетов и слёз.

Дома и деревья застыли,  
И нас омывает дождём.  
Зачем мы сюда приходили?  
Куда под ветрами идём?



Геннадий НОРД

## Венеция

*К 75-летию Иосифа Бродского*

В Венеции застыли годы,  
Невыносимо влажно, жарко.  
Иду под арочные своды  
У площади Святого Марка.

В «Локарно Мантин» зал неброский.  
Я заказал бокал портвейна.  
Когда-то здесь Иосиф Бродский  
Коньяк тянул с дружищем Рейном.

Тут нет излишеств в интерьере –  
Колонны в древнеримском стиле.  
Тут были Моцарт и Сальери,  
Вивальди, Гете, Гейне, Шиллер.

В меню текила, водка, виски –  
Лишь звякни золотым в кармане.  
Тут часто сиживал Стравинский  
И напивался Модильяни.

Спокойно тут, вялотекуще,  
И солнце бдит в лазурной дали.  
Они тут думали о сущем,  
Свою Италию искали.

Каналы разграфили город,  
Гондолы трутся у причала,  
А мир на черепки расколот  
И нет конца, и нет начала.

Наверно, помнят эти нефы  
Былую мощь, богатство славу.  
Но жизнь все время тянет влево,  
А надо двигаться направо.

Дворцы плывут по водной сини  
В гордыне витражей и кружев.  
Я твердо знаю, что в России  
Места есть, в общем-то, не хуже.

Тут просто все, как на ладони,  
И красота уже не нова.  
Ну, где-то здесь гулял Гольдони,  
И плел интриги Казанова.

Их нет давно на этом свете,  
С их судеб тайна отлетела.  
А Рейн? – Его недавно встретил  
Я в вестибюле ЦДЛа.

### Ирония судьбы

*Эльдару Александровичу Рязанову*

Уходит друг мой в бесконечность  
не попросившись, не простив...  
Как все же скуп и быстротечен  
нам жизнью выданный мотив!

Какой его там встретит берег?  
Какие всполохи теней?  
Ему теперь не надо денег  
и страсти наших жгучих дней.

Ему теперь не надо верить  
в любовь и прочие слова.  
Так резко вдруг закрылись двери,  
что не дописана глава.

Душа его недавно пела  
в стихах, в сценариях, в кино.  
Он просто жил и делал дело,  
которое судьбой дано.

Но завтра он уже не будет  
шутить, смеяться и роптать,  
а все оставшиеся люди  
продолжат этот мир топтать.

И будут также падать звезды,  
и море будет бить причал.  
Смахнёт украдкой кто-то слёзы,  
приехав на его «Вокзал».

Что нам осталось – путь неблизкий,  
и по иронии судьбы  
лишь постоять у обелиска,  
да в небо обратить мольбы,

и в грустном сердце дружбы пламя,  
и фильмов звон, и вздох стихов,  
и память, память, память, память,  
и звук стихающих шагов...

### Самая средняя полоса

Жесткое место, плацкартный вагон,  
тихо журчат по купе голоса.  
Мчится, едва успевая, вдогон  
самая средняя полоса.

Мчатся, сменяясь, озера, поля,  
реки, деревни, просёлки, леса.  
Мчится до боли родная земля –  
самая средняя полоса.

День уходящий, грозой прострелив,  
хмуρο вечерить пойдут небеса  
и запоет колыбельный мотив  
самая средняя полоса.

В ставни резные, где выключат свет,  
робко стучаться начнут чудеса.  
Так и живет уже тысячу лет  
самая средняя полоса.

Душу умоет щемящая грусть  
и, не спросясь, навернется слеза.  
Тает в ночи за окном моя Русь –  
самая средняя полоса.



Александр КОВТУН

## Глаза закрою и увижу

В тот день повсюду музыка звучала,  
«Конец войне!» – нам радио сказала.  
Улыбки и цветы, и смех, и слёзы.  
Убитые мечты, несбывшиеся грёзы.

Он был, наверно, на меня похожий, –  
Тот парень, только чуточку моложе –  
На землю что упал, хотел обнять.  
А губы прошептали: «...м-мать...»

Таких солдат, безусых, неженатых,  
Чьи фотографии висят в домах и хатах,  
Лежит в земле цветущей и красивой,  
В Прибалтике, в Европе и в России,

Глаза закрою и увижу этой ночью,  
Убитых наповал, разорванных на клочья,  
Испивших чашу и не ставших на колени,  
Отдавших жизнь за наше поколение.

То были просто люди, а не глыбы.  
Я вас хочу спросить: а вы смогли бы?  
Подняться во весь рост,

где ходит смерть  
и свищет,

Не зная наперёд, кого она здесь ищет,  
Примкнув штыки, забыв про день вчерашний,  
Схватиться с нею в рукопашной.

## Восточное, вечное

Попугаи трещат, как сороки,  
Прерывая мой утренний сон,  
Окна в доме низки и широки,  
Есть решётки – здесь бастион.

Скоро солнце взойдёт и сквозь пальму,  
Как сквозь сито, рассеет лучи  
И, поднявшись повыше, реально  
Станет жарить – кричи не кричи.

И тогда, в этот зной полуденный,  
Не зовите меня гулять,  
Обездвиженный, обездушенный,  
Тяжкой тенью я буду лежать.

Буду думать, о пасмурном «где-то»,  
Стану мысли в дожди собирать,  
Над землёю, где вечное лето  
Стану с радостью их распылять.

### Через «не могу»

С чердака,  
из трещины в бетонной дорожке,  
из-под лестницы, ведущей вверх,  
молча  
    смотрит на меня из прошлого –  
        жизнь моя,  
                которую отверг.

Как же быть? Возможно ли  
пережить мой тяжкий грех?  
Прошрое,  
    огромной  
        многотонною горошиной,  
меня плющит на глазах у всех.  
Чувствую  
    мысли во мне шевелятся.  
Похоже – мысли мои,  
Только что-то мне не очень верится  
в то, что станут чувствовать ступни.

Всё же поднимусь,  
        силою встану,  
перелезу через «не могу»...  
«не могу» меня уже достало, но  
согну его, пожалуй что, в дугу!

Ну согну, а что же дальше?  
Осмотрю всё что наворотил.  
Отделить бы только истину от фальши,  
чтоб не пачкать маршевых перил.



Второе слово – сильнее сильного:  
Вселенная чувств в нём, страстей океан,  
Температура печи плавильной –  
Любовь – за неё всё отдам.

Возьму у неба лучшее самое,  
Светлое самое возьму,  
У моря – капризное и упрямое,  
Смешаю и творить начну.

Сарафан стихов украшу розами,  
Из ромашек-слов сплету венки.  
Свежесть летние подарят грозы ей,  
С легким запахом озоновых духов...

В лес пойду, среди старого валежника,  
Что-то колдовское отыщу,  
Настоя на запахе подснежника,  
И настоем этим умашу.

И старый человек – седой, бывалый,  
И тот, с которым рядом я стою,  
И этот беззаботный добрый малый,  
В ней увидят женщину свою!

### Пацаны

Ты помнишь, нам хотелось быть постарше,  
Курить, затаивая дым.  
Тогда шагали пионеры бравым маршем,  
С речёвками по улицам твоим.

Девчонки, помнишь, нашего же класса,  
Мальчишечьи туманили умы.  
Мы их сердец тогда не разбивали,  
Да что с нас взять-то было, пацаны.

Тогда ещё мы многого не знали,  
И звонки были наши голоса,  
Мы, робко прижимаясь, танцевали,  
Боясь поднять на девушку глаза.

Хотелось стать нам взрослыми скорее,  
Носить усы и модные штаны...  
Теперь иных уж нет, а те старше,  
А в общем-то все те же пацаны.



## Валерий БАТРУШЕВИЧ

### Цветной листопад

Летят разноцветные листья –  
Легко, словно птицы, летят;  
Художник осеннею кистью  
Рисует цветной листопад.

Симфонией красочной сказки  
О вечной земной красоте  
Сверкают волшебные краски  
На белом прекрасном холсте.

Глядит живописец влюблённо  
На яркий рисунок цветной,  
А мне только летней – зелёной –  
Хватило бы краски ... одной...

### Параллели

*А мы – две параллельных линии,  
Что по Эвклидовой теории  
В пространстве не пересекаются...*

В этой жизни – почти сумасшедшей  
И, как многим известно, – бесцельной  
Ты осталась в далёком прошедшем,  
Хотя где-то живёшь параллельно.

Столько лет пролетело безумных,  
Но, шагая с попутной толпой,  
Я надеюсь на улицах шумных  
На случайную встречу с тобою.

И, храня эту страшную тайну,  
Как ключи от грядущего рая,  
Я тебя если встречу случайно,  
То, скорее всего, – не узнаю.

Прав был древний Эвклид беспредельно,  
Лобачевский ошибся безбожно:  
Если пара прямых параллельна,  
Встреча их вообще не возможна.

## Таинственное время

Неторопливою рекой  
Течёт таинственное время,  
Оно приветливее с теми,  
Кто любит истинный покой.

Кто о глазах, слегка косых,  
Забыл у тёплого камина,  
Где так торжественно и чинно  
Стучат старинные часы.

И – жизни вечная вода –  
Непринуждённо, по-английски  
Налит янтарный крепкий виски  
В стакан хрустальный, как всегда.

Где кот пушистый под бочок  
Порой приляжет аккуратно,  
И так печально и приятно  
Скрипит старательный сверчок.

## Пролетевшая звезда

Глухой порой полночную мистической –  
Не каждый день, случайно, иногда –  
Мелькнёт далёкой искрой электрической  
По небу пролетевшая звезда.

И может быть удачным ожидание –  
Есть старая примета, не из книг,  
Что сбудется заветное желание,  
Загаданное в этот краткий миг.

Но новая реальность мало радует,  
Ведь мудрая наука говорит,  
Что это не звезда ночная падает,  
А просто небольшой метеорит.

## Подарок

Промокли под сильным дождём  
Мои лопухие уши,  
Сушу их каминным огнём  
И рисово-рыбное «суши»  
Сухим запиваю вином...

Мне праздник устроив большой,  
Такое подстроил не бог ли?  
Ведь если бы дождь не прошёл  
И уши мои не промокли,  
Мне не было б так хорошо.

### Ещё несколько дней

*Травка зеленеет,  
Солнышко блестит...*

А. Н. Плещеев.

Солнце вновь светит ярко и ласково,  
Молодая листва шелестит,  
Может быть, ещё несколько ласточек  
Мимо окон моих пролетит.

И, возможно, мне, больше не ждущему  
Ничего в грешной жизни моей,  
Будет богом случайно отпущено  
Ещё несколько солнечных дней.

Верить в бога другим не советую,  
Да и мне эта блажь — ни к чему,  
Но за дни эти, солнцем согретые,  
Как же я благодарен ему.

### Разумная жизнь

Известно всем из интернета  
И из газетных новостей:  
Открыта новая планета  
И жизнь разумная на ней.

Там власть неглупая, как будто,  
И процветающий народ,  
Войны не зная абсолютно,  
В раю, практически, живёт.

При нашей глупости нетленной  
Так радует благая весть,  
Что где-то в солнечной Вселенной  
Нормальный разум всё же – есть!..

### До лучшего дня

Да что там – захваленный Пушкин,  
И я с музой лично знаком,  
Я всех завалю, как из пушки,  
Своим совершенным стихом.

Но в душу закралось сомненье,  
Как лишняя буква в букварь,  
Вдруг новое будет творенье  
Похоже на жалкую тварь?

Тетрадь отложил осторожно,  
Возможно, до лучшего дня:  
Корявых стихов и ничтожных  
На свете полно без меня.

### Дороже всего

Я не знаю её совершенно,  
Но она мне дороже всего,  
О таких говорят откровенно,  
Что она — не от мира сего.

Знаю точно уже, что согласна,  
Но глаза её, полные слёз,  
Так невинны, нежны и прекрасны,  
Что обнять её страшно всерьёз.

Губ касаюсь её осторожно –  
Неземная, воздушная вся...  
И обидеть её невозможно,  
И совсем не обидеть нельзя.



Геннадий ЛОСЕЦ

Родился в 1942г. в г. Болотное Новосибирской обл. С 1958 г. живет в Калининграде, где окончил мореходное училище. Ходил в море штурманом. Окончил Народный университет искусств им. Н.К.Крупской в Москве (1978). Ювелир. Работает в графике, ювелирном искусстве, чеканит по металлу, режет по камню, кости, дереву. С 1973 г. специализируется на обработке янтаря. С 1971 г. работал художником-оформителем, инженером бюро эстетики завода «Янтарь». Лауреат в номинации «Камнерезные изделия» Первого регионального конкурса янтарных изделий (2003). Член Союза художников СССР, РФ (1989, 1992). Заслуженный художник РФ (2004). Награжден медалью ВДНХ (1978).

### Тайна янтаря

Огнём планета исходила,  
Смолу из сосен выжимала,  
Пекла в утробе и давила,  
И до поры в себе скрывала.

И тайну миллионы лет  
Звезда остывшая хранила,  
И тьма веков, и много бед  
В глазах у муравья застыло.

Так в чём же тайна янтаря?  
Она в смоле у муравья,  
Она на кончике резца,  
И этой тайне нет конца.

### Мистика

Я часто в небо улетаю  
В воображении своём,  
По Млечному пути ступаю,  
И радостно, и страшно в нем.

Я в мыслях убежал от быта  
И рвался к синим небесам,  
Забыв домашнее корыто,  
Как вор, пробравшись в божий храм.

И поражённый детским сном,  
В пыли космической валялся,  
С инопланетным существом,  
До коликов груди смеялся  
И, споря о былом с Котом,  
Метлою Маргариты клялся.

И всё вертелось, как в дурмане,  
Маячил Мастер, как в тумане,  
И как безумный ревновал,  
Как видно, мне не доверял.

А я шучу, смеюсь я смело,  
И быстро к пропасти лечу -  
Мне дал автограф Азазелло,  
Рукой похлопав по плечу.

И было всё как бы игрою,  
И взор я весело поднял,  
Но ужас душу мне сковал –  
Я заигрался сам с собою.

Там было Нечто в пустоте,  
Совсем обратное мечте,  
И сеяло в пространство страх.  
Сверкали перстни на руках.

А мимо рук скользят страданья,  
И ад раскрыл ворота вновь,  
Где боль – основа мирозданья.  
В больших котлах кипела кровь,  
И ветер доносил стенанья...

То горько плакала любовь.

### Чёрный квадрат

Устав от суеты, поверх голов глаза,  
Иду бродить я по музеям,  
Чтобы свести в одно и ум, и чувства,  
В вопросах современного искусства.

Хочу я сам проверить слухи,  
Будто искусство возлюбя,  
По залам бродят только мухи,  
Но редко публика, скучая и скорбя.

Искусствоведы важно ходят,  
На зрителей тоску наводят,

И указуя на квадрат  
О гениальности вопят.

И падает каскад речей  
На плечи голых королей.  
Наполненный такими словесами,  
Я вышел вон... с квадратными глазами.

### Ночной диалог

«С копьем ношусь, века пронзая,  
Хочу покончить я со злом.  
От подлости людской страдаю,  
Лежу под мельничным крылом.  
А Санчо мой – психолог тонкий –  
Во время драки, как всегда,  
С ослом своим стоит в сторонке,  
Лишь усмехаясь сквозь года...»

Я подошёл и поклонился,  
В кулак смущённо кашлянув,  
К идальго робко обратился,  
Ослу зачем-то подмигнув:  
«Борьба со злом предмет не новый,  
Примеров много на земле,  
Лишь отпечатались подковы  
У человека на челе.  
Вы провели всю жизнь в борьбе,  
Хотя немного не в себе.  
Сравненье с Вами многим лестно,  
Но доложить я Вам хочу –  
Со злом бороться бесполезно,  
И Вам лишь это по плечу».

Он глянул сквозь меня в пространство,  
Решая говорить иль нет,  
И видно не найдя здесь хамства,  
Он соизволил дать ответ:  
«Ведь чем-то надо заниматься,  
Не с Дульсинеей же валяться.  
А крыльев хватит на мой век,  
Прощай, любезный человек».  
И Россинанта ткнул он в бок:  
«Идём искоренять порок».

С очей упали сна оковы,  
А под подушкой у меня  
Лежали стёртые подковы  
От донкихотова коня.

## О БЫЛОМ

Свои желанья узнаю,  
Волненья дней давно забытых,  
И в душу юную мою,  
Стучится день дверей открытых.

Не мешкая, в проем широкий,  
Раскинув радостно объятья,  
Спешили проскочить пороки,  
Как будто бы родные братья.

И грешным песням я внимал...  
Блестя лукавыми глазами,  
Мне бес на дудочке играл,  
С намеком чмокая губами.

Промчалась юность как мгновенье,  
Как пень в лесу, я стал глухим,  
Растаяло в лазури пенье,  
Ушла и радость вместе с ним.

И бес на дудке не играл,  
Недобро глаз косил, сверкая,  
Но иногда в ребро толкал,  
О грешных днях мне намекая.

Песка не вижу сквозь стекло –  
То от меня сбежало время.  
Оно сквозь пальцы протекло,  
И тело превратилось в бремя...

**Антанас А. ЙОНИНАС**

В 1976 г. закончил Вильнюсский университет по специальности литовский язык и литература. С 1976–1993 гг. работал редактором издательства «Вага», в 1993–1995 гг. – ведущим программы культуры на «BaltijosTV». С 1995 г. – свободный автор и переводчик. С 2011 г. – президент Союза писателей Литвы, член литовского ПЭН-центра. Автор более десятка поэтических сборников. Лауреат многочисленных литературных премий Литвы, в том числе – Национальной премии Культуры и Искусства. Живёт в Вильнюсе.

Переводил поэзию с немецкого, латышского, русского языков. Его собственное творчество переведено на английский, армянский, грузинский, французский, немецкий, итальянский, испанский, латышский, норвежский, польский, русский, словенский, хорватский, шведский и другие языки.

**Вино одинокого**

Забыв о языке не помня места встречи  
они спустились не спеша в безмолвную долину  
и следовала за одним лишь тень собаки  
а за другой лишь ветер следовал ленивый

со света двух сторон они спускались  
и пали как сухие листья пали  
лишь распрямляясь травы волновались  
как будто тронутые лёгким ветром

а после ночь серыми ликами упившись  
и захмелев от сего странного вина  
обоих нежно и несмело обняла

и вот они уснули и главы склонивши  
узрели небо чистоты невинности полно  
воскреснуть было им не суждено

## Заросшая могила

Ухожен совершенно тут настил  
хлебов буханками премножество могил  
и сырости пары здесь отдают землёй  
для тех кто временно живёт в юдоли той  
а над водою небо шелестит из века в век  
и ветер пасмурный устало дышит с моря  
да в сосны обращается в которых  
ты зришь сколь скоротечен человек  
любовь-обманщица но я в поту страданий  
мир создавая тихо радовался втайне  
и не тебе увы меня понять  
о ты судья себя же пожалей  
ведь всё имел на этой я земле  
чтоб умирая ничего не потерять

## Пиршество

художник кисточкой водил вокруг лица  
на люстре балерины колыхался он ребристой  
а психиатр молоточком потрясал  
глаголя что искусство в корне чисто  
достойно в самом центре восседал  
король поп-музыки артист глубинки  
панк рок и heavy metal тут звучал  
и компонист вращался на пластинке  
а щепетильный логофаг-поэт тотчас  
сожрал полслова что из песни утянул  
и зыркал по столу ища ещё одну  
тут грянул тенор словно Божий глас  
безвыходного положенья не бывает  
и благ тот кто от мудрости сбегает

## Могила

Я пенья птицы не слышал что оглашает  
прохладу тени под раскидистой ольхою  
я каждый день свой тяжко проживаю  
глотаю каждый час насущный с боем  
на свою вечную Голгофу восходил  
оградой собственного страха окружённый

мня что свобода это дом умалишённых  
где наказания не несёшь за то что мнил  
я жил как будто обладаю ещё многим  
в сей жизни тем что надо с боем брать нередко  
взгляни-ка детка  
теперь над этой полосой земли убогой  
нет песни птичьей да из ниоткуда  
родник журчит игриво в никуда

## Пожар

Разбита рама на куски и холст разорван  
клочки да щепки я бросаю в пламя  
смогу ль к тебе я как к молитве быть готовым –  
мне б распахнуться ничего просить не стану  
огонь невысказанным тайнам вторит лаской  
на улице вечерний вой охрипший затихает  
сквозь тёмное окно прищуриив глазки  
смирненно ожидание взирает  
смогу ль к тебе я как к молитве быть готовым  
краснеют стены все углы зарделись крова  
будто кружат вокруг кровавой сути ураганы  
безумной страсти не поддаться зову  
разбить надежды чашу малую так рано - -  
мне б распахнуться ничего просить не стану

## Сентиментальное бегство от несчастья

Когда в ржаной сентябрь унылый месяц  
когда мерцают сотни звёзд-проказниц  
домой вернувшись в незнакомый дом входил –  
спокоен был  
o belle ami, o милая моя  
какими чарами ещё ты думаешь сковать  
каким искусством осени околдовать –  
но всё равно в покое буду я  
ах велико же бегство от несчастья!  
не зная страха ни других напастей  
прильну к мосту старинному я к арочной стене –  
спокойно мне  
спокойно будто болен проклятой чумой  
нет дома и всё вечно под луной

## Ещё раз о рыцаре, дьяволе и смерти

Он тридцать лет скакал лишь для того  
чтоб наконец застыть в сём ожиданье  
печально опустивши долу взор; трепал лишь ветер  
смешное оперение над шлемом

рябины проржавевший лист лениво  
висел его мечом пронзённый, щит  
с девизом «Долг мой вечный – Упованье!»  
светился алым в пустоте вечерней

стоял нечистый рядом за уздечку  
коня его держа а смерть  
из уважения пришла без опозданья

и в то мгновение они были равны и каждый  
осведомлён о поражении своём, позднее  
о соглашении написано в анналах. но это ложь

*Перевёл с литовского  
Clandestinus*



Витаутас ЧЯПАС

**Меняется под солнцем  
только время**  
*Отрывок из романа*

...тем временем мимо проходил Альфонсас Катинас – тренер по плаванию с высшим образованием. Он был на редкость принципиальным человеком. Никогда в жизни не подавал руки или по-иному не здоровался ни с кем, у кого не было высшего образования. Таких он просто не замечал. Однако, если видел кого-либо более или менее знакомого, закончившего университет – бросался здороваться и обниматься так, будто в детстве купался с ним в одной ванной. Кроме всего этого, у Альфонсаса Катинаса, тренера по плаванию с высшим образованием, был уникальный Божий дар: даже не зная человека, мог безошибочно установить, закончил ли тот высшее учебное заведение или же вообще никогда не переступал его порога. Такая проницательность тренера являлась и причиной его многочисленных несчастий, всяческих приключений и прочих происшествий. Видя, что по другой стороне улицы идёт человек с высшим образованием – или осознав это своей безошибочной интуицией, – не теряя времени бросался здороваться. Тогда уж он ни на что не обращал внимания и редко кто мог его удержать. Иногда-таки удерживали! Тогда тренер с высшим образованием почти полгода провалялся в больнице, исцеляя костные переломы и прочие побои, а оставшуюся часть года провёл на бюллетне в каком-то санатории, поправляя здоровье. И не удивительно, ведь тренер с высшим образованием Альфонсас Катинас, спеша здороваться, уже раз двадцать попадал под колёса велосипедов, шестнадцать раз – был сбит мотоциклами, десять – легковыми автомобилями, семь раз его вытаскивали из-под грузовиков. Однажды, узнав высокого министерского чиновника, прибывшего навестить родителей, столь решительно бросился через улицу здороваться, что не заметил проезжавшего поблизости советского бронетранспортёра. Стукнулся, будто тряпичный, именно в то место, где сидит водитель. Молодой и политически-ми вождями запуганный узбек, управляя тем несчастным бронетранспортёром, так струхнул, что, потеряв управление и диким голосом завопив: «Националист! Самоубийца!», – выпрыгнул из машины. За ним последовали и все остальные бывшие в бронетранспортёре русские. Они посыпались словно блохи с подыхающей собаки и, как были научены вождями, пробежав с десятков метров, всем своим весом грохнулись на мостовую возле бордюра, изо всех сил прижались к мостовой – и провалялись так некоторое время, но, так и не дождавшись взрыва, осторожно подняли головы: в центре улицы ворочался и что-то бормотал Альфонсас Катинас, тренер по плаванию с высшим образованием, а в доброй сотне метров катилась дальше никем не управляемая их боевая машина.

В тот раз тренер по плаванию с высшим образованием Алфонсас Катинас сломал бедро, несколько рёбер, получил сотрясение мозга. Однако, это не было наи-

большим несчастьем. Куда много хуже всё закончилось для старой коммунистки и ветерана подполья Аделе Швилпунайте.

Когда в её деревянный домик врезался никем не управляемый бронетранспортёр, старая подпольщица, прилёгшая на послеобеденную сиесту, уже крепко спала и видела свой излюбленный сон. На самом деле это было не совсем сном, более – сном-воспоминанием, поскольку все зримые в том сне виды являлись отголосками её юности.

Её затемнённое сознание освещалось приятнейшими событиями минувшей революции, когда она, вызванная самим первым секретарём Антанасом Снечкусом, на правительственной трибуне принимала военный парад. Тогда Аделе была молодой и достаточно твёрдой женщиной, большой партийной активисткой и неустрашимым герольдом победы коммунизма во всём мире. «Первый» заметил её, стоящую возле правительственной трибуны и, к удивлению его многочисленной свиты, спустился по скрипящим деревянным ступенькам вниз, обнял левой рукой за плечи верного борца за счастье трудящихся всей планеты и произнёс:

– Не здесь твоё место, товарищ Аделе – прошу на трибуну, в круг наиболее уважаемых друзей!

И стала Аделе Швилпунайтеу «первого» одесную, и вместе с уважаемыми друзьями салютовала катящимся внизу танкам, слаженному строю солдат, чеканящих шаг по мостовой.

Военный парад был вершиной её жизни! Позже о том она тысячу раз рассказывала на встречах с октябрятами и пионерами, писала статьи, дважды выступала по радио. Первый секретарь и военный парад заполнили всю её простую жизнь. Воспоминания надолго получили практически материальный образ, в котором первый секретарь, военный парад, танки – и сама Аделе, салютовавшая с трибуны, были единственными стоящими событиями её жизни.

Именно на том месте сновидения, когда она правой рукой салютовала танкам, в домик врезался бронетранспортёр. Проломав стену и хрустя могучими гусеницами по раскиданным брёвнам, машина несколько раз развернулась на месте, будто найдя легчайший выход и, рыча и выпуская клубы густого и чёрного дыма, вновь выползла на улицу, таща за собой зацепившуюся за крюк кровать Аделе Швилпунайте. Сама старая подпольщица, замотанная простынями и накрытая «перинами», как ей было привычно, полусидя и уже совершенно не ориентируясь, сон ли это ещё или действительность, правой рукой радостно салютовала лишившимся от увиденного дара речи людям по обе стороны дороги. Их удивление было ещё большим оттого, что вокруг бронетранспортёра, запряжённого кроватью, носилось полтора десятка солдат, размахивающих руками, что-то друг другу орущих и беспощадно ругающихся по-русски.

Счастливую, красиво и радостно машущую горожанам, бронетранспортёр тащил старушку Швилпунайте в кровати с пару километров, покуда смастерённая известным кузнецом Игнатасом – ещё дедушкой Аделе – мебель, не выдержав неровностей дороги, рассыпалась тысячей металлических обломков. Сама подпольщица со всеми своими простынями и «перинами» вывалилась на мостовую.

После этих событий ум старой подпольщицы Аделе Швилпунайте окончательно зашёл за разум. Ко всем мужчинам старшего возраста она неизменно обращалась «товарищ первый секретарь». Ей постоянно казалось, что идёт какое-то

партийное заседание, на котором она председательствует, требовала немедленно отвести её на правительственную трибуну принимать военный парад, а услышав с улицы грохот проезжающей мимо машины, вскакивала на ноги и, вскинув руку для салюта, кричала: «Да здравствует советская армия, армия-освободительница!»

После двух месяцев лечения в психиатрической клинике здоровье старой подпольщицы не улучшилось, но серьёзный консилиум врачей, решив, что подобное состояние здоровья пациентки не опасно для общества, выписал её домой. Поскольку дом старушки был почти полностью разрушен, а имущество расхищено бродягами да соседями, старую коммунистку и ветерана подполья Аделе Швилпунайте свезли в дом престарелых...

*Перевёл с литовского Clandestinus*

## Йонас КАНТАУТАС

## Штиль

В эту ночь словно умерло море.  
Я снова один – не спится.  
Глубина – остолбенелая – смотрит  
сквозь тёмно-зелёные ресницы.  
Половина дорог – так зримо...  
Половина – желанья, стремленья...  
В этот час так необходимо  
хоть ветра прикосновенье!  
Тихий огонёк – ответ угля.  
И не слышны голоса.  
И на тепло моего корабля,  
как листья, падают паруса.

## Официантка

Злые квадраты лиц – за столами.  
За столами – шторма уж третьи сутки.  
И вдруг: «пожалуйста» –  
над чёрными словесами.  
И язык не поворачивается  
для злой шутки.  
Нервы – что волны житейских стремнин.  
И откуда в памяти –  
рассветы, закаты.  
и запах знакомых с детства долин?  
И даже запах борща – такой ароматный!  
Даже на лице боцмана радость.  
И о чём,  
и какие быть могут вопросы?  
О, как надо, неизмеримо надо  
Потрогать землю за косы!

## Контакт

на берегу боком о бок  
жилы стальные лежат  
фендеры рвутся из скобок  
прыгают в ветре, трещат  
телу – в тоске о покое –  
смерть приласкает глагол  
шуточный образ героя  
прячет событие в стол  
но безмятежность большого  
айсберга бьёт словно ток  
жалом смертельным... и снова –  
голою страстью в висок  
глыбина льда – ещё эта:  
даже не смотрит под нос  
тонет корабль поэтов  
кто же прочтёт его? SOS!

## Лабрадорское течение

Интересно и красиво  
Брать течение за гриву,  
Где смешенье пополам –  
Суть начнётся только там...  
От усердия – брюхо колет:  
Чем бы снять страданья, боли?  
Полы плаща – как флаг труда  
Путь всё кажут нам ТУДА.  
Весь заплатанный, небритый  
Прихожу служить открыто,  
А за этакую честь –  
Всё, всегда, всемерно, весь!  
Главы скачут – о-па, о-па,  
Сразу скопом – и в Европу!  
Может, стоишь ты того,  
Коли выдержит пупок...

## Выход

По кругам над землёй летят мысли  
И по кругу кружится земля...  
Поднебесье поддержит путь рейсов,  
Когда в горне кругов крутятся

На своей круговерти ты счастлив,  
Но – что делать упавшим «за борт»?  
Когда жизнь всё трясёт – и напрасно  
Лишь тому да сему подаёт?

Когда рок злой туманы сгоняет,  
Кажет кукиш тебе одному,  
Никуда не уйти – понимаешь,  
Хоть не ясно – за что, почему.

И одна только мысль будто вспышкой  
Всю надежду в тебе пробудит:  
Тьме обманутой быть, как глупышке –  
Если радио рядом лежит.

И давай – за последнего словно,  
Ведь судьбе – улыбаться не вмочь:  
Скалы – вон с пути судна безмолвно  
И уходит незванный твой гость.

## Вчерашняя юность

Ты эти дали взглядом разожгла –  
И к небесам парят они, пылая,  
Покуда дня звезда лик лунный приняла  
И исчезает в море неба, так сияя.

Та непорочность волнами течёт –  
Даже лицо румянец мне украсил...  
И твоим оком смотрит, не моргнёт  
На палубу живитель чувства – благодать.

На струнах дали хочет свет играть,  
Быть, на любви дыханье опираясь –  
Как облачко, к волне шальной склоняясь,  
Её обнявши, к белым грудям припадает.

## По кругу

суть кораблей – всегда одна, но каждый – разный,  
хоть с той же самой одинаковой судьбой  
пускай характеры их в разной форме часто  
вернутся все они опять к себе домой

сияет тело когда души покидают  
с теми же целями огромных кораблей  
то что плывя откуда-то куда – не знаем  
вернёмся мы туда не раньше не позднее

идёшь идёшь покуда вновь себя не встретишь  
и понимая что до дикости одно  
всё то что было и что есть когда заметишь  
себя тем самым там же в капле сужденной

и понимаешь только ценность обращенья  
когда открытиями прошлое пестрит  
плывёшь вихляя на весах бездны-теченья  
день – ночь день – ночь ночь ночь... и ты забыт

## Поиски тайны

*Юбиляру*

Ушли времена несказанные  
Как реки – в заливы, в моря...  
В них – муки и вера в сказки,  
Рождённая в чувствах заря.

Теперь уж видать, как вращается  
То время по кругу кругов –  
Ногами, душой оно чаётся  
И ритмом привычных работ.

Творец невзирает на мелочи,  
Как в недра свои зрит порой –  
Важно ему кровотечение  
Там, под древесной корой.

## Полнолуние

По одному – назад, когда ушли – отрядом,  
Ко дню сведён срок ныне годовой...  
Меж их концами вижу я себе награду –  
Меж тем, что было-будет мне с лихвой.

Мрачная бездна без конца и без начала  
Обнимет крепко и навечно унесёт  
Туда, где световых лет память отзвучала,  
Где ты – не ты, и я – уже не тот.

Только надежда, словно мотылёк полночный,  
Ветрами брошенный меж землями летать  
Пока бессонные, таинственные очи  
Будут ярчайшую из павших звёзд искать.

Лишь в землю новые песчинки биться будут,  
И холод камня размельчит времени ход  
До боли сжав, сжигая благовоний груды –  
Покуда ночь лунатиков пройдёт.

## Будущее

Всю ночь с небес высоких  
Капает сок в земное чрево.  
И наполняется кувшин зелёный  
Такой искристой тишиной.

Утрами лица женщин и мужчин  
Полны покоя. Из долины  
Течёт он через край. И разукрасит  
Жару деньскую в жёлтый цвет.

## Не холодно ли?

Где грани голубых времён и далее?  
Их смелых моряков достигнет плот?.. –  
Не больно ли, коль по дорогам их катает,  
Не страшно ли, коль не качает, а трясёт?

Тебе ль не тесно меж вчера и завтра? Где-то  
Твои ль глаза на солнце тьму узрели?  
Не холодно ли меж зимой и летом?  
А жизнь большая – это ли не мелочь?

## Истина

От слов – носы бросает в пот... –  
Рукоплещите хлебу!  
Во слове столько истин ждёт,  
Сколько ты сам отмеришь...

Они гласят: скажи слова  
Что делать, как чтоб было... –  
Вбивают в главы: дважды два –  
Все пять, братишка милый!

Ту «истину» – грех отрицать:  
Она – как пар – летуча малость... –  
Земля кругла – ты должен знать,  
Но в уголках её – что случилось?..

## Туман

Что же вы плачете, судна глаза?  
Отчего тело и дух дрожит,  
Когда, словно тать, печали гласа  
Нашу воруют жизнь?

Во что обратились светлые дали  
И синее небо часов?  
На лице – травы морские остались  
В туман оброняемых слов.

На родине тихо, спокойно штурвалу –  
У самых врат чистых пучин...  
Ты сердце моё хоть раз услышала,  
Когда оно в море безвестной ночи?

## Близость

Этим утром все сказки восстали –  
И надежды неизмеримые.  
Шар земной ноги сдвигали:  
Смотрите же – море синее!

Лучом – прямо по небу голому:  
Ночь лунатиков сгнула!  
Как горящее сердце в руках несу  
Тебе звезду – самую красивую!

Глаза полны весеннего солнышка,  
Оставив чердак одиночества –  
Когда плывёт водами малое судёнышко  
В Клайпеды объятия горячие!

*Перевёл с литовского Clandestinus*

Йозас ШИКШНЯЛИС

Из цикла «Летние побасёнки»



### О писательстве

Недавно на каком-то интернет-портале зацепились глаза за статью, утверждавшую, что каждый из нас обязан постоянно писать, поскольку ежедневное писательство освобождает, обучает, побуждает и т.д.; было указано, по меньшей мере, десять пунктов, положительно влияющих на жизнь человека. Я не вникал, так как категоричеки отмечаю истины интернет-пророков, которые начинаются словами: «Последними научными исследованиями установлено...», а после – бредятина, на первый взгляд, конечно, выглядящая солидно, чем и подкупает легковерных. Ерунда, писательство – не смертельная болезнь, в наличии которой можно убедить слабого нервами интернет-читателя. Писательство – нелёгкий труд и не каждый по своему желанию, никем не понуждаемый, кинется работать даром; наконец, если каждый из шести миллиардов начнёт писать, кто же их читать-то будет? Да ещё все ли умеют писать, ведь какая-то часть человечества неграмотна! Да из умеющих – сколько безграмотных! Подавляющая часть не знает, о чём писать, ведь достаточно осмотреть писательский сад, каково среди них количество не знающих, о чём же писать, но упорно самим себе и другим доказывающих, что они ещё на многое способны. Ерунда, уже давно и ни на что! Только сами не хотят того признать. Что остаётся? Грубо говоря, ни много ни мало: для начала прочитайте статью и уверовать, что спасение – в писательстве. Вот, пожалуй, и всё. Ну, ещё могут присоединиться друзья с подругами, последователи. Но это – малейшая часть человечества, возможно, столь же малая, как и нетрадиционное сексуальное меньшинство. Потому всю бумагу не использует, останется лишь первой необходимости – туалетная, если вскоре не придумает этому замены. Своим писательством не замусорит и интернет, поскольку не только в рекламе всемогущ, уже ныне влезает на облака. Хватит ли тем для писательства, не начнут ли друг у друга списывать? Вопросы серьёзные, хоть литовец – изобретателен. Скажем, в случае отсутствия собственной темы хватаются за соседей, не проникая в глубь вопроса, но, начав с времён довоенных, пища Повилайтису или другому начальнику безопасности: мой сосед А. Н. хранит прокламации, направленные против власти, распространяемые подпольщиками или чердачниками; несколько позже в НКВД писали: мой сосед А. Н. был активным сторонником режима Сметоны и преследовал защитников трудового люда. Ещё позже – в Гестапо: мой сосед А. Н. – коммунист. С окончанием войны – вновь в НКВД: мой сосед А. Н. – пособник фашистских палачей, поддерживающий лесных братьев. После – уже в КГБ: мой сосед А. Н. распространяет антисоветскую литературу и антисоветские анекдоты. Ещё позже

– Лауринкусу или Поцюсу, или Грине: мой сосед А. Н. сотрудничал с КГБ и был их тайным агентом. Если это не помогает, можно и проще: мой сосед – педофил или бьёт жену, подделывает евро, распространяет контрабандные сигареты. Для веса всё можно написать на одной бумаге. Ведь та, как известно, всё стерпит. А сложив все жалобы в одну книгу, у нас появилась бы вторая «Правда кузнеца Игнатия». Имя можно менять. Вероятно, я забыл подсказать, что подписываться под такой бумагой вовсе не обязательно. Как, кстати, и под комментариями в интернете. Очарование анонимных писулук: заявил о своей позиции – и никто не заставляет делать её объектом дискуссии. Признаемся, что дискутировать любят лишь демагоги и урождённые спорщики, которые не правы, но умеют «протолкнуть» свою правду. Да и не надо тут стараться: дал в лоб – и чувствуешь себя как после акта любви, пустым и лёгким, поскольку кто-то переживает, вешается, плачет-рыдает, рвёт волосы, нанимает адвокатов, криминалистов, чтобы те установили личность комментаторов, а ты довольно насвистываешь, поскольку удовлетворился дешево и быстро, назвав какого-нибудь героя статьи педофилом, вором, кагэбэшником или попросту идиотом. Чего же боле? Почему пишут о нём, а не обо мне? Пусть знает! После всего, сказанного выше, допустимо сделать единственный вывод: писать обязательно, всем и каждому. Умеющим, а особо – не умеющим (поскольку – как ещё научишься), о себе, но желательно – о других, так как о тебе пусть напишут другие, так будет объективнее. О живой и неживой природе, о небесных явлениях, своих снах, страхах и надеждах, о земной и небесной власти (осторожно взвешивая слова, особенно о первой). Обо всём, что нас окружает, что было, что будет, чего не было, чего уже не будет, что надо, чего не надо. И тому подобного. И всё же в начале статьи упомянутый автор был прав: писательство успокаивает, например, от чувства вины. Ведь преступнику предлагается признаться в письменном виде и пообещать более не нарушать закона. Нужны ли ещё аргументы? И какие?

## Быстро и Скоро

Быстро можно оказаться, например, в тёплых странах – или прийти к коммунизму, хоть и было обещано, но ни скоро, ни вообще мы туда не пришли, вместо этого мы быстро оказались в НАТО и Евросоюзе, можно сказать, не моргнув и глазом. Можно скоро одеться, но и раздеваться не следует медленно, особенно в некоторых, скажем, пикантных случаях, чтобы от долгого раздевания не испарилось желание... Можно быстро заснуть, но можно и провалиться всю ночь, считая гвозди в потолок. Можно скоро сделать дело, но скорое дело сам чёрт нахваливает. Скоро – излюбленная форма отговорок, столь обожаемая мошенниками да обещалкиными. Ждёте, когда будет дождь из баранок? Скоро. Когда дождь перестанет? Скоро. Когда упадут цены и вырастут пенсии? Скоро. Когда потеплеет? Скоро. И так далее. Но скоро. Можно скоро сделать и можно скоро дожидаться, поскольку скоро – универсальная единица измерения, которая сокращает время. Не измеряет, а именно сокращает. Словами и обещаниями, но не в действительности. В одних случаях это скоро радует, в других – бесконечно огорчает. Не хочется, чтобы быстро проходило удовольствие, однако неприятность могла бы скоро пройти. Скоро наступит совершеннолетие и скоро дождётся пенсии, скоро уволят с ра-

боты и скоро выберут членом Сейма. Есть люди быстро переваривающие пищу и быстро насыщающиеся, не обязательно у кормила власти, хоть и за свои, кровно заработанные. А сколь много скоро, даже короче, нежели с первого взгляда, влюблённых, но наряду с ними ещё больше и скорее расставшихся, которым хватило лишь слова, да что там слова – взгляда! С ними следует вспомнить способных быстро находить (не обязательно партнёров, можно призвание или счастье). Есть не только быстро устающие, но и быстро восстанавливающие силы, только редко кто из последних раскрывает тайну, как ему это удаётся. К тому же надо не забывать о быстро болеющих и быстро выздоравливающих, но не путать их, так как это разные категории. Статистика умалчивает, сколько из сотни граждан быстро соображающих и сколько с замедленной реакцией. Сколько склонных быстро обложаться, но этим, вероятно, ни один не рискнёт хвастаться. Быстро удовлетворяющиеся тоже не склонны хвастаться, ведь это не значит, что обе стороны чувствуют это одновременно, а отсюда происходит немало конфликтов. Многим ли из нас быстро удаётся переориентироваться и правильно выбрать сторону? А сколько из сотни опрошенных признаются, что могут быстро нажраться и вырубиться? Это могут показать только практические занятия. Теперь – из другой оперы. Время, например, течёт не всегда быстро. Молодожёнам, ожидающим брачной ночи, оно ползёт медленнее улитки; мужу, ожидающему жену возле обувного магазина также не быстрее; время на работе – вообще стоит на месте. Между тем время благословенных мгновений летит на первой космической скорости, время каникул ничуть не отстаёт, да и вся жизнь такова, если хорошенько разобраться: не успеешь оглядеться да порадоваться, а тут и гроб стучит о катафалк. Но худшее, что человек ничего не в силах изменить, замедлить, словно в кино, даже ускорить не в состоянии, поскольку это выше его возможностей – и ещё не скоро придёт время, когда ситуация изменится. Наука отыщет метод, как продлить удовольствие, например, или сократить время ожидания (мужа, ожидающего жену у магазина). Вероятно, без каких либо инсинуаций должно быть ясно, что в некоторых ситуациях наука бессильна. Изобретай велосипед или самолёт, но если это происходит чересчур быстро, значит, так и будет, если, наоборот, говоря, также ничто не меняется. Таков мировой порядок, который скоро меняться не намерен. Поэтому тот, кто до наших рассуждений быстро раздевался, будет вести себя также; кто до нас быстро спускал, разочаровывая партнёра, тот тоже не изменится; кто заслужил быстрого воздаяния, тому также не придётся долго ждать, кому колдун или судьба предопределили скоро разбогатеть (или обнищать), тот пусть не рассчитывает от этого вывернуться, поскольку такие уж есть правила устройства нашей жизни и никто не в силах их изменить.

*Перевёл с литовского Clandestinus*



## Дайнюс СОБЕЦКИС

### Рыбная ловля

есть у меня такая привычка  
удить без удочки

привычка  
не закинув  
вытягивать улов

без крючка  
ухитряюсь  
ловить  
получать

без лески беру  
что мне не принадлежит  
забрасываю сеть

### Рыбная ловля II

у лодочного причала  
порванные сети

отпечатки босых ног  
на вышитой бурями  
песчанной плащанице

тишина в горле птиц  
шум на городском базаре

невиданное изобилие  
серебрянных рыбок

лучшая приманка  
к послеобеденной рыбной ловле

три фунта свежего  
копчёного  
может солёного  
угря

омыть душу

## Сомнение

сними с меня крест  
тяжко его тащить  
с горы на гору  
тяжко выбрать гвозди  
ржавеют  
от свернувшейся крови  
молот где-то забыл

сними с меня крест  
выбери жертву иную  
жертвенник Тебе содею  
где лишь пожелаешь  
принесу в дар  
что лишь попросишь  
ибо нет незаменимых

сними с меня крест  
окроплю раны Твои  
слезами Мёртвого моря  
знаю  
Тебе будет больно  
кому-то должно быть больно  
ведь затем и был  
послан на землю

сними с меня крест

## Стирка

сколько грязи приволок  
в мой дом

пришёл в гости  
не попросившись  
не уведомив

словно я сам  
чистым являюсь  
будто святой  
неба не видел

ну  
пшёл вон  
не мешай

видишь ведь  
что стираю  
прошедшие годы

## Молитва

квakanьe лягушек  
утром у болота  
стучаньe синички  
днѐм в окно  
улыбки роз  
на блѣклое солнце  
ржаньe коня  
тянущего воз  
гудение мухи  
в правое ухо  
мычаньe коровы  
ввечеру у сарая  
плач младенца  
проснувшегося ото сна  
завывание волка  
ночью у горы  
мой храп поутру  
на Твоей подушке

## Круг

пали . ангелы  
удивляются . души  
страдают . человек  
жертвует . ночь  
приходит . день  
остаѣтся . осень  
на земле . пали

## Учитель

явился ниоткуда  
(так не бывает)  
спустился с небес  
или чревом земли  
был исторгнут  
утверждал что он

истинный  
учитель присланный  
свыше  
побуждал следовать  
за собой в воду  
в огонь  
вывернуть свои карманы  
обещал вечность  
по вере  
по уплыванию денег  
  
и я  
будто ослепший  
малOVER  
соблазнился

\* \* \*

рановато пришёл  
не успел я порадоваться  
удовольствиям с молодой  
женою  
  
не успел я снять  
другого ржаного урожая  
  
не успел я получить  
проценты за  
солидный вклад  
  
не успел я вернуть  
деньги за новую  
мыльную оперу  
  
не успел я издать  
новой книги  
нового CD  
  
не успел я отдохнуть  
в Гаване выкурить  
кубинскую сигару  
  
не успел я наверхнуть  
рюмочку Метаксы  
затянуться марихуаной  
  
не успел я произнести  
слова прости  
  
ты уже здесь  
со своими ангелами

горном  
последнего суда  
пришёл  
не совсем  
вовремя

### Конец

солнце вошло на западе  
луна осталась на своём месте  
аварийные сосульки  
инвазии ножей  
в мягкотелые облака сарачни  
дополнили пятые  
десятые страницы  
отверзлись водопады в пещерах  
поднялись выше дамб  
невиданные винные реки  
ни хлеба ни рыбы  
лишь горбушка  
косточки в дорожной суме  
капля под солнцем  
замерло время  
в глазном зрачке  
дан приказ  
отозвать  
Начало

*Перевёл с литовского Clandestinus*

Нийоле КЯПЯНЕНЕ-КЛЮКАЙТЕ

**«Под солнечным ветром»**  
*Отрывки из романа*

ЛЮБОВЬ – НЕ ПЁСТРЫЙ МОТЫЛЁК

А теперь я хотела бы поговорить о любви. Открыто, без намёков. Думаю, что даже посетив все галактики, облетев все планеты и даже пройдя ущелья всех этих планет, о любви будешь знать лишь столько, сколько и перед началом путешествия. Можешь искать её в книгах, музыкальных произведениях или чьих-то глазах, поймав одобрительный взгляд; можешь воображать, что нашёл нить любви, следуя за которой надеешься придти в землю обетованную, но нить однажды возьмёт и закончится, да и сам клубок обратится в ничто – и останешься у разбитого корыта, жалуясь, что так ничего и не узнал о любви.

Глядя на Фобоско и Зету, враз становилось ясно, что их объединяет любовь. Всем это было ясно, но только не им самим. Фобоско, проходя мимо Зеты, лишь вежливо кивал и тут же отводил глаза в сторону, а Зета... Он вязала и вязала множество цветов. Связала такое неувядающее количество доказательств своей любви, что это было бы давно ясно кому угодно, но только не Фобоско. И даже не великолепной Зете.

Тем временем Ной нарезал на виолончели, а Сигиберт вздыхал. А я... Я старалась поймать их взгляды. Словно они были бы пёстрыми мотыльками, которых можно поймать сачком или просто рукой, затем приколоть булавкой (фу, так бы я никогда не поступила!) и исследовать, словно любовь была бы написана у них на крыльях. Не могу прочитать её знаков, не узнаю их. Но знаю, что весь наш лагерь наполнен таинственными чарами. От них чихают капарки и меняют цвета ядовитые соцветия.

От любви, даже если её не пускать внутрь, кружится голова.

И всё же прекрасно, что она есть. Ведь если б её не было, то без всякого сожаления приколола бы самую красивую бабочку к стене и оставила бы как доказательство.

СОН-СПАСИТЕЛЬ

Проснулась от гудения. Есть такой вид тишины, когда всё вокруг – предметы, растения, даже воздух – гудят от беспокойства. Спала, наверное, долго, поскольку гудение было довольно тяжёлым, и всё же, едва я пошевелилась, кто-то предупреждающе засвистел.

– Господин Агар, я очень извиняюсь, – вспомнила я последние слова учёного о космосе, пребывающем в каждом из нас. – Вы так интересно рассказывали, а я

заснула. Со мной частенько так происходит, я засыпаю в самый неподходящий момент...

Мои слова были проглочены этим тяжёлым и угрожающим гудением, которое меня и разбудило.

Я поднялась и наощупь, задевая за острые углы и действительно незнакомые мне предметы, стала пробираться незнамо куда. Ну да, я заснула. Наверное, Агар положил меня на какой-нибудь матрац или покрывало, скорее всего, даже укрыл, так как проснулась я, укутанная в какое-то одеяло; обычно я и голову прячу под одеяло и сплю, словно гусеница в коконе, так мне удобнее, наверное, каждым утром надеюсь превратиться в прекрасную бабочку.

Тьма, соединившись с тишиной, поглощала всё кусками, даже не пережёвывая.

Я кричала, вопила: эй, вы там, я – здесь, куда пропали? – но никто не отозвался. И лишь когда я напоролась на некую трубу, ощупав которую, поняла, что это телескоп – такому дорогому аппарату действительно не место под ногами! – догадалась, что случилось что-то страшное.

Итак, наконец, я достигла стены. По стенке, ощупью, продвигаясь, может, на сантиметр в минуту, добралась до лестницы и, держась за перила, спустилась вниз. Нашла свечу и зажгла её.

Всё в домике было не так: на полу – рассыпаны крупы, множество осколков, стулья, разбитые в щепки, покрывала, одеяла, коврики, даже вязанные Зетой цветы – всё смято, разодрано, разбросано...

Вдруг силы покинули меня. Упала на колени посреди этой разрухи, шепча:  
– Где же вы? Где?..

Тьма, казалось, кусала мои руки. Гудение разрывало уши. Ну вот, я совершенно одна на чужой планете. Как же в это мгновение я тосковала по маминым наставлениям, даже по наглым замечаниям друзей. Всё перенесу, лишь дайте мне вернуться. Всё, да, всё перенесу...

Ещё некоторое время я вздыхала. Видать, порядочно, так как тьма понемногу обретала серый оттенок, и хоть свеча полностью сторела, я видела всё куда лучше.

Печальное зрелище.

Что же тут случилось?

Со светом стал возвращаться и трезвый рассудок.

Очевидно, что с моими друзьями приключилось нечто ужасное.

Меня, задремавшую в маленьком уголке, видать, не заметили.

Я обязана спасти их!

Вышла из домика на улицу. Все цветы во дворе были повыдраны, даже хищные вьюнки с вечно голодными пастями. Пройдя через двор, взобралась на кукадру – любимое дерево, в ветвях которого я прятала тетрадь со стихами.

Вот тогда и заметила, что телескоп, которым капарка накрывал мой уголёк, зашевелился. Я даже увидела маленькую ручку, что-то вслепую ощупывающую.

Я стремглав спрыгнула с дерева. Карманник Паскабальд. Конечно, это он!

Возможно, что и остальные неподалёку? Может, спрятались?

Оттолкнула телескоп... ничего. Лишь немного смещённый дёрн.

Подняла его – пещера!

– Паскабальд! Я тебя видела! Ты просто обязан появиться! Это я, Нита! – кри-

чала я в открывшийся лаз в пещеру. – Вылезай! Умоляю тебя, нет – приказываю! Я теперь командую.

Даже не помню, сколько вздора я ещё наговорила, сколько всего наобещала, но, наконец, милейший Паскабальд Виргиниус Мун высунул сморщенную свою мордочку.

Я просто вырвала его из пещеры. Обняла, будто потерянного и вновь обрётённого младенчика.

– Нита, деточка, остались лишь мы вдвоём. Только ты и я, – всхлипывал карманник. – Но не бойся: Паскабальд Виргиниус Мун о тебе позаботится...

Это было так смешно, что я приснула. Я качаю его на руках, а он обещает обо мне позаботиться!

На чужой планете и обычаи чуждые. Может, здесь, на планете Деймос, младенцы заботятся о своих родителях?

Хотя, если подумать, чего уж тут такого чуждого? Если бы не дети – бедные родители, хоть и на Земле – чего-нибудь доброго совершили бы?

*Перевёл с литовского Clandestinus*

Юргис ГИМБЕРИС

**Дефицит**

(Из рассказов Феликса Жертвы)

И была ночь. И светила Луна. И выпили мы уже столько, что чувствовали себя, как сказал Бёлль, почти счастливыми. В кустах заливался соловей, мимо текла Нерис, шелестела на траве постеленная газета, светился на ней ломтик сала и жирные губы Лазурки.

Ишь ты, как смешно получилось – обе бутылки уже пусты, а сало ещё осталось. Маленький такой кусочек... Но всё равно, хоть возьми да заведись. Облизались мы втроём, как коты...

Вернее, два кота – я и Альгис Архитектор, – да одна кошка – Лазурка. Альгис был мудр в юности, так он некогда и придумал этот афоризм... Придумал и написал пальцем на побелённом стекле окна ремонтируемого магазина: «Увидел Лазурку, и ты – её раб!» И теперь ещё Альгис-шельма владеет даром писать, но уже не каким угодно пальцем, как некогда.

Да-да... увидел Лазурку – и ум скатывается в штаны. Именно такое настроение тогда нас и охватило, то есть меня и Альгиса – мы были рабами желания. Всё слабее духом и всё твёрже телом. А Лазурка тем временем зевала и ковыряла спичкой в зубах, сладко потягиваясь. И светила Луна. И, как я уже говорил, заливался в кустах соловей, а мимо текла Нерис, серьёзно настроившись. И тогда плеснула хвостом рыба, выпрыгнувшая из воды – не знаю, прыгают ли рыбы ночью, но хвостом плеснула. А если не рыба, так русалка – или идущий мимо пьяница в воду рухнул, но так или иначе это был знак.

«Дала бы ты нам, что ли?» – говорит тогда Альгис.

«Мужики, – отвечает Лазурка, – мне не жаль, но у меня триппер.»

А триппером в те времена называли половым путём распространяющуюся болезнь гонорею.

«Лжёшь», – говорю я Лазурке.

«Феликс, – отвечает Лазурка, – Жертва ты, когда я тебе лгала?»

Что правда, то правда – совести у неё было больше, чем зубов, никогда не лгала. Жаль, что в момент помутнения рассудка на такие мелочи не обращаешь внимания...

Словом, в следующий раз мы с Альгисом встретились в диспансере венерических заболеваний, оба с той же бедой.

«Надо бы, – говорю я ему, – этой Лазурке хорошенько начистить рыло.» «Почему? – спрашивает Альгис, – ведь она честно нас предупредила.»

«Я думал, что шутит», – говорю.

«В определённом смысле, – говорит Альгис Архитектор, – можно сказать, что и пошутила.»

Ничего себе шуточки, а? Но откуда ж она его взяла?! Ведь в те времена был тотальный дефицит на всё. Оказывается, кое-чего всё-таки можно было достать и тогда...

Борис АДАМОВ

## ЛЮДВИКАС РЕЗА. Литовские уроки

Давно уже пески Куршской косы занесли деревню Карвайтен (Karwaiten) севернее Ниддена (теперь Нида в Литве), где 9 января 1776 года родился Людвиг Реза (Martin Ludwig Rhesa, 1776 – 1840).

Время уничтожает города и селения, но не может уничтожить память о человеке, достойном сей памяти. Так случилось и с Людвигом Реза, 240 лет со дня рождения мы отмечаем с Вами сегодня.

Жизнь поначалу не обещала Людвигу больших трудностей, ибо он родился в большой и достаточно обеспеченной семье. Отец владел постоянным двором и одновременно состоял на государственной службе – был спасателем судов и смотрителем за сборщиками янтаря. Но и отец, а вскоре и мать умерли от туберкулёза, оставив шестилетнего малыша полным сиротой<sup>1</sup>.

Беззаботное детство закончилось. В те же шесть лет, что и у Кристионаса Донелайтиса:

Только родимся на свет, как в гости – одна за другою –  
Жалуют беды к нам, и от люльки и до могилы  
Ни на минуту от них избавления нам не дожждаться<sup>2</sup>.

Но мир не без добрых людей, и шестилетнего сироту взял на воспитание почтовый служащий Бёме из Росситтена (Rossitten, ныне пос. Рыбачий Зеленоградского района)<sup>3</sup> на той же Куршской косе.

Что из себя в то время представляла сия деревушка, можно узнать из путевого дневника русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина (1744 или 1745–1792). Автор «Бригадира» и «Недоросля» путешествовал в 1784 году за границу вместе со своей женой. Проезжая по Куршской косе из Мемеля в Кёнигсберг, он утром 8 августа 1784 года заехал в Росситтен переменить лошадей и оставил об этом местечке весьма нелестные слова: «Rossitten есть прескверная деревнишка. Почтмейстер живет в избе столь загаженной, что мы не могли в нее войти»<sup>4</sup>. А если бы Фонвизин всё-таки вошёл, то непременно встретился бы с любопытным взором восьмилетнего мальчонки, забившегося, может быть, от смущения перед неизвестным ему русским баринном куда-либо в угол либо под стол.

Три года провёл Людвиг в Росситтене. Оттуда девятилетнего Людвигу забирает к себе в село Каукемен (Kaukehmen, ныне пос. Ясное Славского района) его родственник пастор Виттих (Christian David Wittich, 1751–1824). Обучив Людвигу основам латинского языка, пастор благодаря своей настойчивости устраивает его в 1791 году

<sup>1</sup> Йовайшас А. Жизнь Людвигаса Гедиминаса Резы – пример самоотверженности. // От Мажвидаса до Видунаса: Творцы и хранители литовской культуры в Кёнигсбергском крае. / Сост. В. Шилас. – Вильнюс: Минтис, 1999. – С. 87.

<sup>2</sup> Донелайтис К. Времена года. Поэма / Пер. с литов. Д. Бродского. – Изд. 3-е. – Вильнюс: Вага, 1984. – С. 20.

<sup>3</sup> Палмайтис Л. Выдающийся кёнигсбержец // Балтийский альманах. – № 4. – Калининград, 2004. – С. 129.

<sup>4</sup> Костяшов Ю. В., Кретинин Г. В. Россияне в Восточной Пруссии. – В 2-х ч. – Ч. 2. Дневники, письма, записки, воспоминания. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2001. – С. 71.

учиться в Кёнигсберге в Лёбенихтской латинской школе и жить – в Лёбенихтском приюте для неимущих<sup>5</sup>, расположенном на углу Ланггассе-Пауперштайг.

Такие приюты, называемые по-немецки пауперхаус (Pauperhaus), имелись у каждой городской школы – Альтштадтской, Кнайпхофской и Лёбенихтской. По 20–40 бедных школьников проживало в каждом таком доме, которые содержались на завещанные горожанами деньги и их пожертвования<sup>6</sup>.

Жить школьникам в приюте было не слишком легко и «сладко», их обязанностью было (вместе с половиной учителей) петь в школьном хоре, сопровождать своим пением похоронные процессии и тому подобное<sup>7</sup>. Часть таких школьников прислуживала за столами в университетской бесплатной столовой для студентов, но здесь же их заодно и кормили<sup>8</sup>. Так что бедным школьникам такая работа была, пожалуй, своеобразной поддержкой и, может быть, даже наградой.

Несмотря на все эти трудности и даже некоторые унижения, молодость и жажда знаний преодолевали всё. Реза только закалялся в таких условиях и становился крепче, устойчивее, упорней.

Так что из всего этого можно вынести тот жизненный урок, который вынес Людвиг Реза (а до него и Донелайтис), который точно сформулировала русская пословица: *«Терпение и труд всё перетрут»*.

В тех приютах были и свои библиотеки, которые горожане тоже не обходили своим вниманием. Например, профессор Кёнигсбергского университета знаменитый поэт Симон Дах (Simon Dach, 1605 – 1659) пожертвовал в 1648 году кнайпхофскому приюту прекрасный двухтомник речей одного из знаменитейших древнегреческих ораторов Демосфена (384–322 до н.э.). А некто Кун (Kuhn) завещал в 1767 году 1190 флоринов<sup>9</sup>.

Примеры благотельств такого рода не прошли мимо Людвига Резы. И став вполне благополучным профессором, он не забыл, что провёл детство и молодость в нужде. Желая облегчить учёбу и путь к науке малоимущим студентам, профессор Реза завещал свои сбережения (22 тысячи талеров<sup>10</sup>) на постройку общежития для студентов. И такое общежитие, известное как «Резианум» («Rhesianum») было построено в 1845 году на улице, названной его именем (Rhesastraße)<sup>11</sup>. Позже «Резианум» был переведён в другое место – на Хуфене.

Поэтому из этого следует ещё один урок:

*Делать людям добро. Делать его независимо ни от каких обстоятельств и не надеясь при этом на благодарность. Просто делать. И всё.*

К 1795 году Реза уже достаточно подготовленный молодой человек – он поступает учиться в Кёнигсбергский университет на теологический факультет, студентам которого предоставлялись некоторые льготы.

<sup>5</sup> Йовайшас А. Жизнь Людвигаса Гедиминаса Резы – пример самоотверженности. – С. 87; Палмайтис Л. Вы-дающийся кёнигсбержец // Балтийский альманах. – № 4. – Калининград, 2004. – С. 129.

<sup>6</sup> Albinus R. Lexikon der Stadt Königsberg Pr. und Umgebung. – Zweite erweiterte Auflage. – Leer: Verlag Gerhard Rautenberg, 1988. – S. 239.

<sup>7</sup> Tetzner F. Die Slawen in Deutschland. – Braunschweig: Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 1902. – S. 50.

<sup>8</sup> Tetzner F. Die Slawen in Deutschland. – S. 51.

<sup>9</sup> Tetzner F. Die Slawen in Deutschland. – S. 50 – 51.

<sup>10</sup> Schmidtke M. Königsberg in Preussen: Personen und Ereignisse 1255–1945 im Bild. – Husum: Husum, 1997. – S. 151.

<sup>11</sup> Gause F. Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen. – Band II. – 2. ergänzte Auflage. – Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1996. – S. 345.

Его же современник и одноклассник Эрнст Теодор Вильгельм (затем Амадей) Гофман (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776–1822) в тот год завершил своё обучение на юридическом факультете Альбертины, так что встретиться в университете им не пришлось. Жаль, конечно.

Здание университета располагалось на острове Кнайпхоф меж двух рукавов реки Прегель. Построенный два с лишним столетия назад, «университет сей, – по утверждению Андрея Тимофеевича Болотова (1738–1833), – ни наружностью, ни внутренностью своей не мог приводить в удивление, ибо здание его было самое простое и старинное, и самая аудитория не составляла никакой важности»<sup>12</sup>. После таких слов Болотов, правда, добавляет, что «со всем тем по существу своему был сей университет не из последних, и училось в нем великое множество всякого звания людей, и в том числе много и знатных»<sup>13</sup>.

Но как бы ни выглядело университетское здание снаружи, и каким бы трудным и зачастую бедственным ни было положение его профессоров, в университете трудились замечательные преподаватели и учёные. Благоприятно и велико их влияние на становление личности Людвиг Резы, с увлечением изучавшего, кроме теологии, ещё и восточные языки и философию<sup>14</sup>.

Одним из таких профессоров, и его надо назвать первым, был Иммануил Кант (Immanuel Kant, 1724–1804). Людвиг Реза успел ещё послушать его последние лекции.

Сильное впечатление, думаю, произвели и сам Кант, и его философия на молодого Резу. Ибо свою докторскую диссертацию он, одним из первых, напишет впоследствии по трудам Канта – о его этических принципах и их применимости.

В Кёнигсбергском университете с 1718 года существовал литовский семинар для обучения пасторов и учителей, направляемых в приходы с литовским населением. И Реза, будучи ещё студентом, преподавал там с 1797 по 1799 год в качестве доцента литовский язык<sup>15</sup>. Этот первый преподавательский опыт дал ему многое и предопределил, вероятно, его последующую педагогическую деятельность. Да к тому же обеспечил Резе так необходимую (а может, даже крайне необходимую) ему материальную поддержку, заработанную собственными знаниями и трудом.

Так что мы можем вынести отсюда ещё один урок:

*Знания лишними не бывают.*

*Никакие знания не обременительные.*

Тогда же, в университете, Реза преобразовал отцовскую фамилию Резе (Reehse) на литовский вариант – Реза (Rhesa). Такой вариант встречается уже в его прошении 1796 года<sup>16</sup>.

На рубеже веков Кёнигсберг был довольно музыкальным городом, наряду с публичными концертами в нём часто устраивались любительские концерты. Как писал о Кёнигсберге в марте 1800 года во «Всеобщей музыкальной газете» один из современников, «дух музыки столь безраздельно царит в местных образованных кругах, как это может быть только в самых больших городах. Взлёт воодушевле-

<sup>12</sup> А. Т. Болотов в Кенигсберге: Из записок А. Т. Болотова, написанных самим им для своих потомков. – Калининград: Кн. изд-во, 1990. – С. 54.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Йовайтас А. Жизнь Людвигаса Гедиминаса Резы – пример самоотверженности. – С. 87.

<sup>15</sup> Citavičiūtė L. Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras: Istorija ir reikšmė Lietuvių kultūrai. – Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – P. 211.

<sup>16</sup> Forstreuter K. Rhesa, Martin Ludwig // Altpreußische Biographie. – S. 552.

ния наблюдается особенно в этом году... Множество публичных и частных концертов... свидетельствуют об этом воодушевлении»<sup>17</sup>.

Всё это, несомненно, повлияло и на Людвига Резу, посвятившего впоследствии значительную часть своей деятельности сбору и публикации литовских народных песен. Ведь насколько важно оценить не только содержание таких песен, но и их интонацию, их музыкальность. А это невозможно постичь без развитого чувства музыки, волны которой заставляют вибрировать, звучать и петь настроенные на восприятие душевные струны слушателей. Всё это не только даётся при рождении, но и воспитывается и развивается. Для этого нужно соответствующее музыкальное воспитание, образование и музыкальное окружение. Первое давалось в университете, а второе – самим городом Кёнигсбергом и царящим в нём духом музыки.

Поэтому сформулируем ещё один урок:

*Общий культурный уровень определяет успехи в своей собственной специальности. Чем шире кругозор, тем дальше видим.*

В 1799 году Реза заканчивает университет. Работает сначала домашним учителем<sup>18</sup>, а в 1800 году становится военным проповедником, посвящение в которого происходило в Потсдаме<sup>19</sup>. Семь лет служит он в Кёнигсберге гарнизонным проповедником в крепости Фридрихсбург<sup>20</sup> на левом берегу Прегеля. Эту крепость, сооруженную в 1657 году по проекту курфюршеского строителя крепостей и придворного математика Кристиана Оттера (Christian Otter, 1598–1660), велел построить для острастки кёнигсбержцев и контроля морской торговли Великий курфюрст Фридрих Вильгельм (Friedrich Wilhelm, 1620–1680, правил с 1640). Пушки крепости и солдаты в ней не давали горожанам забыть, кто здесь настоящий хозяин и властелин.

Вот в этой крепости, связанной со многими событиями в истории города, и нёс свою службу Людвиг Реза. Службу пасторскую, но в какой-то мере ещё и военную.

Но не такая деятельность притягивала Людвига Резу, а научная и педагогическая. В 1807 году он одним первых защищает докторскую диссертацию по трудам Канта. «О разъяснении морали святых книг по Канту» – так называлась его диссертационная работа<sup>21</sup>. После получения степени доктора философии он получает право читать лекции в университете<sup>22</sup>. Сначала в качестве приват-доцента, а с 1810 года – экстраординарного профессора. В том же году он издаёт на латинском языке большую работу «О первых шагах христианства в литовском народе» («De primis vestigiis religionis christianae Lithuanos propagatae»)<sup>23</sup>.

А ещё Реза пишет стихи на немецком языке и в 1809 году издаёт томик своих стихов, назвав их латинизированным именем Пруссии – «Прутена». Но тихой профессорской жизни не получилось: по всей Европе, в том числе и по Восточной Пруссии, проходила тяжёлой поступью французская армия императора Наполеона.

В июне 1812 года «Великая армия» двинулась в поход на Россию. В многонациональной по составу армии был и прусский корпус. Бригадным проповедником там служил Людвиг Реза<sup>24</sup>.

<sup>17</sup> Цит. по: Сафрански Р. Гофман / Пер. с нем. В. Д. Балакина. – М.: Молодая гвардия, 2005. – С. 42.

<sup>18</sup> Палмайтис Л. Выдающийся кёнигсбержец // Балтийский альманах. – № 4. – Калининград, 2004. – С. 129.

<sup>19</sup> Йовайшас А. Жизнь Людвигаса Гедиминаса Резы – пример самоотверженности. – С. 88.

<sup>20</sup> Палмайтис Л. Выдающийся кёнигсбержец // Балтийский альманах. – № 4. – Калининград, 2004. – С. 129.

<sup>21</sup> Гензалис Б. Иммануил Кант и литовцы // От Мажвидаса до Видунаса. – С. 79.

<sup>22</sup> Йовайшас А. Жизнь Людвигаса Гедиминаса Резы – пример самоотверженности. – С. 88.

<sup>23</sup> Йовайшас А. Жизнь Людвигаса Гедиминаса Резы – пример самоотверженности. – С. 94 – 95.

<sup>24</sup> Forstreuter K. Rhesa, Martin Ludwig // Altpreußische Biographie. – S. 552.

Финал похода «Великой армии» в Россию хорошо известен, и уже в конце декабря 1812 – начале января 1813 года кёнигсбержцы увидели отступающих французов, разбитых и деморализованных. В ночь с 4 на 5 января город покинули последние французские солдаты. Через несколько часов здесь появились русские казаки, а затем уже и остальные части.

В городе снова начался патриотический подъём, охвативший все слои населения. Именно здесь, после выступления генерала Йорка (Johann David Ludwig Yorck, 1759–1830) на заседании ландтага 5 февраля 1813 года, был принят закон «Об ополчении». Сотни людей вступали добровольцами в ополчение, а кто не мог, жертвовали деньги и ценности на экипировку и вооружение ополченцев.

И разве могли остаться в стороне от этого кёнигсбергские студенты? Нет, конечно, они тоже жаждали послужить освобождению родины и всей Германии от наполеоновского господства. И в массовом количестве вступали в ополчение. О чём и информировал своих русских читателей московский журнал «Сын Отечества» в сообщении из Берлина от 13 марта 1813 года: «В Кенигсбергском университете прекратилось учение, потому что все студенты добровольно отправились к армии»<sup>25</sup>.

Но не только студенты. Господин профессор Реза тоже отправился в армию: воевать не оружием, а словом, в качестве военного проповедника. Военные пути-дороги 1813 – 1814 годов, ведя его по разным городам и странам, довели до Парижа и Лондона. Об этом Реза сам поведал в военном дневнике, вышедшем в Берлине на немецком языке в 1814 году под названием «Сообщения и замечания из дневника военного священника» («Nachrichten und Bemerkungen aus dem Tagebuche eines Feldgeistlichen») <sup>26</sup>.

Такую военную дорогу Людвиг Реза выбрал себе сам. Так же можем поступать и мы, помня тот завет, который дал ещё много веков назад великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265 – 1321):

*Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно.*

Своей дорогой шёл и другой поэт – литовский: Кристионас Донелайтис.

Участие в Освободительной войне, испытание того массового патриотического подъёма не могло не сказаться, на мой взгляд, на дальнейшей судьбе Резы. И ещё в большей степени повернуло его к изучению истоков литовского народа и его языка, его народного песенного творчества и его культуры.

Особой заслугой Резы стали перевод на немецкий язык и издание поэмы замечательного литовского поэта пастора Кристионаса Донелайтиса (1714–1780) «Времена года».

Когда Людвиг Реза узнал об этой поэме, она находилась у суперинтендента из Вальтеркемена (ныне посёлок Ольховатка Гусевского района) Иоганна Готфрида Иордана (Johann Gottfried Jordan, 1753–1822) – молодого друга пастора и поэта. Цени и понимая значение творчества Донелайтиса, Иордан после его смерти приезжает к его вдове Анне Регине (Anna Regina) и просит рукописи поэта. И получает их, как память о покойном: ноты, письма и другие бумаги, среди которых находилась и рукопись ставшей впоследствии столь знаменитой поэмы<sup>27</sup>.

От Иордана Реза получил две главы поэмы – «Радости весны» и «Летние труды».

<sup>25</sup> Цит. по: Лавринович К. К. Альбертина: Очерки истории Кенигсбергского университета. – Калининград: Кн. изд. – во, 1995. – С. 205.

<sup>26</sup> Forstreuter K. Rhesa, Martin Ludwig // Altpreußische Biographie. – S. 552 – 553; Йовайшас А. Жизнь Людвигаса Гедиминаса Резы – пример самоотверженности. // От Мажвидаса до Видунаса. – С. 89.

<sup>27</sup> Rhesa L. Vorbericht // Donelaitis K. Metai. – 1818 metu faksimilinis leidinis. – Kaunas: V. Staniulio knygynas, 2010. – P. XXI.



## Путешественник в Атлантиду

Более 70 персональных выставок по всей Европе, в России и Америке, более пяти сотен акварелей, на которых художник запечатлел руины Восточной Пруссии, маринистика, литьё и в том числе самая узнаваемая калининградцами работа – бронзовая скульптурная ком-позиция, «1930. Символы Кёнигсберга», которая установлена перед Кафедральным собором, на острове Канта... Всё это – литовский художник и скульптор Романас Борисовас, который вот уже более пятидесяти лет ведёт свою летопись нашей земли, ставшей, по собственному его определению, «современной Атлантидой».

Так уж устроен мир, что следует принять за правило: в большинстве случаев, рассматривая цепочки событий или явлений, мы не можем установить точно их отправную точку. Однако в нашем случае вполне возможно вопреки правилу определить тот момент, когда любопытство превратилось во вполне сформированный интерес, желание стало потребностью, а детская фантазия определила судьбу взрослого человека. Время и место – Вильнюс 1961-го года, где семья Борисовых в то время жила<sup>1</sup> и где Роман ходил в школу. С этого времени он начал в себе ощущать вполне осознанный интерес к архитектуре и вообще к исторической городской среде.

Родиться ему повезло в нормальной семье, которую обошли ссылки и репрессии, спустя несколько лет после войны. Отец занимал относительно высокие посты в тогдашнем руководстве и целыми днями пропадал на работе. Мать – образованный германист и хороший художник, все свободное время отдавала сыну. Работа отца давала возможность жить в относительном достатке. Дома была масса литературы на разных языках. В дальнейшем все эти языки оказались рабочими языками мальчика. Но это уже позже. А пока он наивно мечтал о том, как станет

---

<sup>1</sup> В Вильнюс его семью привёл долгий и причудливый путь во Прибалтике. Ещё в XVII-м и в первой половине XVIII-го века восточные окраины Речи Посполитой приняли многие сотни семей русских староверов-федосеевцев (с новгородских и псковских земель), уходивших от религиозных преследований, а затем – и просто русских крестьян, спасавшихся от крепостного гнёта и, как правило, принимавших на новой родине обычаи и веру тех соплеменников, что поселились здесь прежде. Так и возникла русская старообрядческая община близ Сувалок, где жила семья прадеда художника. Семья жила крепко, на три усадьбы. Во владении у неё была огромная территория с озером, на холме близ которого в незапамятные времена располагалось укрепление пруссов-ятвагов. Из-за того, что население вокруг было смешанным, свободно говорили в доме на родном, русском, а также польском и немецком языках.

Там в конце XIX века родилась бабушка Романаса. Когда началась Первая мировая война, девушки из хороших семей добровольно шли в сестры милосердия, и таким образом будущая бабушка Романаса работая в московском военном госпитале познакомилась со своим будущим мужем, Харитоном Седлецким, выпускником Александровского юнкерского училища. После революции и развала фронта они вернулись в Польшу и какое то время жили у родственников бабушки, в имении Podcisówek, тоже недалеко от Сувалок. В России в то время бушевала гражданская война. В 1919 г. Харитон отправился на поиски своей родни на юг Брянской области, в посад Елионку. Этот район тоже исконно был местом проживания старообрядцев, и его отец руководил местной старообрядческой общиной. Поехал и пропал. Канул без следа, как канули в те годы многие тысячи людей.

Семья долго не могла поверить, что он мог исчезнуть. Через какое то время прадед Романаса даже сам поехал на поиски вглубь России, но кончилось это ничем. Мельница революции крутилась лихо, не помня наутро имён перемолотых за вечер. О судьбе Седлецкого и его родни не смог поведать никто.<sup>\*1</sup> Молодая вдова осталась с маленькой дочерью (будущей мамой Романаса) на руках. Через какое-то время она вновь вышла замуж за друга детства. Так в жизни художника еще до рождения появился другой дедушка, а у его мамы – сестра и брат. В 39-м в эти края вновь пришла война, но раздел Польши между Германским Райхом и Советским Союзом прошёл для жителей местечка тихо и буднично: утром вошли советские войска, заночевали, а наутро командиры, разобравшись с картами, пришли к выводу, что граница осталась восточнее. Красная Армия отошла, и в городок въехали немцы. Спустя некоторое время Германия и СССР договорились об обмене гражданами, после чего на запад потянулись этнические немцы из Литвы, а на восток – бывшие жители Польши с русскими фамилиями, которых новые власти сочли достойными выселения. Согласия никто не спрашивал. Достаточно было того, что договорились империи.

Бросив практически все имущество (из огромной библиотеки взяли с собой лишь пару десятков книг) семья добралась до Паневежиса. При отправке им было обещано, что на месте обеспечат всем необходимым, компенсировав оставленное добро.

– Радуйтесь, что дальше не едете, – сухо сообщили им по прибытии в Литву.

И действительно, многим из «возвращавшихся на родину» предстоял дальнейший путь, в том числе и в Сибирь, на те чарующие весной и осенью просторы, где, кстати, тоже живут старообрядцы, высланные туда некогда российскими властями с глаз долой.

В годы войны мама с братом, сестрой и родителями жили в Паневежисе и, так как владели немецким языком, то всю войну проработали в немецкой администрации (Arbeitsamt). Порядки там были, как при Брежневе, и за хорошую работу сотрудников награждали томиками «Mein Kampf»... После освобождения города мама начала работать в военно-строительной организации и в конце войны ещё успела получить медаль «За Победу над Германией»... Там же и познакомилась с отцом. Он был мобилизованным инженером и всю войну строил аэродромы.

В 1947 году отец получил руководящую должность в Вильнюсе, и семья переехала туда. В 1949 г. в 200 метрах от сегодняшней президентуры Литвы родился мальчик, и таким образом старый Вильнюс вошел в сознание будущего художника. Менялись квартиры, но местом обитания всегда оставался старый город и центр. Возможно впоследствии именно это оказало решающее влияние на выбор будущей профессии.

художником. Предпосылки к этому были. Среди соседей было много известных людей: художников, писателей, артистов, профессуры, больших чиновников. Дети все крутились вместе и тут кристаллизовались интересы. Много интересных людей вышло из этих дворов. Школа не играла в его становлении существенной роли. С детства он лазал по разрушенным костелам и развалинам старого города. К тому времени он уже интересовался архитектурой, пробовал свои силы в рисовании и Рома (тогда ещё – просто Рома, непоседливый и в меру хулиганистый паренёк) уже осознавая точность своей руки не видел будущего вне этого мира.

Интерес к старым постройкам увлекал его в продолжительные прогулки по улицам старого города с фотоаппаратом в руках; страсть к рисованию убеждала товарищей, что он станет однажды настоящим художником. Одно лежало к другому, и наступил момент, когда нужно было им слиться в единое – требовался лишь толчок. Толчком этим стал разговор на школьной перемене, когда приятель, вытаращив глаза, рассказал ему, что видел в антикварном магазине «во-от такен-

---

\*1 О, да... те поиски окончились неудачей, и семья смирилась с пониманием того, что Седлецкий сгинул между жерновами, перемоловшими в краткое время целый пласт истории. Смирились и похоронили его в своих мыслях. Бабушка вновь вышла замуж. Жизнь продолжалась.

И только 92 года спустя (!) частично приоткрылась завеса над этой историей, а оказавшаяся за ней картина заслуживает отдельного романа.

Как-то вечером, весной 2011 года, Романас сидел в Калининграде, в гостях у своего приятеля Володи Харченко. Володя угощал, Романас рассказывал старые истории из жизни семьи. Вспомнил своего пропавшего деда. Неожиданно Володя спросил: «А не пробовал ли ты его искать?...» Но где? В Гугле? Зачем в Гугле... Есть Яндекс... Набрали только имя и фамилию, как сразу выскочило: такой и такой, такого-то года рождения, репрессирован по национальному признаку – немец... Вроде все совпадает, но вот – «немец»... Романас обратился в архивы. Нашлась обширная родня в России и в Германии. Для них это было не меньшим шоком нежели для Романа. Оказалось, что бывший юнкер в 1934 году объявился в Днепропетровске. Где был он и чем занимался предыдущие 15 лет – не узнает, видимо, уже никто. На новом месте он вскоре женился на девушке из семьи местных немцев (в том краю немало было замкнутых немецких колоний). Новая семья о его прошлом ничего не знала, а он и не рассказывал. Владел французским, немецким, читал книги на английском, а в анкетах писал, что образование церковно-приходское... Когда в Днепропетровск пришли немцы, то всем местным немцам было предписано возвращаться на родину. Так он с семьей оказался сначала в Litzmannstadt (сегодняшняя Лодзь в Польше). Получив немецкое гражданство, уехали жить в Кёнигсберг. После британской бомбардировки семье разрешили эвакуироваться дальше на запад. Остановились в Bischofswerda, недалеко от Эльбы. Когда фронт приблизился, решили уходить к американцам. Не получилось...

Через какое-то время уже советская администрация всех переписала и выяснила, что они бывшие советские граждане. Всем бывшим советским гражданам было предписано вернуться на родину. Там семью Седлецкого ждало 20 лет лагерей... Сейчас их потомки, уже большей частью проживающие в Германии, опекают дочь Романаса, которая учится в университете в Берлине. Впрочем, на этом чудесные совпадения не кончаются...

ную книгу». Речь шла о послевоенном издании «Geschichte der Architektur», Мате Майора, выпущенном в Германии и каким-то своим, неизвестным нам путём оказавшимся той весной в букинистической витрине. Описание увлекло. Книга, когда пришёл на неё взглянуть, заорожила. Стоила она не то шесть, не то шесть рублей с полтиной – по тем временам очень даже немало. Но столь хороша она была, что нужные аргументы для убеждения родителей нашлись у Романа сами собой, и на следующий день книга уже обосновалась в школьном ранце.

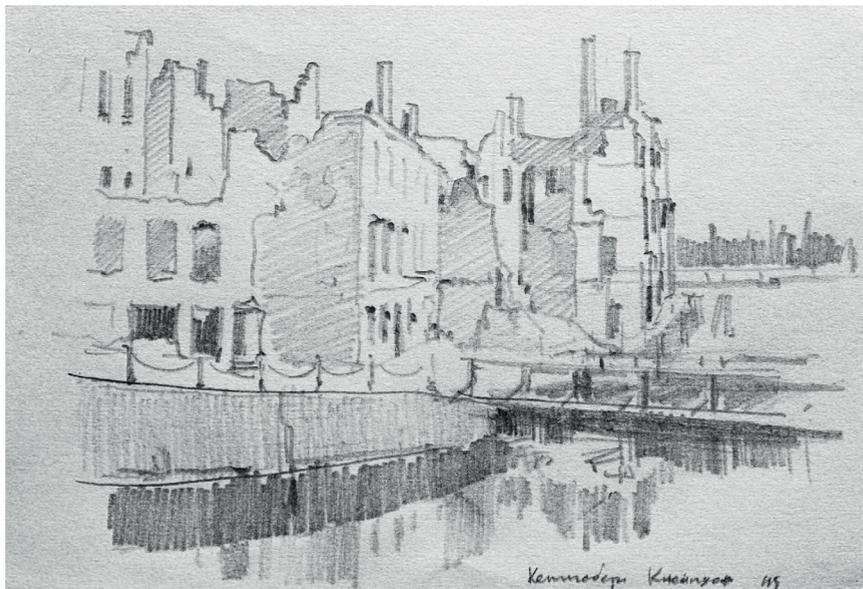
Эта книга на долгие годы стала настольной для будущего художника. Она – читаная-перечитаная – и сейчас стоит у него на полке. Впоследствии его дочь, Иоанна, тоже училась по ней, когда стала студенткой университета в Берлине.

К концу седьмого класса Роман знал о европейской архитектуре практически всё, что возможно было выудить из книг. Фотоаппарат стал неразлучным другом, фиксируя то, что станет в последующие годы главным в работе художника: линии и плоскости, образующие грани, которые рассекают и организуют пространство.

Каждый находит свой путь в искусстве. Камни оказались для художника интереснее людей. Уже тогда, видимо, начал формироваться подход, свойственный Романасу Борисовасу и ныне: героями его произведений становятся стены, не люди. Слово при слишком долгом экспонировании на фотоплёнке они успевают появиться рядом с этими камнями, обойти их и уйти, не оставив следа на бумаге с изображением. Глаз художника отсекает всё слишком быстротечное. Отдельный человек не успевает закрепиться, проэкспонироваться; остается только то, что внесло в ландшафт поколение. Единственная работа, где помимо камней присутствуют человеческие фигуры – это изображение Святых Ворот в Вильнюсе. По собственному признанию Романаса произошло это не умышленно, так выписала этот вид его рука; просто в полумраке всегда есть и всегда были смутные силуэты, ставшие за века неотъемлемой частью Ворот, и без них – с некоторым удивлением понял художник – само строение теряет цельность.

В 1965 году отец, руководивший отделом промышленности в литовском Со-вархозе, отправляясь в командировку по Литве и Калининградской области, взял с собой Романа, учившегося уже в выпускном, 10-м классе. Вместе с будущим художником отправился в путешествие верный фотоаппарат «Смена», заправленный «свемовской» чёрно-белой плёнкой. Эта плёнка полностью ушла на то, чтобы сохранить виды полузакрытой в те времена Клайпеды. Клайпеда не была военной базой, как, к примеру, знакомый нам Балтийск. Но свободно блуждать по ее улицам с фотоаппаратом в середине шестидесятых не дозволялось.

Из Клайпеды, вполне обжитой и многолюдной, путь лежал дальше – через косу, на юг, в Калининград... Это путешествие открыло ему совершенно неизвестный мир. Другую планету. Параллельную реальность. Реальность, которая до какого-то момента составляла с привычной единое целое, но затем отделилась, обособилась и продолжила свое существование по иным законам. Здесь все было как в сказке, замки, дворцы, шлюзы, каналы, но все словно в какой-то сказке ужаса... Масштабы разрушений, лица людей, их условия жизни среди этих развалин, здравым умом непостижимое стремление только уничтожить, все это оставило неизгладимые ощущения. Поездка стала открытием, в описании и осмыслении которого привычная жизненная логика мало могла помочь.



Один из эскизов, сделанных по фотографии во время первой поездки в Калининград.

Здесь вокруг была уже другая атмосфера, царство каменной архитектуры, которой в принципе не так уж много на литовской территории. Но это была красота, по большей части разрушенная, убитая наповал или смертельно раненная – мёртвая уже либо умирающая на глазах. Скелеты зданий, кости несущих конструкций, с которых продолжала медленно оплывать их каменная плоть...

Однако её мёртвость вовсе не была безобразной. Если августовские<sup>2</sup> руины Кёнигсберга – ещё скрежещущие, проседающие, исходящие свежей пылью под чёрным от сгоревшего напалма небом – производили по словам очевидцев впечатление ужасающее и отталкивающее, то омытые и продутые ветром за двадцать послевоенных лет они переменились. В них появилось нечто величественное, загадочное и торжественное. Руины оплетали кустарники и травы, гарь с них смыло десятилетиями дождей; разрушение, начатое обстрелом и бомбёжкой, продолжили ветра и местные жители, но деятельность последних ещё не слишком бросалась в глаза.

Повсюду здесь были разбитые бомбами и снарядами кирпичи, колокольни которых щерились обгорелыми дырами на месте окон, из которых когда-то выбивали пулемётчиков; стены, сложенные из валунов, лишённые крыш; остатки крыш, нависающие над рухнувшими стенами и сыплющие на них красную черепицу. В самом Калининграде трамвай шёл иногда между неразобранных ещё насыпей из щебня, обозначающих рухнувшие дома – и среди насыпей этих мелькал то уцелевший угол здания, украшенный лепниной, то остов с потемневшими барельефами, то совершенно целый фасад со скульптурными украшениями – целыми, обезглавленными, стесанными почти целиком, вновь целыми. Фантастический мир зазеркалья. Действительность, в которой вопло-

<sup>2</sup> Имеется в виду бомбардировка Кёнигсберга в августе 1944 года силами Королевских ВВС. Любители картин войны без труда могут найти их описание в воспоминаниях бывших жителей Кёнигсберга (в числе которых – Михаэль Вик).

тились все кирхи, замки и шлюзы из залистанных в детстве книг, оказавшаяся страшнее страшного сна.

Плёнка в фотоаппарате к тому времени закончилась. Где взять новую в Калининграде Роман так и не придумал. Но он не мог уехать, не увезя ничего с собой. И тогда, чтобы сохранить пережитое здесь потрясение в памяти, сделал первые зарисовки – штук пять эскизов карандашом. Тогда он ещё не знал, что совершает первые шаги по пути, который продлится долгие годы. Эскизы эти, как и проявленная после путешествия фотоплёнка, были аккуратно сложены – и вскоре потеряны, как тогда казалось – навсегда<sup>3</sup>.

Уже несколько лет спустя, всерьёз «заболев» парусным спортом<sup>4</sup>, летом семидесятого года совершил он с друзьями путешествие на яхте по Куршскому заливу и впервые открыл для себя Рыбачий и Зеленоградск.

---

<sup>3</sup> Первые сделанные им эскизы Кёнигсберга Романас обнаружил много лет спустя, при переезде, в папке со студийными рисунками, лежавшей в подвале. А вот фотоплёнку, использованную в той поездке, он нашёл лишь спустя 42 года. Случилось это совершенно случайно. Разбирая летом 2007 года в гараже скопившиеся там за годы залежи, наткнулся на отцовский архив, чисто случайно взял одну из коробок, и обнаружил, что та забита какими-то старыми фотоплёнками. И, выбрав наугад одну из них, с удивлением понял, что держит в руках ту самую плёнку, отснятую в 1965 году на верную «Смену» в Клайпедде, где в те времена не всем и не везде дозволено было фотографировать. Эта серия фотографий воплотилась чуть позже в открытках, сопровождаённых небольшой аннотацией, в которой художник поведал историю, связанную с их созданием.

<sup>4</sup> Яхтенный спорт, ставший для Романаса Борисоваса наравне с живописью, одним из главных дел жизни, появился в ней благодаря очередному стечению обстоятельств – из разряда тех стечений, в которых можно увидеть в равной степени и случайность и предопределённость, в зависимости от философии, к которой склонен читатель в момент знакомства с этой историей.

Во время учёбы в Вильнюсском художественном институте старший его товарищ – едва знакомый на тот момент – в случайном разговоре обмолвился, что срочно нужен матрос на доставшуюся в качестве подарка добитую яхту. Старый двухместный швертбот «Летучий голландец» находился в местном яхт-клубе, куда Романас с приятелем и отправился в ближайшую субботу лишь для того, чтобы взглянуть вживую на настоящую яхту. Взглянул, попробовал – и получилось, и заболел яхтами навсегда. Так в 1969 году пришёл он к ещё одной страсти, оставшейся с ним по сей день.

В 1973 году (к окончанию института) он уже стал подлинным асом парусного спорта. С тех пор за кормой судов, которыми управлял Романас, остались многие тысячи морских миль, в общей сложности – больше двух кругов вокруг экватора; под парусом он выиграл несколько региональных и международных регат, завоевал кучу наград – и, занимаясь делом, столь глубоко тронувшим его душу, не мог не совместить его с другой страстью. Появилась новая тема – маринистика. Свидетельство тому, серии акварелей, сделанных прямо на палубе несущегося под всеми парусами через Индийский океан, либо просто скользящего по глади Средиземного, Балтийского, морей судёнышка, акварелей, над которыми вместе с художником работало само море, солёными брызгами уточняя линии и пятна краски...

– Мне открылась совершенно новая земля, – вспоминает сегодня художник. – Такое было ощущение, что яхта превратилась в машину времени, и перенесла нас в мир, где нет уже привычных понятий культуры, красоты и даже логики... Этот, некогда цветущий край, где всё функционировало как единый отлаженный механизм, бывший образцом для всех восточноевропейских соседей, превратился в отсталый во всех отношениях район, заселенный случайными людьми. Люди не чувствовали преемственности, которую им даровала судьба. Так – место временного проживания. Древность отождествлялась ими с гитлеровским молохом. В камнях видели врага, с которым необходимо было продолжить бороться.

После школы он, как и планировал, поступил в Вильнюсский художественный институт – правда, со второго раза. Сдавая экзамены в первый год получил два балла как раз за акварель – впрочем, лишь потому, что голова была занята совсем другими проблемами. Представленные через год работы получили пять баллов, остальные экзамены не вызвали проблем, и начались годы учебы. Он продолжал рисовать старые улочки Вильнюса, дома в окружении деревьев и дома в окружении домов...

Позже, во время службы в Советской Армии, куда Романас попал на год после окончания Художественного института, ему пришлось не раз побывать здесь, изъездить эту землю вдоль и поперёк, открыть для себя такие потаённые уголки её, что неведомы многим даже из числа коренных жителей. Службу он проходил в Риге, художником при штабе Прибалтийского военного округа, а потому неоднократно армейская судьба забрасывала его в командировки и на учения в Калининградскую область. Закрытые полигоны, обширные территории, на которых тоже стояли поврежденные либо почти целые здания и целые улицы – все это открылось ему, прошло перед его глазами, осталось в памяти и на листах бумаги, с которой художник не расставался.

Более сорока лет Романас постоянно ездит, путешествует по этому краю, знает каждый более или менее ценный объект. Много рисует, фотографирует. Он чувствует обязанность сохранить в своих работах хотя бы часть того, что уцелело за долгие десятилетия варварского разрушения. Его работы – это какая-то непостижимая попытка хотя бы на бумаге восстановить потерянный рай. Это нескончаемый рассказ о последствиях войны, о все еще существующей в центре Европы черной дыре, в которой время как бы прекратило свой бег.

– Для меня Калининградская область стала чем-то вроде Трои для Шлимана, – рассказывает художник. – Огромные готические храмы в лесу, засыпанные мусором развалины средневековых замков, никем не используемые каналы и мосты, города, от которых остались только фундаменты, мертвые маяки и гавани по берегу залива. Заколдованное царство, жители которого были изолированы от того окружения, в котором жили. Незнание и нежелание видеть это окружение стало для них каким-то жизненным девизом. Эта земля казалась – да и сейчас всё ещё кажется мне – какой-то европейской Атлантидой, стремительно ушедшей в воды времени, ведь по историческим меркам крушение её произошло действительно почти моментально.

Шли годы, наброски с видами прусских руин потихоньку копились. В 1984 году



*Резака, муралотопанна сина Бранденбургска пилас мени, 170м, мислија  
Сво стаа, постато бевек нелло, 14. језина, сина, класика*

*Romanus Brissava 2001*



он уже почувствовал, как тема затягивает, погружает в себя. В конце восьмидесятых сформировался свой стиль, свой подход к изображению этих живописных руин, созерцать и зарисовывать которые ездил он по несколько раз в год. Работы: рекламы, плакатов, логотипов и другой дизайнерской текучки – вполне хватало, а эти вещи он делал для себя. В стол. Законченные работы и эскизы, наброски, показать которые всё равно не было никакой возможности. Говорить в Советском Союзе о выставке зарисовок руин Гнезда Прусского Милитаризма было даже не смешно. Впрочем, и после крушения Союза отношение к теме долгие годы оставалось по меньшей мере боязливым.

Между тем пришло время, и Союз сокрушил сам себя, и открылась новая эпоха – казалось бы, Эпоха Великих Возможностей, где каждому, наконец, не дожидаясь построения коммунизма, выдадут по потребности – только успевай поднести котелок к окошку раздачи. Это было странное время. В эти первые годы нахлынувшей свободы он испробовал многое. Даже пробовал заниматься бизнесом, и стихия эта едва не поглотила художника. Но он вовремя нашёл в себе силы остановиться.

– Мне просто повезло, – вспоминает он сегодня эти годы. – У меня хватило сил в какой-то момент встать и выйти, поняв, что это – не моё. Но я получил огромный жизненный урок: каждый должен заниматься тем делом, к которому он расположен. В эйфории начала девяностых многие верили, что дальше может быть только лучше, что все смогут достойно жить, просто покупая и перепродавая...

Впрочем, прощание с бизнесом в данном случае не обернулось трагедией, доказав через годы, что у человека, который состоялся, не бывает в жизни поражений. Романас вернулся к работе художника, выступая не только в качестве живописца, но даже скульптора. Появились деловые партнёры в Германии, Франции и Голландии, шли заказы на литьё бронзы – от маленьких серийных статуэток до больших скульптур.

– Вся моя жизнь – это постоянная история судьбоносных встреч, встреч в нужном месте и с нужными людьми, – говорит Романас. Весной 1994 г. благодаря счастливому стечению обстоятельств, он познакомился в Вильнюсе с одной калининградской журналисткой, отец которой дружил с писателем Юрием Ивановым, бывшим в то время председателем местного отделения Российского фонда культуры. На встречу художник прихватил свои наработки: папку с фотографиями и несколько акварелей. Речь шла о возможности издании альбома фотографий местных памятников архитектуры (точнее – их руин) сделанных за 25 лет. И эта встреча, совершенно неожиданно, стала одной из поворотных точек в судьбе.

– Когда я показал свои работы, которые планировал использовать в фотоальбоме, Юрий Иванов сказал: «Фотографии, конечно, хороши, но это может сделать каждый. Я вижу у вас несколько очень неплохих акварелей, что уже действительно интересно. Почему бы не попробовать развивать это направление?» – вспоминает Романас. – И, возможно, именно это толкнуло меня к тому, чтобы сосредоточить внимание на акварелях. Мы тогда настроили много планов, придумали интересные проекты. И у меня, и у него оказалось немало знакомых в Германии, в том числе – общих, к которым решили обратиться. Но через месяц, уже будучи в Литве, я получил известие о том, что Юрий Иванов умер. Мы нашли друг друга слишком



*Pirmoji kircia - dabneje  
1974 balandzio 17  
kelione autobusu su kavininkais į Kaliningradą*

*Bar*

поздно. Но с этого времени я начал работать более целенаправленно, стал рисовать ещё больше, ещё внимательней.

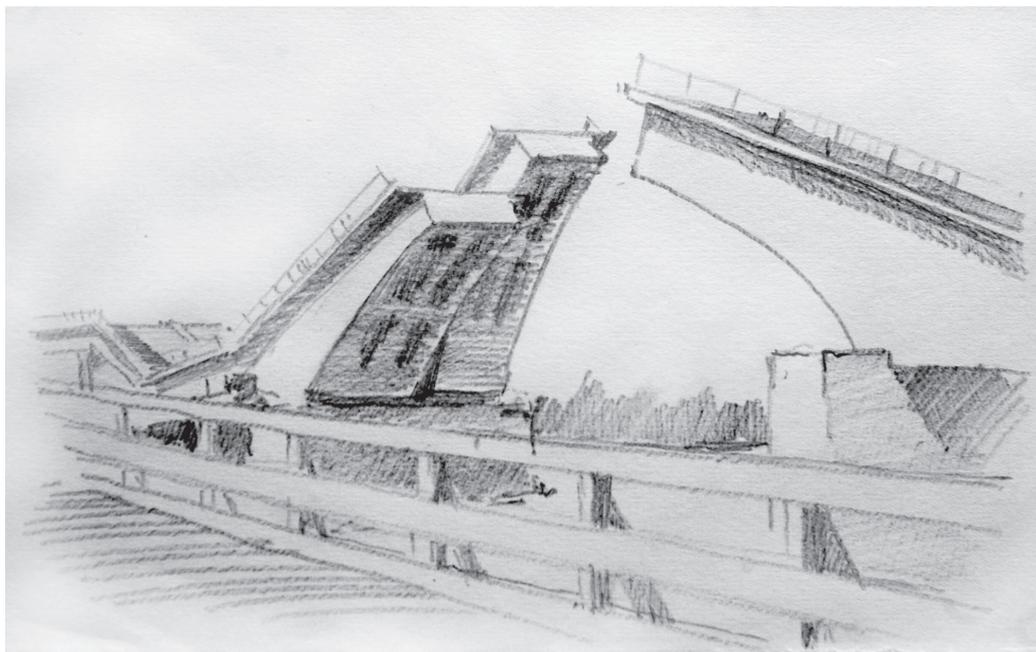
Однако эти работы всё равно до поры шли в стол. В независимой Литве тоже считали, что поднимать столь щекотливую и деликатную тему не стоит. Даже немцы – как, например, в 2000 уже году, когда сотрудники посольства были приглашены на открытие состоявшейся всё-таки в Вильнюсе выставки – предпочли ограничиться вежливым посланием на красивом бланке: мол, трепетно следим за вашим замечательным творчеством и от души желаем всяческих дальнейших успехов. От появления же на открытии решили воздержаться. Подобная странная осторожность оказалась свойственна не только чиновникам от культуры и дипломатам: впоследствии, когда посол Республики Польша г-н Ежи Бар, идейный покровитель художника, в 2005 году организовал и сам посетил презентацию проходившей в вильнюсской ратуше выставки акварелей из прусского цикла (там же была и директор Института Гёте в Литве г-жа Ирмтраут Хубач, а также директор польского института г-жа Малгожата Каснер) то местное журналистское сообщество ещё некоторое время обсуждало этот смелый поступок польского дипломата и учёных, открыто прибывших на открытие казалось бы провокационной экспозиции... На открытие выставки,

кстати, тогда пришло столько народу, что зал оказался переполнен, люди стояли даже на лестнице.

Но все это было после, а первая выставка, посвященная видам исчезающей Пруссии, состоялась в 1991 году на севере Германии, в ратуше города Екернферде. В самом начале 1994-го прошла ещё одна, в маленьком городке Фогельзанг. И только в 2000-м впервые представил он эти акварели в Литве, на выставке с названием *Mano Rytprusiai* («Моя Восточная Пруссия»). Следующая была через пару месяцев в Ниде, называлась уже *Mein Ostpreußen*. А уже через год состоялась первая выставка и в Калининграде. Тема прусских руин (которые по сей день можно без труда обнаружить даже в центре столицы янтарного края – например, на улице Фрунзе) перестала быть запретной.

Лёд тронулся; общественное сознание уже обнаружило эти руины, признало, что пора с ними что-то делать, возможно даже – хорошее (в Калининграде в конце 90-х завершилась реставрация Кафедрального собора, здание Дома техники – калининградского Промтоварного рынка – стояло еще в руинах, как и Фридрихсбургские ворота), отметив при этом, что руины смотрятся величественно и при должном освещении не лишены эстетики даже в нынешнем виде. Оно – сознание это – впитывает и переваривает всё медленно, оно обладает колоссальной инерцией. Вот и сейчас, признав неестественным состояние дел, всё ещё длящееся, оно не может найти выхода из ситуации. И это ярко проявляется в мелочах, которые начинают бросаться в глаза, стоит лишь задуматься об их существовании. В этих мелочах проявляется его раздвоенность, вызванная тем, что часть алгоритмов, по которым оно работало, утратила актуальность, ситуация вокруг изменилась, а новые алгоритмы для реагирования на неё ещё не наработаны. И мелочей, в которых это проявляется, немало. В серии «Древние города России» в 2005 году вышла биметаллическая 10-рублёвая монета «Калининград» с изображением лишенных крыши руин Кафедрального собора (в 2005-м, дорогие земляки, когда собор уже был восстановлен и спокойно стоял под крышей)... Некоторые представители общественности до сих пор будоражат интернет статьями о том, что появление в продаже пива «Кёнигсберг» приведёт к онемечиванию, а в автобусах, мчащихся через центр города, бодрый голос убеждённо рассказывает о том, как центральная площадь города после освобождения Кёнигсберга советскими войсками была переименована в площадь Победы. Врёт дважды, даже не поперхнувшись. В площадь Трёх маршалов её переименовали после взятия Кёнигсберга. Я-то точно знаю, что взятия – у моего деда медаль была, на которой по-русски аккуратными буквами написано было в две строчки: «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА». Единственный, кстати, город, не входивший в число европейских столиц, за который была учреждена медаль...

Не утихают споры вокруг восстановления Королевского замка (не дай Б-же, начнётся с этого онемечивание территории), а между тем архитекторы уже предлагают план восстановления всего прилегающего центра (где сегодня вместо плотной застройки – огромные лужайки, скрывающие фундаменты стёртых с лица земли зданий) и адаптации к нему существующих зданий советского периода. Есть даже любопытные планы перестройки Дома Советов, чтобы смог вписаться он в новый ландшафт.



Романас Борисовас считает, что восстановление центра просто необходимо.

– После войны, архитекторы, работавшие с Калининградом, стремились всеми силами добиться того, чтобы здесь не осталось «немецкого духа», – поясняет он свою позицию. – Были даже указания, сколько градусов должен быть склон крыш, чтобы у зданий не было прежнего вида. На некоторых домах высокие мансардные крыши сносили, надстраивая вместо этого еще этаж под плоской крышей... Но им так и не удалось создать нового цельного города. Его сейчас просто нет. Существующая застройка рассыпается на отдельные части. И стоит восстановить центр уже для того, чтобы их связать. Не нужно бояться восстановления старых зданий. Это была красивая архитектура. То, что может стоять века и не потерять своей привлекательности. То, что строится сейчас – функциональные неинтересные коробки с ограниченным сроком годности, которые время от времени нужно сносить и заменять такими же, только более современными. Хотя в последнее время тут стали заметны весьма существенные сдвиги. Везде чувствуется готовность общества к переменам. В городе идет большая рекламная кампания. Центру города собираются вернуть прежний облик. Восстановить замок, улицы и кварталы вокруг него. Планируют восстановить старые мосты и вернуть городу его былое величие.

Сам он уже успел приложить руку к восстановлению знаковых мест Кёнигсберга, правда пока что – в масштабе 1:200. Именно так исполнена бронзовая композиция «1930. Символы Кёнигсберга», вобравшая в себя Королевский замок, биржу, Кафедральный собор, здание Альбертины, склады Ластади и театр, открытая 3 октября 2012 года у стен Кафедрального собора.

Идея создания этого памятника принадлежала Гизеле Пайтч, родившейся в Кёнигсберге в 1930 году и ныне живущей в Гамбурге, жене известного немецкого издателя Хельмута Пайтча. Супруги Пайтч в своё время были одними из первых,

кто стал привозить в Калининград гуманитарную помощь. Гизела, несмотря на возраст, и поныне возглавляет у себя дома общественную благотворительную организацию Ostpreussenhilfe.

– Это была совершенная случайность, – вспоминает Романас Борисовас. – Я приехал в Калининград и неожиданно решил заглянуть в Немецко-Русский дом. Остановившись во дворе и вижу, что на крыльце нервно курит Виктор Гофман. Он только что говорил по телефону с организаторами проекта, и те сетовали, что время идёт, но ничего не делается. Проблемой оказалось и отсутствие конкретных исполнителей, и то, что чертежи, без которых невозможно изготовить точные модели зданий, находились в германских архивах. Два года ушло на бесплодные разговоры... А на весь проект по плану оставалось полгода. Мы вернулись в кабинет, он набрал их номер, и мы пообщались. Я получил общее представление о проекте и сказал, что через пару недель планирую быть под Гамбургом на юбилее приятеля, так что мы скоро сможем встретиться. Дома я сделал эскиз из пластилина, и когда приехал на встречу – поставил на стол коробку.

За основу решено было принять облик знаковых строений Кёнигсберга по состоянию на 1930 год. Эту точку выбрали по двум причинам: в связи с тем, что тогда родилась Гизела Пайтч, и для того, чтобы отмежевать город прусских королей от гитлеровского режима.

Эскиз понравился, познания Романаса в области прусской истории и его увлеченность темой местной архитектуры не оставили заказчику возможности для сомнений. Однако проблема доступа к документам представляла собой серьёзную угрозу для своевременной реализации всего проекта. Помогли калининградцы.

– Пара звонков, сделанных Раисой Минаковой, решили дело, – вспоминает художник. – Мне помогли все, к кому я обращался – Олег Васютин, Андрей Бедарев... Особенно помог Артур Сарниц. Буквально через несколько дней у меня были все необходимые схемы и чертежи, по которым уже можно было начинать работу. Поэтому эти люди сегодня мне очень симпатичны и близки: они не становятся в позу, когда нужно что-то делать, а помогают, чем могут. И я рад видеть сегодня движение в сторону принятия прошлого этой земли и сохранения, может – даже восстановления его. Да, здесь еще пока царит хаос, но это – хаос уже управляемый. Есть ощущение того, что регион ещё выйдет в лидеры, обогнав соседей, и даст возможность городу превратиться в центр притяжения всего балтийского региона.

Но если перемены здесь и наступают – то не слишком скоро. Если есть движение, то всё ещё не совсем понятно, в какую именно сторону.

Пока что не принимая до конца историю своего края, отмежёвываясь от неё, современные обитатели прусской земли так и не становятся её хозяевами. А ведь нам даже не нужно искать примеры подобных ситуаций, успешно разрешенных, где-то вдалеке. Всё уже проверено и сделано на том же, практически, материале, на той же архитектуре, перенёсшей такое же воздействие в то же самое время.

Южнее Калининградской области Польша, в которой не встретить уже – по крайней мере, сам я за время путешествий по её северным окраинам не нашёл – руин, за исключением разве зловещих бетонных глыб Вольфшанце. В стране, по

которой война прокатилась не мягче, чем по нашей территории (вспомним, что примыкающая к нам часть севера Польши – это всё та же Восточная Пруссия, 2/3 которой отошли к ней после войны и которую поляки, жившие не богаче СССР, подняли из пепла, считая своим домом), там, где исторические центры городов после боёв поднимались на метр от тротуара – мы видим восстановленные здания XVI века, целые замки и кирхи... не кирхи, костёлы, разумеется; теперь уже – костёлы.

На востоке – Литва, по которой также прокатилась война и где не меньше времени, чем здесь, была Советская власть с её боязливыми партийными чиновниками. И там восстановлены не только пострадавшие в годы войны дома. Не так давно восстановлен в Вильнюсе исторический Нижний замок – Дворец правителей, который был разрушен ещё в начале XIX века. И это был действительно сложный проект, поскольку внешний облик здания остался зафиксирован лишь на паре акварелей, сделанных современниками. Фотографии – даже дагерротипии – тогда еще не было, чертежей и планов не сохранилось. Здание пришлось рассчитывать по уцелевшим фундаментам и пропорциям частей на рисунках. Восстановили, за исключением галереи, связывавший прежде дворец с собором на уровне второго этажа – кардинал Литвы сказал, что поскольку новое здание будет музеем, он не считает такой проход уместным. И сегодня Нижний замок стоит, а споры об уместности восстановления утихли сами собой.

В соседней Беларуси тоже всюду идут работы по восстановлению уцелевшего культурного наследия. Восстанавливаются не только отдельные объекты, но целые ансамбли. Всем надоело жить в окружении серых и убогих построек послевоенного времени.

Здесь же время местами застыло, местами – перемешалось, словно взбитое миксером, и вечером тень от Дома Советов тянется к Домскому собору Богоматери и Святого Адалберта<sup>5</sup> через пустошь, заполненную щебнем Кёнигсберга – города-трофея, завоёванного, но не принятого, безвозвратно ушедшего, но возвращающегося...

Алексей ПОПОВ

---

<sup>5</sup> К Кафедральному собору, если проще говорить.



*Все флаги в гости к нам...*

## Бахыт КАИРБЕКОВ

Бахыт Каирбеков (1953 г.), поэт, сценарист, кинорежиссер.

Выпускник Литературного института им. А.М. Горького (Москва, 1975) и Высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино СССР (1987–1989). Автор сборников стихов «Осенний диалог» (1978), «Глагол жить» (1982), «За живую водой» (1986), «Менім уйім» (1987), «За решеткой строк» (1996), «Биография алмаатинца» (1998), Избранное в двух томах (1998), «Дневник» (2003), «Путь воды» (2010), «Проснуться птицей» (2011).

Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан. Лауреат литературных премий, Кавалер ордена «Құрмет», Обладатель Гран-при Третьего Международного телекинофестиваля «Победили вместе», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2007 год (Севастополь, Украина) за киноленту «316-ая стрелковая».

С 2015 года – Президент АО «Национальная компания "Казахфильм" им. Шакена Айманова».

\* \* \*

По перевалам, жизнь не подгоняя,  
Взбираюсь, веря, что за ними даль  
Меня порадует – такая неземная,  
Что станет мне утрат земных не жаль!

И я лопатками почую – крепнут крылья,  
И тело невесомо полетит  
Над надоевшей безымянной пылью...  
И я поверю – Бог меня хранит!

### ДРЕВО ЖИЗНИ

Доверюсь саженцу – упрямому ростку,  
На ощупь он обнимет почву...  
Представить этот опыт я рискну,  
В подземные проникну ночи.

Я, как и он, на ощупь в жизнь вникаю,  
Спасаясь влагой слез и жадно пью  
Нектар любви, что дарит мне людская  
Слепая вера в то, что я всего добьюсь.

Так верю я ростку земного Древа,  
Что крону обретет, и принесет плоды...  
Я к влаге слез добавлю мощь напева  
И к небу поднимусь моей судьбы.



\* \* \*

Он будет грустен, этот вечер,  
Когда душа забьёт в набат,  
В обнимку с солнцем, чуть беспечен,  
Уйду за край земли – в закат.  
Уйду, никто и не заметит,  
Как я сгорю в закате том...  
Уйду, а душу на рассвете  
Внесут в пелёнках в чей-то дом.

## КОНИ НА ВОДОПОЕ

Весной пустыня на цветы щедра,  
Но самое для жизни дорогое –  
Вода! И самая желанная пора  
Покрасоваться, щегольнуть на водопое.  
Какая нынче в моде масть? –  
Любуются животные собою...  
Но даже самая безудержная страсть  
Не осквернит безгрешность водопоя...

\* \* \*

В.К.

Хочу в урочище лесном  
Резвиться диким кабаном,  
В кустах трескучих пробираться  
И сочной зеленью питаться.  
Когда ж на пулю напорюсь  
(Ведь я же смерти не боюсь),  
Зароюсь мордой в свежий злак,  
Разлуки злой не осознав,  
Никто не вспомнит обо мне,  
Не опечалится кончине  
Моей...  
Лишь в тишине  
Охотники довольные закинут  
За плечи ружья и гуськом  
Усердно тушу понесут  
К костру...  
А там уж вечерком  
В ещё родном моём лесу  
Счастливец главный перед сном  
Вином густым наполнит рог,  
Похвалит жирный мой кусок  
И благодарен будет Богу...  
И слава Богу!

\* \* \*

*Белле А.*

Ответить Вам сегодня в тот же час,  
Пока в сознании гнездятся чувства,  
И ночь ещё жива в движеньях глаз,  
И образ Ваш необъясним, как стукот.

Пока неясна мне моя печаль,  
Пока необъяснима лихорадка,  
И января наброшенная шаль  
Во мне жива с лозою виноградной.

Всё чёрным цветом облегалo Вас,  
И шуба не желала запахнутьcя,  
И чёрным было ожиданье глаз,  
Но кисть бела болезненно, до хруста.

Летучей мышью, каплей в темноту  
Вы канули...  
Лишь в небе опустелом  
Стихотворения неясный ультразвук  
Вибрировал высокой нитью:  
«Бел-л-ла!..»

...

Спасибо Вам за тот, нездешний,  
Высокий свет летящих строк,  
В них – ожиданье силы вешней,  
Не выбирающей дорог.

Галина ГУЖВИНА

**БАТРАСЬЯН**

С некоторых пор у него вошло в привычку заканчивать работу ровно в пять. Он заботливо архивировал всё, что напечатывал за день, наскоро резюмировал прочитанное, помечал фломастером оставшееся непонятным – всё это скрупулёзно, аккуратно, потому что небрежения в работе он бы не позволил себе никогда, ни при каком смятении чувств. После пяти начиналось ожидание – иногда минутное, но часто растягивающееся до часа, а пару раз ему пришлось и до полвосьмого торчать у экрана со страничкой новостей или тетрисом. Он ждал знакомого сигнала – единственных, лёгких, стремительных шагов, и тогда одной минуты хватало, чтобы закрыть тетрис и новости, нажать на logout (а когда тот тормозил, то и просто на перезагрузочное троекнопие – видел бы кто!), схватить куртку и рюкзак, погасить свет, захлопнуть дверь и сбежать, прыгая через ступеньки, на велосипедную стоянку, где она обычно уже возилась с замком своего подержанного «Декатлона». Велосипед у неё был хоть и старый, но неожиданно хорошего качества (кто-то знающий помогал выбирать, неприязненно думал он), но замки всегда дрянные, шины полусдутые, и фонарь, фонарь! За фонарём она не следила совершенно: то он неплотно крепился к колесу, то у него отходили контакты, в результате чего он тух аккурат в тот момент, когда она выезжала из города на простор полей, с красной, плиточной, приятно-упругой велодорожки на слякотную обочину шоссе, и семь километров до дома ей приходилось преодолевать почти на ощупь, медленно, шарахаясь (и наверняка до боли жмурясь) от агрессии автомобильных дальних фар. Фонарь он ей несколько раз тайком чинил, и поддувал шины, и даже смазывал маслом спицы, чтоб не проржавели в вечной вестфальской сыри – всё в обеденные перерывы, озираясь по сторонам, чтобы никто не застукал его за работой добрых гномов, но это мало помогало: она имела обыкновение перевозить на багажнике тяжеленные фолианты по искусству (скупив за четыре месяца, кажется, полмагазина Taschen), натруженный багажник давил на колесо, контакты опять терялись... Он убеждал себя, будто ежедневно следует за ней лишь для того, чтобы удостовериться, что она благополучно добралась до дома, что её никто не испугал, не обидел, что она не попала под машину, не упала с велосипеда в канаву и не лежит там, беспомощная, со сломанной ногой или без сознания – и действительно, увидев осветившееся окошко её комнатки, он поворачивал к себе.

На шоссе было странно пустынно, на полях влажно лежала ночь, собственный его фонарь то и дело выхватывал из темноты муниципальные дорожные знаки «Осторожно, зверюшки!», гордость и визитную карточку города, след

пребывания в нём украинского богача, чемпиона мира по боксу: очерченные красным треугольнички с зайчиками, фазанами, улитками, даже одной лягушкой аккурат на повороте на окружную дорогу. Он и сам похож был на лягушку, толстогубый, лопоухий, с прозрачными, навывкате, глазами за мощными стеклами очков. Высокоростую лягушку, жилистую, сильную, выносливую. Ему уже минуло тридцать. Юношей он страстно мечтал о любви, но рано осознал, что это удел красивых и дерзких, а удел подобных ему склизких и угрюмых земноводных – забиваться в норы подальше от людских глаз и не отвечивать. К такой жизни он себя и готовил, смиряя дух и плоть, и в общем преуспел. То, что творилось с ним в последнее время, стало полной неожиданностью для него самого.

При всём желании он не мог потом вспомнить, когда и как увидел её в первый раз. Его незначительная память ссыпала те первые впечатления в одну мусорную кучу, как порванные фотографии, потеряв при этом добрую половину обрывков. Что ему удавалось извлечь из этого хлама? ...Единый, обслуживающий весь этаж компьютерный кластер. Длинные, цвета старого золота волосы змеятся крупными нерасчёсанными прядями по спинке кресла, по плечам, по грубой вязке свитера, тонкие пальцы судорожно сжимают мышь, на экране – сплошной, убористый текст на кириллице (и почему в гимназии он выбрал вторым языком никому не нужную латынь?) "Ты не слышала, принтер сработал?" – Обернулась, вздрогнув. Глаза мечтательно полны прочитанным – чудесные, миндалевидные, зелёные глаза. "Ah! Ich habe nichts geh;rt. Aber ich habe auch nicht zugeh;rt..." – И отвернулась обратно. К тройкам с бубенцами? Инкустированным серебром дуэльным пистолетам? В блеск упоительный бала? На выстуженный метелью петербургский студенческий чердак? К крестным мукам каторжного этапа? Захлебнувшийся бумагой принтер мигал красным глазом в каких-нибудь десяти сантиметрах от её острого локтя, но она было уже далеко, недосыгаемо, непостижимо... Шум и толкотня столовой, тяжелый поднос, слабые плечи, потёртые джинсы, смешной маленький рюкзачок болтается за спиной. Её скрипично изогнутую фигуру провожают шесть пар глаз, все, сидящие за их столом. Маттиас – баварец! – первым комментирует: «У Герхарда в этом году – целое стадо русских аспирантов, четверо что ли, если не пятеро. Девушек две, вторая, ну, как бы это помягче – не такая, как эта.» Никаких обид: Герхард обедает вместе со своим стадом, более того, Фалько Лёве, женатый на украинке, сегодня в Бонне, так что интересующую всех тему можно ещё немножко развить: «Да, русские женщины становятся опаснее русских танков!» Вот здесь да, нужно менять тональность, разговор переходит на футбол, но змея соблазна, иллюзия возможности, доступности, лёгкости уже вползла, уже угнездилась в сердце...С волосами, собранными на затылке, её голова похожа на цветок на длинном стебле, наивно, несмело тянущийся ввысь из бесформенного вязаного воротника. Дверь её офиса открыта, она закинула длинные, до неприличия длинные ноги на заваленный бумагами стол, на коленях – потрёпанная книга, грызёт ручку. По одной из её гибких ступней, по чёрному капрону чулка ползёт розовой струйкой тонкая стрелка. Когда она разговаривает по телефону, в дверную щёлку видна её тонкая рука с цыганскими браслетами

на запястье. Голос у неё высокий, чистый, издалека узнаваемый, неблагозвучные слова родного языка окрашиваются в её исполнении чем-то интимным, домашним, нежным. Он уже ревнует, уже контролирует, подслушивает с пристрастием, но слышит улыбку, насмешку, грусть, жалобу, раздражение, но никогда ничего, что подразумевало бы разговор с другом сердца. Друга сердца она не завела и у них, хотя он не мог не заметить с тайной болью, что её диковатая, неухоженная красота привлекала не его одного: молодые приват-доценты часами просиживали с нею рядом на кластере, пока она с очаровательной беспомощностью, двумя пальцами, набивала что-то в LaTeX, подсказывали ей команды, исправляли ошибки, отлаживали, архивировали готовые файлы, но, к его вящему ликованию, когда речь заходила об *ausgehen*, она неизменно ссылалась на *fr;here Verabredung...*

Кого он действительно ненавидел бешено и люто, так это её соотечественников и, по всему судя, давних знакомцев, однокурсников, если не одноклассников. Их было всего трое: двое юношей, прыщеватых и неопрятных, не говорящих толком ни по-немецки, ни даже по-английски, но самоуверенных и шумных, а также жёстко самодостаточных и самозамкнутых, и ещё одна девушка, лидер компании, широколицая коротконогая кубышка с сальным каре, постоянно обжимающаяся с одним из прыщеватых (а может и с обоими – он их почти не различал) и видимо помыкающая его холодноватой, молчаливой, кроткой, безответной Верой, одновременно ненавидящая её (за красоту – за что же ещё!), обесценивающая, высмеивающая, но и не отпускающая из сферы их потного, горластого, сложными влияниями насыщенного притяжения. Как тонко, не зная языка, выучился он читать чужие интонации! И отсутствие вербального наполнения, казалось, ему только помогало. Он узнал, что поначалу они поселились все вместе где-то в городе, но Вера быстро съехала, сняла каморку в пригороде, где было дешевле, но и дальше, и грустнее, и опаснее. Он всё ждал, что она как-нибудь совсем прервёт мучительное общение со своей невкусной компанией, но у неё не хватало духу, что-то её держало. Что? Он терялся в догадках.

В тот вечер у одного из прыщеватых был День Рождения, в офисе кубышки резали торт и пили сок из бумажных стаканчиков, чествовали именинника – почему-то по-английски, хотя собрались там одни русскоязычные, во внушительном количестве собравшиеся с миру по нитке со всех факультетов. На одно настроенным ухом он по-настоящему слышал только голос Веры – сначала совсем тихий, потом сердитый, злой, с истеричной, слёзной ноткой. Хлопок дверию. Чечётка знакомых каблуков. Ещё один хлопок – дальше по коридору. Снова та же чечётка, уже по направлению к лестнице. Он выбежал за ней, даже не выключив компьютер. Шёл мелкий дождь. Она подскользнулась в грязи, чуть не упала, вцепилась рукой в гвоздеватое перильце, обрезалась, чертыхнулась, не открыла, а отодрала замок, вскочила на велосипед. Он, уже почти не скрываясь, поехал за ней – непривычно, до свиста в ушах быстро. По дороге дождь усилился, с её косы лилась вода, как с водостока, она несколько раз опасно скользила над канавой, визжали тормоза, она выравнивала ход ногами, не раз, по-видимому, зачерпнувшей из лужи. Доехали. Не оглядываясь,

Вера завела велосипед под навес и побежала в дом. В её окне зажегся свет. Но он не мог, просто не мог вернуться, не узнав, что с ней. Около четверти часа он поколебался, но потом махнул рукой, решив рискнуть. Каждый из этажей здания, где жила Вера, опоясывал общий балкон с внешней лестницей. Он дернул ведущую на эту лестницу дверь, и она подалась: кто-то до него неплотно её захлопнул. Дрожа коленями, он поднялся на третий этаж, осторожно, прячась за стеной, заглянул в её окно. Комната была пуста. Сначала он опешил: куда она могла деться в едва ли пятнадцатиметровой студии, невеликую площадь которой ещё уменьшали наваленные горой у дальней стены альбому по искусству? Но, увидев на кровати её вещи – свитер с косичками, заляпанные грязью брюки, догадался, что она ушла греться в душ. Ему стало не по себе: эти потертые тряпки, ещё хранящие очертания и, наверное, тепло её тела, выглядели так бедно, так вызывающе незащитно, что он устыдился своего непрошеного вторжения в чужой, целокупный мир. Но и спуститься он был не в силах, так невозможно захотелось ему её увидеть, может быть, в последний, самый безнадежный раз. Она вышла из душа в длинном махровом халате, с таким же полотенцем на мокрой голове, почуввав сквозняк, подошла к окну, чтобы закрыть форточку. Спрятаться он не успел. С минуту они смотрели друг на друга сквозь стекло, потом она открыла балконную дверь: заходи.

Он вошел в комнату красно-свекольный от позора вплоть до шеи, до самых корней белобрых волос, с извинениями и не знаю-как-это-вышло, застрявшими в сухом, несмотря на дождь, горле. «Это ты мне чинил фонарь?» – неожиданно спросила она. «Опасно же ездить без фонаря. И оштрафовать могут». – «Меня штрафовали раз, да», – это у неё звучало уже с вызовом. «Так для твоей же безопасности...» – «Да, последние сорок евро содрали. Только на продукты тогда оставалось – конец же месяца!» Он почувствовал, что разговор стремится куда-то совсем не туда, что ещё чуть-чуть, и появившаяся безумная возможность будет упущена навсегда, навсегда. Он выпалил, почти не думая о последствиях: «Подожди. Я всё время о тебе думаю. Это совсем безнадежно?» Он чувствовал пошлость и банальность того, что говорил, но одновременно парадоксально преисполнялся уверенности в том, что она этого не поймёт, поскольку для неё его язык – иностранный, а потому она схватит главное, не заметив огрехов стиля. Ободренный её задумчивым молчанием, он спросил, что случилось у неё сегодня с русскими друзьями. «Да не друзья они мне. Учились вместе. Сначала в школе – есть у нас в России такие специальные, математические школы. Три года. Потом университет. Прибавь ещё пять лет. Выросли друг в друга. Но надо рубить связи, которые тянут не туда, куда нужно тебе, правда? Я пытаюсь, но пока рубится по-живому. Потому и больно. Чаю – хочешь?» Он не верил своим ушам: «Так ты не выгоняешь меня?» – "На вора или насильника ты как-то не похож. Велосипед мне вот чинил. Домой провожал. Надо же познакомиться. Тебя зовут-то как? Мне раз тебя представляли, но я постоянно путаюсь в этих ваших именах: Эдгар, Эльгар, Экрегарт, что там ещё?» – «Эльмар, древненемецкое». – «А, уверена, что что-то такое есть и в персидских языках, может, и значит то же самое. Я Вера.» – «Я знаю». Ему вдруг стало необыкновенно легко, до восторга, до боли в лопатках, из которых прорастали

крылья нечаянного счастья. Он стал необыкновенно, для себя самого удивительно ловок и практичен: взял у неё со стола «Жёлтые страницы», позвонил в китайский ресторанчик, заказал ужин на дом, потом подумал – и позвонил уж заодно и флористу, чья нагловатая реклама красовалась внизу той же страницы («Первый экологический флорист Вестфалии!»). Ужин и эcobукет, оказавшийся радужной геранью в пластиковом горшке, доставили почти одновременно. Шумно, неряшливо, смеясь до упада над эcobукетом, ели они паровые равиоли с креветками, и соевый салат, и лаковую пекинскую утку, и рис по-кантонски, и личи на десерт. «А махнем завтра в Нордкирхен?» – вдруг пришло ему в голову. «Вестфальский Версаль. Каскадные рвы, озера с белыми и черными лебедями, скульптурные портреты всех любимых собак хозяина.» «А махнем!» – зелёные глаза пузырились весельем, – «с утра мне к научруку, но часам к одиннадцати я освобожусь. Тогда и поедем.» Он в ужасе посмотрел на часы: без десяти полночь. «Если тебе с утра к Геркхарду, мне надо бежать. Очень, если честно, не хочется...» Он поцеловал её совсем легко, в обещании и предвкушении того, что будет, обязательно будет потом. Дождь перестал, на чистом небе ярко, отчетливо блеснули звезды, обещая ведро на завтра. Жизнь запульсировала, заторопилась, наполнилась множеством смыслов.

\* \* \*

Вера всё так же весело смотрела на эcobукет. «Вот и всё у них так. А впрочем... и в этом что-то есть». Она чувствовала приподнятость и непонятно откуда взявшуюся свободу. Она не была счастлива ни в матшколе, куда родители засунули её, не спросив, ни на мехмате, куда она поступила на автомате, особенно не напрягаясь и не задумываясь. Она любила читать, понимала, чувствовала, проживала то, что читает, но ей совершенно не с кем было всем этим поделиться. Если она пыталась, над ней смеялись. И чем больше она пыталась, тем злее топтала её кубышка Кристина, настоящая матшкольница по характеру – хищная, властная, рациональная и приземлённая. Вера со стыдом вспомнила, как попыталась сегодня поздравить одноклассника Сашу, подарив ему в качестве постера на стену цветной план московского метро, как глупо расчувствовалась, вспомнив, что они на чужбине, как неуместно процитировала «В Константинополе, у турка, валялся, пыльный и загаженный, план города Санкт-Петербурга, в квадратном дюйме – триста сажен. И ожили воспоминанья, и замер шаг, и взор мой влажен, в моей душе, как и на плане, в квадратном дюйме – триста сажен...» И Саша бы послушал, да Кристина прервала, мол, фтопку графоманов, обойдёмся без сопливого пафоса. Станный, трогательный, неуклюжий и прекрасный Эльмар понял её сегодня с полуслова: она перевела стихотворение, а он спросил, почему именно Константинополь, откуда такая неизбывная печаль, такое предчувствие невозвращения, а поняв – долго и грустно молчал, а потом спросил робко, каково ей вдали от родины. В нём было верное, надежное обещание нежности. Вера заснула в облаке этой нежности и проснулась радостно, чего с ней не было давно.

Герхард ждал их в девять. Вера подъехала к университету без двадцати, улыбаясь неожиданно голубому небу, мягкому осеннему солнцу, изумрудной вестфальской траве. У неё ещё оставалось время, чтобы выпить чашку кофе.

Она зашла в бар. К её неудовольствию, её тут же окликнула Кристина, сидящая на коленях одного из Саш и попивающая кофе из его литровки. «Эй, Вер, ну ты что вчера сбежала? Сашка, вон, говорит, за тобой маньяк увязался, такой, знаешь, по нашему этажу постоянно ползает, как лягушка. Он тебя там это, не того? Я его, кстати, уже видела здесь, в кафешке. Вокруг нас круги наворачивал – не тебя ли искал? Меня чуть не стошнило!» Вера в растерянности смотрела на Кристину. Ей вдруг совершенно ясно стало, что ничего у неё с Эльмаром нет и быть не может, что лягушачье его лицо возможно и трогательно тет-а-тет, но прилюдно, публично, перед кристиниными наглыми очами... «Ой!» – пискнула Кристина, – «Ой, не могу! Вот он опять! К тебе идет! Ты ведь знаешь, как по-французски лягушка? – Батрасьян!» – «Батрасьян!» – громко, до слёз на глазах, захохотала Вера, – «сейчас умру, держите меня! Батрасьян! Батрасьян! Батрасьян!» – всё выкрикивала и выкрикивала она, зажмурившись и отвернувшись, чтобы не видеть опрокинутого, свекольно покрасневшего, милого, милого, милого лица.

*Лион, Франция*

Жанна АСТЕР

*Посвящается поэту Наталье Горбачевой*

Красивое лицо – тугая стать  
И голос бархатный – амбициозно громок  
Тебя я часто буду вспоминать  
Ты – мой далекий и чужой ребенок

Твои стихи – житейское бытё  
Я их любила нежностью подспудной  
С тобой мы пили горькое питьё -  
стихи и дети, вечера и будни

Тебя я помню. Мрак томил слезой.  
В один из дней, запрятанный в эфире  
Когда пришла ты яркой бирюзой –  
Сказала: – Красносельская, четыре.

И началось круженье вех и встреч  
В твоём доме, объятom вдохновеньем,  
И резкой всем – ложилась твоя речь  
И всё казалось пятым измереньем.

Я помню твою женскую печаль  
В глазах глубоких, преданных испугу,  
И неба золочёную вуаль  
Когда читали мы стихи друг другу.

Как странно, что ты рано так ушла,  
И наша встреча не легла судьбиной...  
Ты счастья в жизни так и не нашла  
И песнь твоя осталась голубиной

Ушла туда, где есть уже друзья.  
Не на пустое место – встретят ярко.  
И осветится Светом вся стезя  
Под куполом Господней синей арки.

И загорятся рифмы и штрихи  
Свечей в ночи, и чудо выйдет Светом,  
И лягут твои чудные стихи  
В одну небесную тетрадь Поэтов.

А я на пленке милый голос твой  
Всё буду слушать в замке зазеркалья,  
И поднесу на божий аналой  
Твою свечу с названием – Наталья...

*16.08.2015 Sable*

*Учили, чтобы вернуться*

## О ВИКТОРЕ КРИВУЛИНЕ

Известный питерский поэт Виктор Кривулин родился в 1945 году, в Ленинграде. Он был инвалидом детства, у него были парализованы ноги и он не мог передвигаться без костылей. Казалось бы такая болезнь, такое несчастье могли сделать его нелюдимом, пессимистом. Но этого не случилось, он всегда был окружен людьми – душа компании. И надеялся только на себя. Виктор знал, что не может передвигаться в общественном транспорте и еще школьником старших классов давал уроки, зарабатывал на такси. Ему помогли в жизни большая сила воли и горячее желание писать стихи.

Виктор окончил филфак ЛГУ, тогда же стал печататься. Его обвиняли в диссидентстве, поэтому поэтический двухтомник вышел в Париже. Он был самостоятельным поэтом; кого можно назвать среди его учителей? Пожалуй, Андрея Белого.

Наконец, к нему пришло признание, он стал заметной фигурой среди питерских поэтов, дружил с самобытной, яркой поэтессой Еленой Шварц.

Я помню его маленькую квартиру в панельном доме на окраине Петербурга. Там, на улице Голикова я бывала, когда приезжала в Питер. Я дружила с Витей.

Уже в наступившем новом веке мне довелось выступить вместе с ним на Круглом Столе, посвященном поэзии, в Музее Окуджавы, в Переделкине. До этого мы с ним пару лет не виделись, обнялись по-дружески тепло, радостно. И у меня ёкнуло сердце, что это наша последняя встреча. Так оно и случилось. Вскоре Виктор умер. Но выходят его стихи, живы почитатели его таланта.

Виктор Кривулин похоронен в Петербурге, на Смоленском кладбище.

Марина Тарасова

О себе писать стыдно, и тем не менее я всю сознательную жизнь этим занимаюсь, избрав медитативную элегию в качестве преимущественного жанра, может быть, потому, что в других разновидностях словесной деятельности "я" пишущего не так существенно. Если же перейти на язык анкет и Плутарха, то получится, что я родился в июле 1944 года где-то в районе Краснодона, прославленного Фадеевым, с которым мой отец, тогдашний военный комендант этого местечка, был знаком по роду службы, содействуя сбору материалов для будущего романа "Молодая гвардия". С 1947 года и по сю пору, с незначительными перерывами на Москву, Париж и Крым, живу в Ленинграде, который нынче можно снова именовать Санкт-Петербургом. Поступил на итальянское отделение филфака с единственной целью: прочесть "Божественную комедию" на языке оригинала. Цель эта до сих пор не достигнута... Как бы то ни было, закончил я уже русское отделение (дипломная работа по Иннокентию Анненскому). Стихи пишу, сколько себя помню, но серьезно относиться к ним стал только после 1970 года, когда за чтением Баратынского (Боратынского?) посетило меня, если так можно выразиться, формообразующее озарение – и я как бы обрел магическое дыхательное знание собственной, уникальной интонации, неповторимой, как отпечатки пальцев. Ощущая свою принадлежность к так называемой новой ленинградской поэтической школе (Бродский, Стратановский, Шварц, Миронов, Охапкин), с общим для ее авторов балансированием на грани иронии и пафоса, абсурда и спиритуального воспарения, сюрреализма и ампира, смею

утверждать, что во многом и отличаюсь от упомянутых авторов. Не стану скрывать, что испытал известное влияние московских концептуалистов (Пригов, Рубинштейн) – впрочем, не столько литературное, сколько человеческое. Пишу – квантами, объединяя тексты в небольшие сборнички (нечто среднее между стихотворным циклом и поэмой), которые, в свою очередь, самопроизвольно сливаются в более обширный текст, организованный скорее по законам архитектурной и музыкальной композиции, нежели по собственно литературным правилам. Первая такая книга – «Воскресные облака» – вышла в самиздате в 1972 году, последняя – «У окна» – в 1992 г. За двадцать лет поэтическая манера, естественно, претерпела существенные изменения, но менее всего изменилась интонация. Писал прозу, сейчас занимаюсь журналистикой, работаю над книгой эссе о новейшей русской культуре.

*Виктор Кривулин*  
1993

### Септимы

Я Тютчева спрошу: в какое море гонит  
обломки льда советский календарь?  
и если время – божья тварь,  
то почему слезы хрустальной не проронит?  
И почему от страха и стыда  
темнеет большеглазая вода,  
тускнеют очи на иконе?

Пред миром неживым в растерянности,  
в духовном омуте, как рыба безголоса  
ты, взгляд Ослепшего от слез,  
с тяжелым блеском, тяжелее ртути.  
Я Тютчева спрошу – но мысленно, та...  
каким сказать небесным языком  
об умирающей минуте?

Мы время отпоем, и высохшее тельце  
накроем бережно нежнейшей пеленой  
Родства к Истории родной  
не отрекайся, милый, не надейся,  
что бред веков и тусклый плен минут  
тебя минует. Веришь ли? – вернут  
добро исконному владельцу.

И полчища теней из прожитого всеу  
заполнят улицы и комнаты битком, –  
и Чем дышать – у Тютчева спрошу  
и сожалеть о ком?

1971

## [Стихи из книги "Концерт по заявкам"]

В зоопарке  
лет халдейских сорок восемь  
несвободных, но из клетки  
смотрят на кошачью осень  
черепаховой расцветки  
смотрят медленно приватно  
и с надеждой раствориться  
в человечески понятном  
состоянии зверинца  
где гуляющим прохладно –  
вдоль ограды и обратно –  
благо, тьма у них досуга:  
беженцы из необъятной  
родины, с окраин юга  
всё для них – похолоданье  
проволочные вольеры  
окруженные садами  
слишком поздней ноосферы

Гибель «Титаника»  
раздваивались перья, птичий скрип.  
из книг – «Библиотека приключений»  
из марок – авиация, из рыб –  
узлы саргассовых течений  
где водятся угри и, вставши на попа,  
уходит под воду светящийся «Титаник»  
все рвутся к выходу, на улице толпа  
разреживается – но музыка стихает  
не сразу, а когда из-за угла  
появится трамвай, так ярко освещенный  
так переполненный, такой надрывный визг  
на повороте! может быть, была  
другая жизнь – железные законы  
животный ужас, ежедневный риск  
попасть под монастырь... но из друзей –  
не все евреи, самый близкий позже  
за что-то сел, потом совсем исчез  
ушел как под воду, и словно ото всей  
эпохи отрочества остается Божье  
присутствие, а прочий интерес  
теряется по выходе из зала  
когда утихла музыка, уплыл  
трамвай, забравши публику, и я  
по улице какой-то, без начала  
и без конца... какого-то жилья

повсюду признаки, цепляние перил  
за край дождевика – и водоросли, запаха!

### На отдыхе

палач по вечерам после работы  
пьет молоко до одури до рвоты  
парное пенное приправленное спиртом  
из уцелевшей докторской мензурки  
по радио то вальсы то мазурки  
товарищи солдаты патриоты  
и страх во сне что слишком сладко спит он  
что всё проспал – побудку по тревоге  
ночное построенье второпях  
бег по железным лестницам – а ноги  
его как ватные – другие в сапогах  
подкованных – а он босой младенец  
в одной рубашке долгой, аж до пят  
и без оружия и плачет не надеясь  
проснуться – выровняться – остальных ребят  
нагнать – проснуться с книгой ли с наганом  
с молочной пеленою на очах  
когда стога, предутренним туманом  
наполовину съедены, торчат  
обложенными дивными кремлями  
над поймой обесформленной над лугом  
лишенным плоскости... ну, точно, киевляне  
воинственным возвышенные духом  
над половодьем половцев над валом  
завоевателей – и страх что сладко спит он  
накрытый с головою одеялом  
как будто притворяется убитым  
или смертельно, дьявольски усталым  
среди боя вечного и вечного покоя  
бок о бок с пепельной невидимой рекою

### Памяти Сергея Третьякова

отмейхольдило раннесоветскую сцену  
и не удержать холодов за кубическими дверьми  
иней на стенах, искрящийся – но постепенно  
он освинечивается он тускнеет он черпается горстями  
он сыплется градом! и даже не жаль Третьякова  
голую голову на бильярдном столе:  
здесь ничего не останется кроме сукна городского  
извечно-зеленого с проседью словно бы ели в Кремле  
словно бы ели с того серебра и фарфора  
какой недобит по случайности – вызовут мастеровых

те позолотят огранят звездчатые всодят узоры  
между серпов и колосьев и всяческих трав полевых  
это красиво! но больше мне нравится шуба  
гостя из Франции специалиста по нам  
в зимнесоветском периоде – Круга Квадрата и Куба –  
когда надвигался ледник волоча по камням  
трупы газеты обрывки афиш папироски...

### Степное число

ну да, из Киева из Харькова а то и  
Херсон совсем уже – являются с винтом  
в затылке: Хлебников, мычание святое  
гомеровских степей, протославянской Трои  
о вечном Юге об овечьем о живом  
добро бы только в гости из гимназий  
в именье на каникулы на связь  
фамильную с корнями... нету связи!  
живи себе среди вселенской смази  
"г" фрикативного по-девичьи стыдась  
тогда-то и находится учитель  
библиотекарь школьный или так:  
читали вы зангези? а прочтите!  
сияет медный таз подвешенный в зените  
каштаны жарят на стальных листах  
и в углях синий жар и давленные вишни  
усыпавшие узкий тротуар  
и ход истории где ты уже не лишний  
ты знаешь механизм и то что сроки вышли  
и то что между немцев и татар  
качнулся маятник наверх полезла гира  
а ты хозяин времени, пока  
царит южнороссийское четыре  
священное число с предощущеньем шири  
и вкусом козьего парного молока

### Охота на мамонта

если совсем откровенно – так не было учителей  
племя преподавателей с палками и камнями  
разыгрывало охоту, остервенелые, злей  
чем грубая шерсть на шее кусачая в холода  
кто же сказал, что было тогда теплей?  
разгружали дрова, поленья об лед роняли  
с пустотелым стуком... Скелеты заснеженных кораблей  
Арктически-чистое время Обезлюженные года  
выводили на площадь мамонта в космах и колтунах  
с непропорционально маленькими глазами

где стоял заполярный космогонический страх  
Палки летели камни... что они сделали с нами!

Милые ошибки властей  
эти милые сердцу ошибки властей!  
эти слабые волосы еле прикрывшие темя  
розоватое!  
это паренье частей  
расчлененного Тела... и Небо стоит надо всеми  
с выраженьем усталости, как бы заране простив  
что движения наши подобны растениям  
что назойлив простой зооморфный мотив  
поражающий не превращеньем  
но повторами  
словно древнейший орнамент  
искажает лицо:  
это волчье, а то поросячье,  
в лучшем случае – птичье...  
подложный Эдем  
перед нами разложен и властвует нами  
и в глаза не глядит – но глаза по-животному прячет,  
зарывая куда-то их, где хорошо и незряче  
где возможно прожить не увидясь ни с кем

### Сестра четвертая

куда ни сунешься – везде журнальное вчера  
чего мы ждали – жизнь перевернется  
когда Четвертая, из чеховских, сестра  
пройдя и лагеря, и старость, и юродство  
таким заговорит кристальным языком  
что и не повторить? но только зубы ломят  
студеные слова несомые тайком  
весь век во рту - и век уже на склоне  
почти что за бугром... а чтоб казались выше  
соброры вдавленные в холм –  
на них вернут кресты, им позолотят крыши  
на них рабочие усядутся верхом...  
вы, муравьиные строительные птицы –  
прибавишь резкости – отброшенные в даль  
где мир микроскопически мельчится  
и проясняется настолько что не жаль  
ничуть мне прошлого  
Блудный сын  
лепетание бабьего радио в парке  
в уцелевшей его сердцеvine  
ради Бога послушай:

Отец повторяется в сыне  
только блудном  
и там  
на задах кочегарки  
эта встреча – на ящиках сидя  
слыша ветхое радио скворчущее в глубине  
о налогах о жертвах о всякой и всяческой сыти  
косит мизерный дождик по всей ненасытной стране  
и голодному слуху далекая музыка брезжит  
В ночь Диониса Господню  
живчик такой, человек, во всяком режиме  
знавший и вкус винограда и возраст вина  
где он теперь, если всё наконец  
разрешили?  
всё обнаружили, выпили, съели, достали со дна  
даже афинское судно с кувшинами в рост гренадера  
возле Сухума где нынче дурная, сухая стрельба –  
где он, ценитель, убийца с душой винодела?  
с кем он гуляет, обнявшись? по-прежнему ли неслаба  
пьяная песня его над разрушенным пирсом  
в ночь Диониса Господню с карающим тирсом?!  
На дороге у креста  
то колющий то режущий уют  
то зрелище при свете самопальном  
стекла и музыки – там русские поют  
на языке своем прощальном,  
почти по-аглички – нащупывая крест  
впечатанный между сосками  
то колющий то режущий то сканью  
украшенный – в оплату за проезд  
из Петербурга до Женевы  
давно уже назначенный, с тех пор  
как рыцарь бедный от Марии Девы  
имел одно последнее виденье  
решительный и тихий разговор  
дела Твои, Господи, как не твои –

### Гул прогресса

Из-за леса –  
гул прогресса  
Ретроградные гудки –  
от реки  
Ну а вечность – вид с откоса  
Фет, беседка, папироса  
вопросительный дымок...  
Да и я бы – кабы смог –

жил не здесь, но в том поместье,  
где роза, срезанная вместе  
с крупной каплею росы,  
тешит розового беса  
в предзакатные часы  
На конкурсе поэтов  
заплутавшие в музах  
поэтессы в рейтузах  
и поэты в бахилах –  
от словесных бацилл их  
лишь першение в горле  
клекот якобы орлий  
прерываемый кашлем –  
а и вправду не дашь им  
хоть какой-нибудь возраст –  
жизнь пошита на вырост  
гуингнамова шерсть  
лилипутова сырость  
Война в старой столице  
в центре бывшей империи зябну  
скоро совсем нахохлюсь и перейду на щебет  
заговорю по-ханьски  
с пьяницей Бо-цзю-и  
здесь, уважаемый, на месте старой столицы  
среди чжурчженей и северных шу  
мы живем как в пограничном гарнизоне  
я и стихов давно уже не пишу  
так, записки начальству о состоянии нравов  
да и то белой тушью по синей бумаге  
слишком тяжелой и плотной  
для полнолунных бесед  
все о том же - о состоянии нравов  
о ветрах восточных, они всегда под рукою  
за воротом и в рукаве халата  
и в иероглифе «ночь»  
уголья на железной жаровне  
остывают как синева под ногтями  
у солдатика из новобранцев –  
откуда набрали таких?  
большие войска разбредаются по округе  
чем воинов гуще тем ночи темнее  
дни короче зато прозрачней  
суп-лапшевник  
варвары любят шелк и едят на тонкой посуде  
мой терракотовый чайник их не прельщает  
грубая красная глина эпохи Циней –

где ей здесь настоящий ценитель?  
На мотив Достоевского  
Смирился гордый человек,  
со всем смирился.  
Все так бы до смерти ему  
смотреть с прищуром  
на смутный снег  
на крупный снег смоленский  
на слепленный из тьмы  
и взятый контражуром  
слепящий силуэт

*июнь 2000*

Иоганнес БОБРОВСКИЙ  
\*1917, Тильзит; +1965, Берлин

## ХРОНИКА КОРОТКОЙ ЖИЗНИ

Вглядываясь в два десятилетия существования «послеверсальского мира», видишь, что всё происходившее тогда можно было бы без особой натяжки назвать «сплошной игил» (запрещенная в России террористическая организация). Но только на наш взгляд, как бы сверху и немного издали. Наверное, там и тогда люди испытывали опасения, имели предчувствия, но до открытого ужаса до поры до времени не доходило.

Восточно-прусский писатель Иоганнес Бобровский относится к тем людям, которые умеют привнести спокойствие в любую ситуацию. Слово «гнев» – и то он произносит в своих стихах спокойно. Таких людей было немало в те годы, даже если говорить лишь об одном регионе. Но фигура Бобровского удивительна тем, что он был поэтом: не пастором (как Ханс Иоахим Иванд), не врачом (как Ганс фон Лёндорф), не общественным деятелем (как Марион фон Дёнхоф), не конспиратором (как Дитрих Бонхёффер), а простым поэтом – и солдатом.

Еще добавлю – очевидно, далеко не полный – ряд фамилий тех, к чьему творчеству вновь и вновь обращался он сам: Бах и Букстехуде, Гаман и Гельдерлин, Клопшток и Новалис, Мигель и Зудерман, Бабель и Кафка, Тракль и Лёрке, Томас Манн и Конрад, Бахман и Хухель, Барнс, Болдуин, Хельцер, Шмидт, Янн...

[Дитмар Альбрехт, Хельмут Бальдауф, Джон Вечорек, Андреас Деген, Эберхард Хауфе, Клаус Фелькер, Сабин Эггер – проводники по миру Бобровского; перечень тоже, разумеется, не полон...]

С. Морейно

### Литовские песни

Ночью, звероглаза, я  
куст, днем я дерево,  
вода в полуденной тени,  
эта трава на солнце.

А ближе к вечеру  
я костёл на горе, где любимый  
туда-сюда, как белый  
жрец, и песни поет.

Сквозь целый  
мир ждать его, лунным  
лучом у двери быть,  
быть у дома во тьме еловой.

Как-нибудь взлечу,  
под притчи пеночек провожая  
год, когда их сердце,  
как град, белым-бело.

### Сарматская равнина

Душа,  
во мгле, поздно –  
отворил себе жилы  
день, и синь –  
Равнина поет.

Кто  
эту песнь-волну,  
кто повторит, к берегу  
прибитую, песнь:  
море, после штормов,  
волну – –

Да, но  
им слышно тебя,  
вслушивающимся, градам,  
светлым и древнего тона  
тихим, бережным. Ты  
ветрами, как чад тяжкими,  
песком на  
них легла.

И  
селеньям твоим.  
Тебе на грудь, греясь,  
тропами  
узкими, толчёным слёз  
стеклом, они к пожарищам  
солнц твоих припали:  
пепельный след,  
тут вот стаду идти  
нежно, сквозь темень,  
дыша. Мальчишка  
за ним  
свища, а по-за  
плетнем вслед  
ему старая в крик.

Равнина,  
гигантский сон,  
гиганта в миражах, вдали твое  
небо, звонница,

под сводом жаворонки,  
там –  
реки у бедер твоих  
так, и влажны  
тени тех лесов, бессчетны  
поля и светлы,  
тут вот народам топтать,  
на трассах птиц год  
встречая,  
своё безмерное время,  
над ним из тьмы  
бдишь. Мне видно тебя:  
тяжкая красота  
главы, еще скрытой глиной  
– не Иштар, имя было другим –,  
среди тины болот.

### На родине Шагала

Там дышат окна  
сухим лесов ароматом,  
запахом мха и голубики.  
Витебск объяввшее  
облако-вечер, от сумрачности  
звучащее. Спугнутый скрыт  
смех в нём, будто предок  
в день свадьбы  
глазел бы с крыши.

Парили мы в сновиденьях.  
И вдруг надёжное что-то  
обошло вокруг созвездий отцов наших,  
ангелом, с дрожащим ртом и бородой,  
с крылами из нив пшеничных:

Близость грядущего, этот  
пламенный звук рога,  
чуть стемнеет, город  
плывет сквозь облако,  
ал.

### Возвращение

Скамья, жёсткая мебель.  
Там, спрятанные в соснах,  
качели – доска, два ошкуренных  
пня. Здесь нередки кукушка,

синебрюха и хохлач,  
соловей, вчерашний птенец,  
суше, лаконичнее,  
злей, слава богу.

Но я-то здесь ради сна  
в стенах бревенчатых,  
сна с нитью паука и золотом жабы,  
беглоногого сна. И так  
меркнет свет. Небрежно свои тени  
топчут коровы. Рыба  
некий пенящийся знак  
ведёт по водам.

Но я-то лишь сплю.  
Меня ведь нет.  
Мне бы найти место,  
не шире могилы, лишь холм  
над лугами. Оттуда  
я смогу видеть  
реку.

### Мемель-река

По-за полями, там,  
по-за лугами  
поток.  
Растворена его  
дыханьем ночь.  
Птица бьется  
над горой и кричит.

Помню, как ветер  
вёл нас забросить сеть  
в низовье лугового ручья.  
В осинах  
висел фонарь. Старик  
снял его. Лодка  
контрабандистов ткнулась в песок.

Из сумерек ты  
течешь, поток мой,  
из облаков.  
Пути входят в тебя  
и реки, Юра и Митува,  
свежие, лесные, и глиннотяжкая  
Шешупе. Шестами знай правят  
плотогоны. Паром  
лежит на песке.

И небо птиц  
затмевают армады.  
В смятенном крыльев вихре, высоко, звук  
тростника, дым колодца, дух лесов смоляной.  
Теперь у березок, вдоль берегов  
женщины встали, в лентах,  
жёлтых и алых – одни  
к лепным телам своим  
дочек прижали, тех сыны  
плещутся в токе вод.

Лишь  
одному, вдали  
дано тебя любить  
мне.  
Лик из молчанья.  
Клинопись векам: мой крик.  
Он не спас тебя.  
Ныне во тьме  
я тебя удержу.

### Даубас

Вверху ветряный набат.  
Мы жили на реке в хижинах.  
Чернея, встреч берегу  
звучал камыш.

Мы были дети сердцем,  
что пело из весны в осень.  
Ничем иным как землёй  
казались дождь и мороз,  
зарница и гром, временем –  
временем,  
что мы брали  
и выпускали из своих рук,  
красным от плодов. Зимы  
текли на свет.

И это в прошлом.  
Мы отдали деревни пескам.  
Чуть оклики с плотов,  
отступали.

Горечью ведомы, кладём  
мы дрова к очагам чужбины,  
всё еще помним: рас-  
цветали яблони.

Так где  
нам окончить дни?  
Всегда это лишь земля,  
грунт, на который мы ляжем.  
Не найти  
детям деревни.

Впрочем сады, штрих осоки  
у берега – в ущелье Даубас –  
желтевшие сараи –  
тот воз, что полз сквозь опушку –  
коршун в пустой синеве –  
нас всё ещё берёт дрожь.  
Пора нам вступать под арку  
этих лет. Уступить  
земле радости наши. –

Под удары крови в висках,  
по волосам дочек глядя, ты  
вечером скажешь: Ты всё  
еще, любимая, есть – и  
я не тоскую.

## Дон

Вверх, огонь метит  
селенья. Над ущельем  
рушатся берега. Но  
стреножен поток, дышит  
льдами, тишь мрачно  
следит за ним.

Бел был поток. Высокий же  
берег тёмен. Лошади  
одолевали склон. Помню,  
берега вверху  
разошлись, явились  
по-за полями, в дали,  
под юным месяцем, стены  
в ладонях неба.

Там  
див поет,  
в башне,  
там выкликает облако, из беды  
сотканной птицей, кричит  
над берегами ущелья,  
равнинам наказ дает слушать.

Холмы, откройтесь, велит,  
встать во всеоружии,  
мертвые, сомкнуть строй.

### Вечно называть

Вечно называть:  
дерево, птицу в полете,  
утёс, что сизым потоком  
омыт, сам рыж, рыбу  
в белом дыму, когда темень  
над лесами густа.

Тона, знаки, одна  
видимость, я в ловушке,  
игра не ведётся  
честно.

Кто подскажет,  
что я позабыл: камней  
ли сон, сон  
птиц в полете, деревьев  
ли сон, во тьме  
длятся их речи – ?

Явись Господь  
да во плоти,  
да воззови он ко мне, я бы  
оглянулся, я бы  
помедлил чуток.

### Балтийские города

Свет без восхода и без заката.  
Смерть мотылька способна оживить воду.  
Дождь это дождь.  
Сквозь лохмы туч сюда  
к нам приходит ветер,  
вычесавший речные пески, он дюну  
увлекает за море.

Свет  
придет назад  
по водам. Отыщет  
дорогу дождь  
на путях птиц. Украшены  
пестрыми ярлыками  
высокие расхристанные  
цитадели то там, то сям.  
И ты читаешь:  
Был час травы.

## «ОБЖИГАЮЩИЙ ПЛАМЕНЬ ПОБЕДЫ»



Греческий философ Гераклит написал слова, как никогда актуальные в наше время: «Новая война начинается тогда, когда молодые не помнят прежнюю»...

Когда видишь 9 мая тысячи, а теперь уже, пожалуй, и миллионы лиц городов России и многих стран в рождённом в Томске движении «Безсмертный полк» с портретами и фотографиями, прежде всего потрясает мысль о всеобщности трагедии, о жизнях, принесённых в жертву молоху мировой войны... Молодых и сильных. Способных созидать и строить, а не разрушать. Рождённых для любви и продолжения жизни в потмах.

И понимаешь, что нет у нас на земле

семьи, которую не опалил бы тот пламень.

Казалось, этот горький опыт предостережёт человечество. Но войны, лукаво называемые «локальными», вспыхивают полохами, грозя обернуться вновь большим пожаром.

Ещё и поэтому нам необходима память о жертвах и мужестве наших отцов и дедов. Ибо вне памяти нет народа, нет нации, есть – масса, толпа, лица которой неразличимы.

Калининградское отделение Русского ПЕН-центра, благодаря президентскому гранту, издало первый том двухтомника «Обжигающий пламень Победы», аудио и видео книги с тем же названием. Второй том выйдет к сентябрю этого года.

В первый том вошли обжигающие душу повести и рассказы, написанные во время Великой Отечественной войны, или вскоре после неё такими выдающимися мастерами слова, как Виктор Астафьев, Константин Воробьёв, Виктор Некрасов, Андрей Платонов, Александр Твардовский.

Впервые опубликованы «Разговоры и размышления» о войне Константина Симонова.

Тяжкой правдой обесчеловечивания потрясают рассказы узника Маутхаузена калининградского писателя Всеволода Остена.

Во втором разделе тома читатель встретится с повестями, рассказами, воспоминаниями и эссе ныне здравствующих ветеранов: Даниила Гранина, Елены Ржевской, Андрея Туркова и др. А переключаясь с ветеранами и вступая

с ними в плодотворный диалог, о горькой правде тех огненных лет вспоминают «дети войны».

Пронзительные стихи поэтов военной поры и наших современников, музыка и песни тех лет и документальная кинохроника сообщают книге с приложением видео дисков высокий эмоциональный настрой. И возвращают нас к Памяти, вне которой не может быть у страны будущего...

И в заключение хочется привести короткую новеллу нашего писателя Валерия Голубева, звучащую среди других в аудиокниге и обращённую к человеческому разуму:

«1418 дней войны

Бухгалтер птицефабрики Алфей Игумнов, инвалид войны, оставшись один в конторе, расслабился, вспомнил боевых товарищей. Опечалился. Не все вернулись...

В эти минуты по радио шла передача «Никто не забыт...»

Алфею стало ещё печальнее. Он уже вспомнил всех погибших рядом. А двадцать миллионов! Бухгалтер немного подумал и решительно придвинул счёты... У него получилось: в среднем погибало в день пятнадцать тысяч человек. Если каждого солдата помянуть минутой скорби, пришлось бы всем молчать тридцать восемь лет...

Алфей Игумнов с размаха сбросил костяшки ребром ладони и застонал в глухонемом мычании.

\* \* \*

Двадцать миллионов... Долго и упорно держалась эта цифра в народе. К округлым цифрам привыкать легко. Теперь называют другую – двадцать семь миллионов.

Полвека молчания.».

В.К.